МАЗУРОВ ДМИТРИЙ
ТЕНЕВОЙ ПУТЬ 4
АРЕНА ТЕНЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Крис Дарк — маг теней, бывший убийца продолжает обучение в академии магии. В этот раз ему предстоит сражаться сразу в двух турнирах. Сможет ли он победить и какие преграды ждут его на пути?

•

Глава 1

Прошло уже почти два месяца с тех пор, как я вернулся в своё баронство на каникулы, не забыв прихватить с собой и своего друга Кайла Конора - мага молний. В первые дни своего прибытия я бегал как угорелый, стараясь как можно быстрее вникнуть во все дела, что произошли тут во время моего отсутствия. А когда понял, что в общем-то делал это зря, ведь серьёзных проблем не было, а с мелкими успешно справились мои люди, что были оставлены тут. Это было даже немного обидно, что баронство спокойно может существовать и без меня, как будто я и не нужен вовсе для его существования. С другой стороны, это может говорить и о том, что я показал себя как хороший руководитель, настроив все процессы так, чтобы они могли стабильно работать и без моего присутствия, и нашёл людей, которые могут заменить меня в этом деле. Но в общем-то это и не важно, главное, что баронство только крепнет и приносит мне всё больше прибыли, а благосостояние жителей и их уровень жизни понемногу растут.

Вообще, из-за отъезда меня и Профа приличная часть дохода от продажи артефактов исчезла, хоть мы и оставили некоторый запас. Но благо это компенсировалось общим подъёмом доходов. К тому же не стоит забывать о заключённом нами соглашении с торговой компанией из столицы, что оказалось буквально золотой жилой. Приличная часть торгового трафика стала проходить именно через нас, а в будущем, я надеюсь, наше графство сможет перехватить все торговые маршруты, став монополистом в торговле между двумя королевствами. Может они и не особо любили друг друга, но терять возможную прибыль никто не собирался.

Но на одной торговле останавливаться я не собирался. Продавать собственные товары было тоже выгодно.

Мои крестьяне, что теперь по сути брали у меня землю в аренду, со временем только расширяли свои наделы, так что излишки продовольствия вполне успешно продавались.

Некоторые из них уже вполне могли бы и выкупить земли в личное владение, вот только продавать их я не собирался. Для меня куда важнее была постоянная прибыль, чем одномоментная. Нет, конечно, купивших землю я обложил бы своим налогом, но он явно был бы куда меньшим, чем сейчас. Благо постепенно ввозимые предметы роскоши позволяли тратить эти накопления. Но оставались и те, кто, используя заработанное, организовывал собственные производства, что так же приносили мне прибыль.

Что касается соседей, то они нас уже не особо беспокоили, изрядно выросшая армия позволяла пресекать все попытки набегов на мои поселения с целью грабежа и разорения. Уже сейчас все оставшиеся вольные баронства, даже объединись они, не смогли бы доставить нам сильных проблем. Однако, несмотря на наше военное превосходство, захватывать их мы пока не собирались. Было ещё слишком рано для подобного. Стоило ещё сильнее закрепиться на нашей земле. Да и обучение для начала стоило бы закончить. К тому же, ещё несколько лет в подобном темпе, и они сами добровольно захотят присоединиться к нам.

Все основные дороги уже были проложены, так что сейчас они уже проводились даже к отдалённым деревенькам в графстве. Благо строились они по римским технологиям, которые мне удалось вспомнить и повторить тут. Повезло, что все они были вполне реализуемы тут. А небольшая помощь от нанятых слабых магов земли лишь делала их ещё лучше. Конечно, не уверен, что вспомнил всё досконально, но результат был вполне хорош. Среди торговцев наши дороги уже стали считаться эталоном и чуть ли не идеальными, по крайней мере по сравнению со всеми другими.

Приглашённый же мною друг тоже не сидел без дела. Кому-то может показаться, что маг молний может использовать свои силы только для войны, но это совсем не так. Нет, конечно же, я не заставлял его быть аккумулятором для освещения замка лампочками, это было бы крайне глупо. Так что я отправил его в помощь к своему кузнецу, молнии могут быть очень даже полезны, если использовать их правильно. Так что они почти всё время провели за придумыванием новых сплавов, используя эти силы. Я не вдавался в подробности, но похоже, молнии помогали очищать металл от примесей и даже придавали ему новые свойства. Не знаю, что на это больше повлияло, законы мира или же магия, но эксперимент оказался успешным. Ну а создание магнита, на которое я их подтолкнул, тоже увенчалось успехом. Как раз услышав об их успехе, я и решил посетить кузницу лично.

- Гард, - крикнул я, входя в помещение кузницы.

Встретила она меня лишь жаром в лицо, а стоящий ко мне

спиной кузнец, похоже, не услышал меня, занятый каким-то спором с Кайлом.

- Гард! - уже громче крикнул я.

- А, это вы, господин барон, - обернувшись, улыбнулся он во всю ширь.

- Мне тут сказали, что у вас получилось.

- Да, Крис, это было неожиданное открытие, но у нас получилось, - выкрикнул взволнованный Кайл, похоже, ему не терпелось похвастаться.

- Ну и чем он лучше булатной стали?

- О, не то чтобы уж намного лучше, но явные результаты есть. Самое главное - сталь не стала хуже, но появилось новое свойство, которое, думаю, будет весьма востребованным, - возбуждённо заголосил кузнец. - Меч из новой стали может при соприкосновении с вражеским клинком пустить по нему небольшой разряд молнии, который, конечно, не убьёт противника, но заставить его встряхнуться и, возможно, даже выронить меч, если он не умеет сдерживать боль, ну или как минимум отвлечься. И самое главное, в этой стали нет ни капли магии, она просто получает свойство накапливать в себе заряд молний.

- И надолго его хватает?

- Ну... тут нужны будут ещё опыты. Но по первым результатам на пяток ударов хватит, но это тоже очень даже неплохо. Возможно, если увеличить силу воздействия на металл, то удастся увеличить количество ударов. Но самое главное, это то, что в нём не чувствуется магия, а значит, никто не сможет даже догадаться о таком сюрпризе. Да и заряд имеет свойство накапливаться со временем.

- Ясно, похоже на статическое электричество, - кивнул я. - Правда, боюсь, даже отсутствие магии не будет оправданием, если использовать его в дуэлях на мечах. Боюсь, не поймут. Но вот в бою это действительно может принести победу. Как только снабдим подобными наших людей, можно будет подумать о продаже, естественно, по крайне высокой цене.

- Слушай, Кайл, а может ты останешься у нас подольше, а? Мы с тобой ещё столько всего сможем сделать! Да и как я буду тут без мага молний? - с горящими глазами возбуждённо начал уговаривать его кузнец. - Я даже готов из своих денег тебе приплачивать, только оставайся.

- Я... - задумался он. И похоже, на полном серьёзе рассматривал это предложение. Наверное, ему понравилось тут работать.

- Он не может, Горд. Ему ещё нужно закончить академию, а

там уже можно вернуться к этому вопросу, - осадил я его. - Мага молний я тебе найду, правда, слабенького, но и такой подойдёт. И да, Кайл, ты, надеюсь, помнишь, что всё изученное тобой тут должно остаться в тайне?

- Да, конечно, - тут же закивал он.

И действительно, прежде чем отправить его сюда, я подписал с ним подобное соглашение. Мне совсем не нужно было, чтобы мои секреты вышли за пределы мастерской, хоть я ему и доверял. Но секретов булатной стали, конечно же, ему никто не открывал, а работал он лишь с готовой. Этот секрет я даже Артуру не раскрывал, чтобы не было даже малейшего шанса, что он уйдёт на сторону.

- Вот и хорошо. Думаю, меч с подобными свойствами Гард успеет сделать тебе до отъезда, ну а ты можешь помочь ему в этом, - улыбнулся я.

Отдавать подобную новинку я не боялся. Во-первых - потому что я давно уже думал подарить ему оружие из булатной стали и обычно привык держать свои обещания, ну и пусть уж он будет ещё лучше. А во вторых - всё равно о существовании подобной стали станет известным, как только хоть один такой меч появится у моих людей. Но главное - это секрет его создания. Главное, не показывать, что я могу создавать их массово. А единичные экземпляры, как и булатные клинки в своё время, будут лишь у самых важных для меня людей. Да и имея только сам клинок, а не технологию его изготовления, повторить его будет крайне сложно, если не сказать невозможно. В дело тут вступало и то, что с обычной сталью такой эффект хоть и работал, но намного слабее. Не знаю, с чем это связано, но это факт. И это было мне только на руку. Даже если секрет раскроют, и появятся подделки, то они будут куда хуже и не составят конкуренции. А уж сам секрет булатной стали я буду беречь как зеницу ока.

Себе же подобное оружие я брать не собирался, разве что как дополнение к основным клинкам. Боюсь, даже искра молнии в ночи может легко выдать, а мне такого точно не нужно.

- Спасибо, Крис, - тут же по-детски восторженно загорелись у него глаза, как будто ребёнку пообещали подарить новую игрушку.

Впрочем, может, так оно и есть, для нас, мужчин. Оружие в какой-то степени и является нашими игрушками, с которыми мы играем во взрослом возрасте и хвастаемся им перед другими “детьми”.

- Ладно, продолжайте, я не буду вам мешать, - не подав виду, что оценил его реакцию, я развернулся на выход. Хотя, глядя на кузнеца, было видно, что он тоже едва сдерживает свой смех,

благо его улыбку скрывает борода.

Успел я повидаться с Бером и Кимом, эти неразлучные друзья уже привычно играли в кости подальше от чужих взглядов. И я их понимаю, если раньше они были обычными солдатами, хоть и в элитном отряде, то сейчас они начальники, которые не могут показать свою слабость перед подчинёнными. Вот и приходилось двум начальникам расслабляться отдельно от всех. Хоть между бывшими членами наёмного отряда и осталась некоторая близость, но субординацию они соблюдали, по крайней мере во время службы. Да и показывай они откровенное покровительство кому-то, другие вполне могли и обидеться. Всё же уже давно моя армия и стража состояла не из одних только бывших наёмников. Всё больше людей приходило со стороны и пытались наняться на службу, и все они проходили тщательную проверку. Особенно если хотели попасть в стражу замка, тут отбор был куда жёстче.

Бер за то время, что я его не видел, похоже, стал ещё больше. По крайней мере вес он точно ещё набрал, но не лишний жир, а именно мускулы. Всё же жизнь на полном пайке, который готовит профессиональный повар, здорово расслабляет. Благо про тренировки он не забывал, так что всё съеденное уходило только в дело. А вот Ким ничуть не изменился.

Им я тоже решился рассказать о своём настоящем имени и своей цели. Всё же, если это узнал Артур, то и они тоже должны. Приняли они это довольно спокойно, Ким и так догадывался о том, что у меня есть какой-то секрет, а Беру было просто всё равно. Как он сказал мне: “Ты мой друг, и кем бы ты не был, это ничего не изменит”.

Так что, зная о моём враге, они понемногу старались усилить нашу армию, готовясь к возможному сражению. Но слишком явно я просто не мог набирать силы, это могло бы негативно повлиять на мнение короля Лирума, он мог бы посчитать, что мы собираемся напасть на него, что не так далеко от правды. Всё же мы находимся, считай, на самой границе с ними, хоть нас и отделяет магический лес. Но учитывая, что у нас есть проход через него, это может навести на не самые хорошие мысли. А даже если бы он просто запретил торговлю с нами, то это сильно бы ударило по экономике нашего графства. Пока мы приносим только прибыль, но главное, чтобы опасения не переросли размер этой прибыли.

Так что взять мы решили не количеством, а качеством. Набирая только опытных воинов или же новичков с хорошим потенциалом и нещадно обучая их.

Артур тоже, по моей просьбе, придерживался той же стратегии. Кстати, говоря о нём, он как раз собирался заехать

сегодня ко мне в замок. И ждать его пришлось недолго. Весть о его прибытии застала меня во время обеда, так что я решил совместить его вместе с приёмом гостя, ведь с дороги он наверняка хочет хорошо поесть.

- Крис, давно не виделись, - вошёл он в обеденный зал, резко распахивая двери. - Я всё был занят делами графства, эти бароны всё никак не хотели меня отпускать.

- Ну а что ты хотел, - хмыкнул я, приветствуя его. - Ты ведь наш граф, а дел накопилось наверняка много.

- Ну я ведь говорил уже, ну не подхожу я на роль графа. За меня и так все обязанности выполняют другие люди. И управляют графством по сути они, я лишь принимаю основные решения. Может ты всё же возьмёшь на себя это бремя?

- А так и должно быть. Так что ты отличный граф. И нет, выгребай сам, - улыбнулся я, привычно отвечая отказом на его вопрос.

Он ведь уже не в первый раз предлагает подобное. Видно, так и не привык к этой ответственности. Я его в какой-то мере понимаю. Ну не создан он для того, чтобы править. Ему бы больше подошла роль полководца, ведущего людей в бой. Но как знамя он просто отличный лидер, люди любят его. Я же тёмная лошадка, которая вряд ли устроит остальных его подданных. Да и светиться опять же я совсем не хочу. А такая смена власти принесёт только лишь проблемы.

- Ну как хочешь, - спокойно уселся он за стол, принимаясь за подготовленное угощение. - Нам скоро пора будет возвращаться в академию, ты как, готов?

- Надо бы. Хоть и не сильно хочется. И тут дел достаточно. Но всё же доучиться просто необходимо. Я ещё не все знания выгреб из их библиотеки. Да и Профа мы же не будем бросать там одного, - задумчиво протянул я.

- А чего он вообще решил там остаться, а не поехал с нами?

- Сказал, что нужно решить кое-какие дела, пока выдалось свободное время. Слишком долго он там отсутствовал, и накопилось много проблем. Во время учёбы он не мог посвятить этому время.

- Ясно, - лишь кивнул он, принимаясь за очередную ножку птицы с майонезом.

Да, всё верно. Я восстановил рецепт майонеза. Всё же ингредиенты у него простейшие, а здесь его ещё не изобрели. И, скажу я вам, он пользовался большой популярностью, являлся одним из основных продуктов на экспорт и приносил немало золота. Всё же товар эксклюзивный, а все люди любят вкусно покушать. А маги имеют немало денег, чтобы себе это позволить.

Так что, несмотря на крайне низкую себестоимость, продавался он весьма и весьма недёшево.

- О, кстати, а ты решил уже, какой факультет выберешь? - оживился Артур, вспомнив про этот больной для меня вопрос.

Я ведь действительно пока так и не решил. Выбор, может, был и не такой обширный, но уж больно сложно было выбрать. Дай мне волю, я бы остался на общем факультете, чтобы изучать всё подряд. Нет, будь там факультет теневой магии, я бы выбрал его, но увы, такого просто не существовало.

- Нет, я пока ещё думаю, - поморщившись, ответил я.

- Так может к нам, на боевой? - оживился он.

- Я ещё подумаю, - вновь мягко отказался я.

Он уже не в первый раз предлагает, а я не в первый раз прошу время подумать. Слишком уж этот выбор пока сложен для меня. Может, решение придёт позже.

- Твоё право, - скорчил он огорчённое лицо, хоть и зная, что меня таким не проймёшь.

Он ведь не зря приехал ко мне в гости. Уже на днях нам пора отправляться назад на учёбу, в академию магии. И стартуем мы именно из моего замка, так как это просто ближе к нашей цели.

Прошлый год был продуктивным, так что надеюсь, что и этот окажется не хуже. Правда, хотелось бы обойтись без приключений и всяких неожиданностей. Всё же я совсем не адреналиновый маньяк, чтобы жаждать подобного. Но кто знает, как повернётся наша жизнь, она слишком непредсказуемая, чтобы загадывать что-то наперёд. Остаётся лишь надеяться на лучшее. По крайней мере там у меня есть друзья, которые всегда помогут, так что год обещает быть как минимум неплохим.

Глава 2

Все необходимые распоряжения были розданы, а работа распределена по ответственным лицам, я вновь готовился оставить всё управление на своих людей. Благо в этот раз всё получилось куда проще, ведь все механизмы уже были налажены, мне лишь оставалось немного их подкрутить. Похоже, это станет постоянной практикой, по крайней мере во время моего обучения в академии.

В итоге со всеми неотложными делами в баронстве я разобрался, так что теперь уже ничто не мешало нам отправиться в путь, прямиком в академию магии. Хотя, прямиком, это немного неправильное слово. На самом деле мы поехали в диаметрально противоположном направлении. Казалось бы, что мы там забыли, а ответ прост - Алисию. Да, мы решили встретить её на границе

нашего графства и уже оттуда поехать вместе. В какой-то степени это было из-за обеспечения безопасности, ведь никто не хотел повторения прошлогодней ситуации. Но в всё же в большей степени потому, что так ей было веселее, а мы не стали противиться этому её небольшому капризу.

Время её прибытия было чётко оговорено, и она не заставила нас ждать, что удивительно для девушки. А ведь мы специально приехали чуть загодя, чтобы устроить небольшой пикничок под открытым небом, думали успеть всё подготовить к её приезду, но похоже, ей придётся немного подождать. Не знаю, может, дело в том, что везли её профессионалы, на которых она не могла повлиять и задержать их, либо она хотела побыстрее встретиться с нами, но это и не важно.

- Крис, Артур, Кайл, как я рада вас видеть! - жизнерадостно улыбаясь, выпорхнула они из кареты, подбегая к нам.

Если приглядеться, то вполне можно было заметить небольшие изменения в нашей подруге. Она немного подросла и стала выглядеть ещё более женственной, чем раньше. Пожалуй, её уже можно было считать полностью сформировавшейся молодой девушкой.

Может, это было не совсем аристократично, но она дружески обняла каждого из нас. Конечно, на людях она бы себе такое вряд ли позволила, но вот только среди своих - вполне.

- Пока мясо жарится, может расскажешь, как провела лето? - ухмыльнувшись, проводил я её к подготовленному месту для отдыха. Может, деревянные кресла и не верх удобства, но для пикника самое то. Ну а их самих потом просто закинем в замок по пути. Не везти же с собой в академию, у них было только одно предназначение.

- А, да, конечно. Я встретилась со своими знакомыми, они учатся в академии магии Лирума и рассказывали мне о ней, я же им про нашу академию. Было интересно, хотя сильных различий я не увидела. Всё почти так же, как у нас. Хотя сложно об этом говорить, когда лично не увидишь. Конечно, они хвалились, что их академия лучшая, и звали к себе, но я, конечно, не согласилась, - с лёгкой улыбкой рассказывала она.

- И что, даже не захотелось там побывать? - хитро прищурившись, спросил Кайл.

- Ну почему, побывать бы я там хотела, но больше как турист. Учиться же там... разве что если бы вы вместе со мной туда перевелись.

- Боюсь, это невозможно, - покачал я головой.

Тут мало того, что мне там даже мелькать не стоит, но и Кайла туда бы никто точно не отпустил.

- Вот и я так подумала. Но честно говоря, больше ничего интересного дома и не было, скорее скучно. Я бы лучше продолжила обучение с вами. Хотя... - тяжело вздохнула она. - Были и не очень приятные моменты.

- Если не хочешь, то можешь не рассказывать, - с лёгким беспокойством уточнил я.

- Да нет, вы, наверное, должны знать. Папа решил познакомить меня с моим женихом…

- Ну... это было ожидаемо.

- Да не в этом дело. Я и так давно знала, что мужа мне будет подбирать отец, и уже смирилась с этим. Но это оказался наследный принц.

- И ты не рада этому? Мне казалось, все девушки мечтают стать королевами, - удивлённо уточнил Артур.

- Ну, стать королевой, может, было бы и неплохо. Но я и без этого могла бы обойтись. Тут всё дело в личности принца, - вновь вздохнула она. - Уже сейчас он выглядит как упитанная свинья. Но ладно бы только это, в конце концов, внешность далеко не главное. Но и характер у него крайне неприятный, я бы даже сказала - отвратительный. Про него давно ходили нехорошие слухи, но я не особо верила им. Всё же это именно слухи, а он наследник престола, а значит, недоброжелателей у него должно быть много. Но то, что я увидела, превзошло даже все самые неприятные слухи. Он просто невоспитанная похотливая свинья. При первом знакомстве попытался облапать меня, а когда не получилось, утащил за собой служанку в свою комнату, чтобы удовлетворить свою похоть. И это только самое безобидное из того, что он творил. Про остальное я даже говорить не хочу.

- Да уж, не ожидал я, что будущий король может быть таким, - нахмурился Артур.

- Короли не безгрешны, а избалованность может привести к крайне неприятным последствиям, - с каким-то обречённым пониманием произнёс Кайл. И я его понимал, другие этого не знали, но уж ему-то точно приходилось взаимодействовать с подобной личностью. Правда, не знаю, насколько он лучше или хуже своего венценосного собрата.

- Но ладно ещё это. Всё же бывает и такое, что многие супруги даже не живут вместе. В конце концов, в его роду было много хороших магов, и его сын при правильном воспитании мог бы стать хорошим королём. Но ходят слухи, что и как маг он крайне слаб. А значит, ребёнок тоже может оказаться таким же. Возможно, именно из-за силы моего дара меня и хотят отдать ему в жёны, это может сгладить уровень дара потомков. Но похоже, королевский род вырождается, и мне совсем не хотелось бы,

чтобы среди них были и мои потомки, - тихо прошептала она и внезапно вскочила, опомнившись. - Только, пожалуйста, никому про это не рассказывайте. Это могут счесть за государственную измену.

- Конечно, - тут же твёрдо кивнули мы. - Дальше нас это не уйдёт!

Если так задуматься, то мнение Алисии к своей возможной свадьбе стало для меня откровением. Похоже, её действительно совсем не волновала его личность, лишь долг перед родом был важен. Разве что где-то глубоко в душе она наверняка, как и все девушки, мечтала о принце на белом коне. Ей же больше были важны будущие потомки, который должны были приумножить силу магии рода. Но я не могу её винить за это, она ребёнок, выросший в окружении общества, где важно только одно - сила магии и всего рода в целом. Конечно, древность рода тоже имеет значение, вот только существуют и старые выродившиеся рода, утратившие свою силу. Нет, конечно, их уважают, но в то же время и презирают за то, что не смогли сберечь самое главное - свою силу магии.

- Но да ладно. С это проблемой я разберусь сама, когда придёт время. Благо до окончания академии отец не станет выдавать меня замуж, - вымученно улыбнулась она.

И самое интересное, что, возможно, с этой проблемой я ей помогу. Если король действительно окажется замешанным в уничтожении моей семьи, то и его семью я не пощажу, тем более есть возможность таким образом сделать мир лучше, да и нет у короля больше близких родственников, кроме сына. А жизнь моей подруги лишь укрепляет моё решение. Конечно, с королём всё будет куда сложнее, чем с герцогом, но своего я добьюсь. Может хоть это немного смягчит её горе, ведь мой кровный враг - это её отец, и даже ради неё я не отступлю от своей мести.

- Ох, ты бы знала, как круто в землях Криса, а уж что творится в его кузнице! Мастер просто гений, а уж что мы с ним создали... - с горящими глазами начал распаляться Кайл.

- Тихо, - шикнул я на него. - Просто покажи его уже.

- А, да, конечно, - взметнулся он вверх, чтобы достать свой меч на всеобщее обозрение.

- И что тут такого, это же обычный меч из булатной стали. И у меня такой же есть, - хмыкнул Артур.

- Булатный меч? Я слышала о нём, папа очень нахваливал его и жалел, что не может получить себе его способ создания. Но я не очень разбираюсь в холодном оружии, так что не могу ничего сказать, - пожала плечами девушка. - Значит, их делают в твоём баронстве.

- Да, - кивнул я. - Но это не простой меч, видите мелкие разряды на клинке?

- Ну да, у него повышенная проводимость магии? - заинтересовался Артур.

- Он не использует магию. Если ты возьмёшь меч в руки, то молнии останутся.

- Как? - удивлённо распахнул он рот.

- А вот это уже секрет, - лишь загадочно усмехнулся я.

- Тц, всё себе, всё себе. Нет бы с другом поделиться, - театрально вздохнул Рэд, но видя, что представление не возымело эффекта, оживился. - Мне сделаешь такой?

- Конечно. Как только он будет готов, то доставят прямо в академию.

- Спасибо.

- Мальчики, может хватит уже о оружии? Там мясо уже готово, - кивнула маркиза в сторону огня.

- Ну тогда не будем заставлять его ждать, - хмыкнул я. И мы всей компанией отправились уничтожать его запасы.

Отдохнув на природе, мы, сытые и довольные, расселись в карете, чтобы продолжить свой путь. Благо на этот раз наше путешествие прошло без каких-либо проблем. Может нам повезло, но скорее несколько отрядов опытных воинов гарантированно отпугивали всех возможных разбойников.

Прибытие же в академию так же прошло буднично. Тут совсем ничего не изменилось, как будто и не уезжали мы оттуда. Вновь прослушанная речь директора, не сильно отличавшаяся от прошлогодней, тоже не вызвала особого интереса.

С однокурсниками мы, конечно, тоже встретились и поприветствовали друг друга, но не более. Всё же мы с ними были скорее хорошие знакомые, чем настоящие друзья, и меня это совершенно устраивало. Совсем скоро мы окажемся разделены по факультетам, и каждый пойдёт своей дорогой. Возможно, с кем-то из них наши дороги ещё пересекутся, а с кем-то мы никогда больше не встретимся, но так такова жизнь.

Совсем другое дело - предстоящий нам выбор факультетов. Я так и не смог до конца склониться к одному из них.

Первым по количеству людей и по престижности шёл факультет боевой магии. Сюда шли все, кто хотел посвятить свою жизнь сражениям. Но даже если такого желания не было, то аристократы так же старались поступить сюда, за исключением нескольких родов. Ведь учёба тут действительно была престижной, даже если после этого ты и не отправлялся служить в армию. А вот у простолюдинов других вариантов не было, только один путь - в солдаты, если, конечно, на них не положил

глаз один из родов. Но конечно же, маги просто не могли стоять на одном уровне с крестьянами, так что даже при самом низком звании уважения к ним было куда больше, чем к низшим офицерам. А на высших же чинах и так стояли только маги. Обычному человеку почти не было шанса туда пробиться, разве что если это окажется какой-нибудь гений от стратегии. Да и то, его назначат скорее заместителем, чем командующим. Ну и, конечно, все, у кого не было таланта в других областях магии, так же сгонялись на этот факультет. Государству всегда нужно свежее мясо, хоть и весьма качественное, которое не кинут просто так на убой, разве что цена будет соответствующей.

Следующий был факультет артефакторики. Думаю, тут и так всё по названию понятно. Именно сюда Проф хотел, чтобы я поступил. Тут обучались только те, у кого действительно был талант или хотя бы предрасположенность к этой отрасли. Большим количеством студентов он, конечно же, не славился. Но вот по доходу после окончания академии, пожалуй, артефакторы легко обходили всех своих приблизительно равных по силе коллег. Может, среди других студентов местные студенты и не очень уважались, но вот после выпуска всё сильно менялось. Каждому будет выгодно знакомство с талантливым артефактором.

Был и факультет алхимии. Во многом схожий с ранее упомянутым мной. Требования тут были идентичными. Может и стоило бы объединить их в один факультет, но маги этих специальностей всегда воспринимали такое предложение в штыки.

Тесно связан с этими двумя и целительский факультет. Как понятно по названию, тут обучались будущие лекари. Им нужно было разбираться не только в своей области деятельности, но и в алхимии вместе с артефакторикой, хоть и на более слабом уровне. Ведь прямое воздействие магии не всегда может помочь, и в этих случаях вступают в дело смежные отрасли. Конечно же, целители весьма уважались опытными магами и не только. А если вспомнить, что целитель может не только вылечить, но так же просто и убить, то и репутация у них была соответствующая.

Да, конечно же, на каждом из них отводилось немного времени на изучение других отраслей магии, но лишь в количестве, достаточном для самых базовых манипуляций.

Именно эти четыре факультета мне были наиболее интересны. Были и другие, но точно не для меня.

Да, я даже рассматривал возможность становления целителем. Уж больно это выгодно, но вскоре отбросил эту затею. Всё же хоть и можно тут учиться без необходимого типа магии, но

результат будет, мягко говоря, не очень. Да и ману придётся постоянно перестраивать под нейтральную, что для меня не вариант. Я уж не говорю о том, что тень и магия лечения - совершенно разные вещи.

Факультет алхимии тоже отпал. Нет, мне, конечно, нравилось этим заниматься, да и способности у меня были. Вот только узнай об этом Проф, и мне конец. Такого он мне точно никогда не простит. Любой факультет, но только не этот.

Вот и осталось лишь два основных, выбор из которых так и не был сделан.

- Кайл, а ты куда собираешься поступать? - решил спросить я.

- Ну... я бы хотел на алхимию. Но мне пришло послание от дяди, где он чётко дал понять, что я поступаю на боевой факультет, - печально вздохнул он.

А зная его любовь к алхимии, я его вполне понимаю. Но против слова короля не пойдёшь.

- А ты, Алисия?

- Тоже боевой. Остальные, увы, совсем не для меня. Мой огонь приемлет только боевое применение, - улыбнулась она.

- Ну… тогда мне только и остаётся, что поступать вместе с вами. А то ведь пропадёте без меня. - весело рассмеялся я, уворачиваясь от затрещины со стороны девушки. - Надеюсь, Проф меня не убъёт.

Они уже знали о моём близком знакомстве с нашим преподавателем и наших с ним отношениях, так что рассказывать о таком я не боялся. А что касается выбора, то тут я решил довериться судьбе. Раз уж даже Кайла она закинула на этот факультет. Хоть учителя по магии теней там не будет, но уж научить сражаться они смогут, а уж я перестрою эти знания под свой стиль борьбы. Да и практика в сражении с магами других стихий никогда не бывает лишней. А артефакторике меня и Проф сможет доучить. Но задобрить его, конечно, надо будет, прежде чем до него дойдёт эта новость.

Что же касается цвета одежды факультета, то с боевым всё было куда проще. Люди тут старались одеваться в цвета своей стихии. Всё же боевые маги - это весьма нервные особы, и ограничивать их не имело смысла. Хотя как раз цвета стихии и старались соблюдать чётко, ведь сделай ты иначе, и другие студенты вполне могут счесть это оскорблением своей стихии. Так что девочек в розовых или вырвиглазных цветах тут не было, и то хорошо. Для меня же это была отличная новость, ведь теперь я смогу вновь одеваться во всё чёрное. Мне ведь на самом деле в нём спокойнее, это я понял только после возвращения в баронство на каникулы. Похоже, теории о психологических

предпочтениях магов разных стихий вполне имеют под собой весомые основания.

Но это и не так важно. Главное, что мы трое вновь будем учиться вместе. А ведь ещё год назад я даже не подозревал, что действительно подружусь с дочкой моего врага и обычным парнем, оказавшимся племянником короля. Но кто они - совсем не важно. Главное, что они стали мне близки, и я постараюсь защитить их от любых угроз, пусть даже это будут наследные принцы двух королевств.

Глава 3

Буквально на следующий день после распределения по факультетам нас вновь зачем-то собрали в большом зале. Правда, как я заметил, на этот раз тут присутствовали все, кроме первого курса. Это было странно. Но появившийся директор решил наконец развеять моё любопытство.

- Студенты, возможно, многие из вас уже догадываются, о чём я хотел сегодня сказать, и ждут этого с нетерпением. Но для остальных же я должен произнести это вслух, - пророкотал он, видимо, как-то усиливая голос магией. - Да, я объявляю о начале приёма заявок на участие в ежегодном турнире академии. Как и обычно, в нём могут принять участие все желающие, конечно, кроме первого и последнего курса. Первые просто ещё не готовы, для последних же, думаю, сейчас стоит уделить больше внимания подготовке к экзаменам, хоть и будут они не скоро. Формат стандартный, в команде должно быть три человека с вашего курса. Ну а теперь перейдём к самому сладкому - призам. Получат их три лучшие команды. Всех их, конечно же, освободят от сдачи экзаменов…

Уже после этих его слов зал резко всколыхнулся, и донеслись радостные восклицания.

- ...только в этом году, - невозмутимо продолжив, улыбнулся директор. - Их также освободят от оплаты за обучение, или, если они учатся на бюджете, они получат эту сумму в денежном эквиваленте.

На этих словах возбуждение зала лишь усилилось. И я их понимаю, сумма это весьма приличная, даже для аристократов.

- Но побороться за первые места всё же стоит. Ведь в дополнение ко всему этому за второе место студенты получат магические артефакты, сделанные магистром. За первое же... - сделал он небольшую паузу, от которой зал замер в тишине. - Доступ в закрытую секцию библиотеки, а также для каждого члена команды я выделю по одному дню для их личного

обучения.

Прямо на этом моменте зал действительно взорвался. Артефакты - это, конечно, хорошо, но вот приз за первое место поражал куда сильнее. Уже доступ в закрытую секцию библиотеки был весьма достойным призом, ведь такие книги, что есть там, говорят, можно встретить только в библиотеках древнейших родов, да и то далеко не все. Но вот обучение с директором перекрывало даже это. Пожалуй, подобного можно было бы добиться только двумя способами: первый - это стать личным его учеником, вот только проблема в том, что он не брал учеников, второй - являться его сыном или близким родственником. Но второй вариант тоже не гарантированный, такие маги, как директор, даже из-за родственных связей были не готовы тратить своё время на тех, в ком не видят потенциала. Так что даже один день с ним это невероятно щедрое предложение. Конечно, для мага не его стихии это будет не так полезно, но на то он и один из сильнейших магов мира, чтобы суметь помочь раскрыть свои силы любому. Сражаться за такой приз будут все, у кого есть амбиции стать сильным магом.

- Но не думайте, что это будут банальные дуэли между учениками. Хотя и без них не обойдётся. Но это было бы слишком скучно. Я лично подготовлю для вас более интересных противников. Думаю, вы будете рады испытать себя в бою с ними, - немного по-детски усмехнулся директор. - Но если не уверены в своих силах, то я бы посоветовал не рисковать. Конечно, мы будем тщательно следить, чтобы не дошло до летального исхода. Но в таких сражениях бывает всякое. Всё же не стоит забывать, что магия - это мощнейшее оружие! И это оружие вполне может убить, особенно если ваша защита слаба. Так что каждый из участников подпишет документы об отказе от претензий за возможные ранения или даже смерть. Мы не собираемся нести ответственность за вашу слабость или глупость. Так что советую вам для начала проконсультироваться с родителями.

Теперь, услышав эту речь, мне самому стоило решить, хочу ли я побороться за этот приз. Может показаться, что я сошёл с ума, размышляя о таком. Но думаю, раз представился подобный шанс, то нужно как можно скорее хвататься за него. И я даже не говорю о рисках, которые нам предстоят. В своих способностях я уверен. Ну а если действительно убьют, то сам виноват, что оказался слаб.

Но тут вступали в дело другие проблемы. Если я всё же выиграю, то покажу свою силу, что неизменно привлечёт ко мне внимание всех аристократов королевства. Они все захотят закабалить меня любыми возможными способами, начиная от

рабства и вплоть до женитьбы. И дело даже не только в силе, а в том, какие знания я смогу вынести после этого дня обучения с директором, за подобное многие семьи могут и убить.

Да и не стоит забывать о том, что светиться на публике - не лучшая затея. Меня всё ещё могут искать, даже спустя столько лет. А подходящая стихия и возраст могут натолкнуть на ненужные мне мысли. Хотя, прошло столько лет, и меня уже наверняка считают мёртвым. Сомневаюсь, что кто-то поверит в маленького мальчика, что смог выжить, сбежав в магический лес. Скорее всего там мой след и потеряли. И если бы это был прежний владелец этого тела, то так бы всё и было.

- Также особо отличившихся, но не занявших призовые места, мы можем наградить по своему желанию. Надеюсь, вы покажете всё, на что способны, и дадите мне повод гордиться своими учениками! - обвёл он своим взглядом весь зал. - Ну а теперь можете быть свободны. Решайте и готовьтесь!

Из зала я уходил в весьма задумчивом состоянии, не обращая внимания ни на что в округе.

- Кри-и-ис! - раздался позади голос, пока я в задумчивости шёл назад в общежитие, и в тот же момент я был остановлен и развёрнут в сторону собеседника.

- Чего тебе, Алисия? - тяжело вздохнул я, по её горящим глазам догадываясь, о чём пойдёт речь.

- Ты вступишь в нашу команду, - тут же выпалила она.

- Ну... я пока ещё думаю, - постарался я уйти от немедленного ответа.

- Нет, ты, похоже, не понял, - ехидно ухмыльнулась она. - Это был не вопрос, а утверждение! И никаких тут мне возражений! Такой шанс выпадает совсем не часто, чтобы его упускать. А с кем-то другим мне победы не видать.

- Эх, и кто будет третьим? - покорно согласился я.

Всё же ссориться я с ней не хотел. Да и кого я обманываю, она был права. Нужно рискнуть, иначе я потом всю жизнь буду жалеть об упущенном шансе. Попасть в закрытую секцию библиотеки я даже не мечтал. Возможно, там могут оказаться какие-нибудь теоретические знания о магии теней. Для меня даже крупица знаний в этой области будет важна.

- Конечно Кайл, - посмотрела она на меня, как на дурака.

И это было ожидаемо, вряд ли она бы пригласила к нам в команду кого-то другого, даже ради того, чтобы выиграть.

- Ладно, я в деле.

- Ура! - радостно кинулась она мне на шею и тут же быстро смущённо отстранилась. - Я знала, что ты не подведёшь. Теперь мы обязательно победим!

- “Ага, тут попробуй только не согласиться. Не сейчас, так позже, но она меня бы дожала,” - подумал я.

Но всё это было и не так важно на самом деле, ведь сейчас я направлялся сдаваться прямиком в кабинет учителя.

- Проф? - постучавшись, вошёл я в его кабинет.

- А, явился наконец неблагодарный юнец, - едва увидев меня, начал причитать старик. - Правильно, зачем тебе теперь я, раз решил вместо великого искусства артефакторики заняться банальным мордобоем. Это же так просто. Никаких тебе забот и проблем, знай только, что посылай во врага плетения помощнее.

- Проф... - попытался объясниться я.

- Да-да, ты, наверное, изначально и планировал поступить туда. Видно, создавать величественные артефакты слишком скучно для тебя. А ведь у тебя есть способности, которые ты так бездарно теряешь… - всё продолжал набирать обороты он.

- Проф! - удалось заставить его замолчать на секунду. - Я не собираюсь бросать заниматься созданием артефактов!

- Да? - заинтересованно посмотрел он на меня.

- Конечно! Я просто подумал, что всё равно никто лучше тебя не сможет обучить меня этому искусству. Да и зачем повторять то, чему ты уже обучил, - оправдывался я. - Да и мои друзья пошли на боевой, не мог же я их бросить.

- Да, пожалуй, ты прав. Всё равно все остальные бездари не смогли бы тебя достойно обучить. Ну и друзей бросать не стоит, это верно, - покивал он себе под нос. - Решено! Тогда увеличиваем количество наших дополнительных занятий вдвое.

От его слов я лишь обречённо взмолился про себя. Свободного времени и так не много, а теперь станет ещё меньше. Но отказываться просто нельзя. Сам виноват, стоило предусмотреть такой вариант развития событий и попытаться увести разговор в сторону. Впрочем, может и не помешает чуть поднапрячься в этом направлении. Главное только выкроить время, да так, чтобы не пересекаться с дополнительными занятиями профессора Найтингейла.

Но не успел наш разговор закончиться, как раздался стук в дверь. А вслед за ним, практически сразу, в кабинет буквально вплыл ангел. Это была девушка неземной красоты, она даже чем-то напомнила мне виденный образ богини, правда, сильно выделяющаяся своими белоснежными волосами и глазами того же цвета. Глаза казались немного пугающими, но в то же время завораживающе привлекательными.

- О, ты всё же приехала, - вывел меня из прострации голос Профа.

И стоило мне немного отвлечься, как наваждение пропало,

однако красота девушки всё равно производила впечатление. Если приглядеться, это была моя одногодка или близко к этому, чувствовалась в ней некая подростковая угловатость. А глаза и вправду немного пугали, и если бы не зрачки, то можно было бы принять её за слепую.

- Да, дедушка Рудеус, вот, решила навестить вас, как только смогла, - прозвучал лесным ручейком её голос.

- Дедушка? - в шоке уставился я на учителя.

- Кхм... Ну почти. Она внучка моего старого знакомого, и я её с пелёнок знаю. Поэтому такое обращение уже привычно, - слегка смутился он. - И вообще, знакомьтесь, это Лилия Латум.

- Приятно познакомиться, - смог выдавить из себя я.

- Ну а это Крис Дарк, мой ученик.

- Постой! Ученик? Я тебя давно знаю, дедушка, и твой тон отчётливо говорит, что он не просто один из твоих учеников, - слегка нахмурилась она.

- Ну от тебя ничего не скроешь, - ухмыльнулся он. - Да, он мой личный ученик.

- Но... Как же? Ты ведь уже давно не брал никого в личные ученики! Даже мне отказал, - ошарашенно спросила она.

- Как-то так. Он сильно выручил меня в своё время, а дальше как-то само пошло. Да и не безнадёжен он совсем. Разве что весьма ленив, - укоризненно глянул Проф на меня.

- Значит, он уже перестроил свою магию в нейтральную? - с некой жалостью взглянула она на меня.

- Нет, он отказался. Да и не очень ему это нужно, по объёму маны он не уступает тебе. Хотя, согласись он на это, думаю, смог бы куда большего добиться в нашем искусстве, - не отводил он от меня свой хитрый взгляд. - Ну а у тебя, к сожалению, таланта нет, разве что небольшие задатки, но их можно развить и обычным способом.

- Эй, может не будете говорить так, как будто меня тут нет? - возмутился я.

- Да, приношу свои извинения, - тут же изменилась в лице она, скрыв свои эмоции за “ледяной маской”. - Просто не ожидала, что дедушка Рудеус возьмёт себе личного ученика. Это было неожиданно.

- Да ничего страшного. Я тоже не ожидал, что у него есть названная внучка, - кивнул я. - Значит, вы поступили на первый курс?

- Да. Отец не хотел отдавать меня в академию, но когда дедушка узнал, что его старый друг вернулся после стольких лет отсутствия, то отправил меня сюда. И заодно попросил передать, что, цитирую: “Если этот старый козёл так и не навестит меня, то

я сам могу решить наведаться к нему в гости”.

- Что? Нет! У тебя ведь есть способ с ним связаться? Живо сообщи ему, чтобы даже не смел приближаться к моей лаборатории! Заеду я к нему, как только смогу! - почему-то начал паниковать Проф.

- Хорошо, - едва заметно улыбнулась девушка.

- Проф, почему ты так занервничал? - решил уточнить я причину его беспокойства.

- Ты не понимаешь! Он весьма сильный маг. Нет, не так. Он Очень сильный и старый маг! К тому же с возрастом его контроль упал, и он просто не может сдерживать свою магию, так что фонит он ей по всей округе. А заготовки для артефактов с готовностью впитывают эту энергию, становясь непригодными для дальнейшего использования. Нет, кое-какие заготовки я только рад был бы зарядить его магией, уж больно интересные получаются артефакты. Но он ведь перепортит мне все! Нет чтобы фонить нейтральной маной, так нет, обязательно светом. У меня потом вся лаборатория напоминает какую-то гирлянду, - проворчал он.

- Светом? Он маг света? - заинтересовался я. - Никогда с ними не встречался.

- Думаю, и не стоит, это и так не очень приятно, а для тебя, наверное, особенно. Вы с ним как две противоположности, - поморщился старик.

- Противоположности? Ты взял в ученики мага теней? - тут уже от удивления сломалась “ледяная маска” девушки. - Их же практически нереально сейчас найти.

- Хах, места знать надо, - гордо вскинулся он. - Ну и магов света тоже не так много. В нашем королевстве я только семью Латум и знаю.

- Ну или скорее я его нашёл, - тихо хмыкнул я.

Мы с этой девушкой заинтересованно рассматривали друг друга, всё же не каждый день встречаешься с магом противоположной стихии. Конечно, я, не показывая вида, заодно и отдавал дань уважения её фигуре, раз уж представилась такая возможность. Она же, похоже, рассматривала меня скорее с научной стороны. Хотя и видно было, что старалась не показывать своих эмоций. Просто не смогла их сдержать в такой обстановке. Я знаю такой тип девушек, что на всеобщее обозрение выставляют только свою безэмоциональную сторону, а свои истинные эмоции раскрывают только близким. Я же сумел увидеть их только из-за присутствия Профа, ну и её неподдельного удивления.

Было бы интересно сразиться с магом света. Всё же

интересно, как их магия будет взаимодействовать с моей. С одной стороны, свет может рассеять тень, а с другой, только благодаря свету тень и может существовать. Но с ней же лично драться особого желания не было. А её деда я явно не потяну. Если уж Проф признал его Очень сильным магом, то сомневаться в его словах я не собирался. С такими “зубрами” мне пока не тягаться. Но моё развитие на этом не остановится, рано или поздно я сравняюсь с ним в силе и даже превзойду! Но, конечно, поучиться у такого человека было бы очень интересно. И именно поэтому я решился на участие в турнире, чтобы получить знание одного из сильнейших из живущих магов этого мира.

- А у вас брат есть? - заинтересованно уточнил я.

- Есть, - немного растерялась она.

- Старше, младше?

- Младше, - покорно ответила она, не ожидая такого напора.

- Печально, - тяжело вздохнул я. - Придётся немного подождать.

- Зачем вам мой брат, - нахмурила она свои бровки.

- Сразиться с ним хотел бы, - не стал скрывать я.

- Мужчины, - фыркнула она. - Думаете, я слабее него?

- Да нет, я не то имел ввиду!

- Ну вот и хорошо. Значит, позже устроим спарринг. Проверим, кто сильнее. И не думайте, что раз я поступила на первый курс, то ничего не умею! Дедушка хорошо обучил меня.

- Хорошо, как пожелаете, - поспешил с ответом я. Хотя и надеялся, что она просто забудет об этом обещании. Сражаться с ней мне совсем не хотелось.

- Вот и хорошо. Тогда ещё увидимся. И к тебе, дедушка, я тоже зайду попозже, - развернулась она и покинула комнату.

- Женщины, - развёл руками Проф, ловя мой растерянный взгляд. - А ведь раньше она была такой милашкой.

Я на это лишь вздохнул, принимая случившееся, как есть.

Однако лишь после её ухода я обратил внимание на одно чувство, не замеченное мной ранее, что я ещё никогда не испытывал в этом теле. И лишь мой плащ скрыл меня от возможного конфуза. Похоже, с явным опозданием, но он проснулся!

Глава 4

Знаете, такое непривычное чувство: просыпаться утром с готовым к бою маленьким другом. Я уже очень давно не ощущал подобного. Всё время был чем-то занят: учёбой, тренировками, управлением баронством, что даже не задумывался об этом. И

если честно, было весьма странно. Объяснить же подобное я даже не могу. Может люди тут развиваются как-то по другому, а я просто никогда не задавался этим вопросом. Или же как-то повлияла моя магия. Слишком она тесно связана с моим телом, так что, так сказать, блокировать отвлекающие меня функции, думаю, она вполне могла. Тем более, мне действительно было не до того. Но видимо, эта новенькая студентка пробудила что-то у меня внутри. И ведь с другими девушками ничего подобного не было. Я никогда не отвлекался на них, двигаясь к своей цели, да и почти ни с кем не общался. Светлану же в этом плане я совсем не воспринимаю, она мне скорее как сестра. Алисия же поначалу была дочерью врага, сейчас же друг. Так что ничего такого я тоже к ней не испытывал, хоть и признавал, что она довольно красива.

Но в итоге случилось то, что случилось, и мне теперь придётся решать эту проблему. И пожалуй, первым делом стоит посетить местный квартал “красных фонарей”. Тело должно вновь научиться контролировать себя, а для этого мне нужно сбросить напряжение.

Конечно, идти к “жрицам любви”, возможно, не лучшая идея, но это самый просто способ не попасть в неприятности. Казалось бы, вокруг меня целая куча молодых студенточек, с которыми можно было бы решить эту проблему. Всё же в таком возрасте им хочется того же. Вот только решение одной проблемы таким способом потянет за собой целый ворох других, которые будет уже не так просто решить. Не стоит забывать, что почти все из этих девушек из магических родов, представители которых явно не обрадуются, узнав о нашей связи. Хотя, может и обрадуются, вот только мне от этого станет только хуже. Привязать к своей семье таким образом мага теней, думаю, захотят многие, конечно, если девушка не наследница семьи.

Мой мрачный образ пока отпугивает возможных кандидаток. А вот глядя на Артура, можно понять, что в нём уже заинтересовались. Всё же граф, да ещё и довольно сильный маг огня. Девушек за ним увивается довольно много, но он также старается не заводить ни с кем отношений, понимая всю глубину этой ловушки. Конечно, во многом тут работает и его внешность, уж привлекательностью он не обделён. Но для девушек это скорее лишь приятное дополнение. Возможно, на меня не сильно обращают внимание, так как надеются поймать рыбку покрупнее в виде Артура. Всё же он мой сюзерен, а значит, если получить влияние над ним, то и надо мной тоже. Но такое внимание, направленное на него, может не продлиться долго.

В любом случае, лучше решить эту проблему на стороне. Тем более когда есть деньги и всех негативных последствий можно

просто-напросто избежать.

Можно было бы, конечно, найти хорошую девушку из простолюдинок и поставить себе на содержание или даже привести служанку из баронства. Но постоянные отношения с девушкой, что не сможет себя защитить, могут быть слишком опасными, это создаст мне слабое место. А держать её постоянно дома под охраной не дело, да и обычные воины вне дома, защищённого магией, ничего не смогут противопоставить магу.

Нет, я всё уже решил. Так что в ближайший выходной пойду решать эту проблему в скрытый квартал, там как раз есть несколько таких мест для богатых клиентов.

Квартал встретил меня привычно настороженно. Благо пароль не изменился, так что пройти удалось довольно легко. Однако перегородивший мне дорогу мужчина настроение сумел подпортить изрядно.

- Господин, рады вас приветствовать. Не соизволите ли вы пройти со мной? Шулер хотел бы встретиться с вами, - начал он свою речь, руша все мои планы. А пара громил поблизости явно показывала, что выбора у меня особо и нет.

Я задумался. Встречаться с ним не горел желанием, ведь совсем непонятно, что ему от меня нужно. Но и сбегать сейчас было бы ошибкой, всё же это значит, что проход в этот квартал будет для меня закрыт, да и ссориться с ним не было никакой нужды. Так что наиболее правильным было бы выслушать, чего он хочет, а там уже решать.

- Хорошо, ведите, - озвучил я своё решение.

Путь наш лежал до того же здания, что и в прошлый раз, поэтому добрались мы быстро. В кабинете же меня вновь ждал тот же человек. Не засада, и то хорошо, не станет такой человек, как он, рисковать собой, хоть и не стоит расслабляться.

- О, Широ, рад тебя видеть, - преувеличенно бодрым тоном произнёс он. - Я всё думал, чего ты так долго не заходишь проведать своего старого знакомого. А тут мне мои ребята доложили, что ты появился в моих владениях, вот я и попросил друга проводить тебя.

- Взаимно. Да вот, некогда всё было, а так бы я обязательно наведался в гости, как смог, - подыграл ему.

- Вот и славно, - потёр он руки. - А где же твой учитель? Я давно его не видел, а ведь у меня было весьма прибыльное дельце для него, но, увы, ограниченное по времени.

- Не знаю. В один момент он просто исчез и не выходил со мной на связь. Он всё же маг теней, и я не стал беспокоиться, мы вполне можем так поступить без объяснения причин, - пожал я плечами. - А искать его было просто бесполезно, если такой, как

он, захочет спрятаться, то никто его не найдёт. Мне до него ещё очень далеко.

- Хм, да, тут, пожалуй, ты прав. Этого старого параноика, если он не захочет, в жизни не найдёшь, - задумался он, почёсывая подбородок. - В общем-то, тогда не важно. Свой шанс заработать он уже потерял. А вот для тебя у меня есть отличное предложение.

- Для меня? - слегка удивился я.

- Да, именно. Ты уже показал свою силу на арене, так что заслужил моё уважение. И я решил дать тебе немного подзаработать. У нас тут скоро начнётся турнир, и я хотел бы предложить тебе в нём поучаствовать. Победителю я лично выделю тысячу золотых, не правда ли, отличный способ заработать? Конечно, он весьма опасен, но опыт у тебя уже имеется.

- Я, пожалуй, откажусь, - недолго раздумывая, ответил я.

Деньги, конечно, немаленькие, но записываться в ещё один турнир мне что-то совсем не хотелось. Рисковать жизнью, да и привлекать лишнее внимание к себе - очень нежелательные атрибуты подобного согласия. Тем более для меня эта сумма не настолько критична.

- Ладно, ладно, я тебя понял. Специально для тебя я увеличу приз до полутора тысяч золотых, - ухмыльнулся он. - Неправильно это, когда на арене теней, не будет ни одного мага тени.

- Боюсь, я всё так же откажусь. Меня сейчас не интересуют деньги, - покачал я головой.

- Хм, маги, как же с вами сложно, - нахмурился он. - Может тебя интересует что-то другое? В мои запасах есть много интересного.

- Ну... - тут уже задумался я. - Если есть книги по обучению магии теней, то это было бы интересно,

- Книги? Боюсь, подобного у меня нет. Был шанс получить подобное, но слишком уж много запросили. Там у наших соседей как раз род магов теней оказался уничтожен, вот, видно, к чьим-то рукам книжка из их библиотеки и прилипла, - задумался он.

Я едва смог удержать свою заинтересованность. Похоже, родовую библиотеку уже начали разграблять. Это печально, но стоит промониторить рынок, может что-то удастся заполучить и мне.

- Стой! Думаю, у меня есть то, что тебя заинтересует. Книжку-то я не стал брать, но кое-что всё-таки взял для своей коллекции, - воскликнул он, повернувшись к своему слуге. - Принеси мне шкатулку тридцать семь из основного хранилища.

- Посмотрим, - лишь кивнул я, решив дождаться и оценить, что же он хочет мне предложить.

Благо ожидание не затянулось, и вскоре слуга вернулся, неся незатейливую шкатулку из металла.

- Вот, взгляни, - открыл её Шулер, показывая мне лежащий на бархатной подушечке чёрный кристалл. - Судя по всему, это какой-то накопитель для магии теней. Более точно мои маги не смогли сказать. Всё же тут нужен именно маг теней, а показывать его твоему учителю я не стал. Надеялся приберечь на крайний случай, когда нужно будет его заинтересовать. Но в знак наших дружеских отношений я готов выставить его в качестве приза на турнир. Всё же престиж важнее данной безделушки.

А я, вглядываясь в кристалл, боролся сам с собой. С одной стороны, мне совсем не хотелось участвовать в этих битвах, с другой же, заполучить его было бы очень даже неплохо. Тем более, что своим видом он уж слишком напоминал мне кристалл из прочитанных мною книг, и если это так, то получить его становится моей первоочередной задачей. Но боюсь, выкрасть его вряд ли получится. Уж Шулер-то точно имеет защиту от магов теней, особенно учитывая, что знает одного, а теперь уже двух таких.

Подозрительно, что он предлагает мне такую ценную вещь, но я ведь точно не знаю, что это и сколько стоило. К тому же, не стоит забывать, что он не просто дарит мне его за участие в турнире. Он лишь ставит его на кон. Чтобы его получить, мне придётся победить. А учитывая, что он видел моё поражение, то, похоже, на мою победу даже не рассчитывает. Скорее всего, я действительно ему нужен больше как развлечение и показатель статуса турнира. Пожалуй, на его месте я поступил бы точно так же, почти не рискуя облапошить наивного юношу.

- Это... интересно, - скрывая своё волнение, ответил я. - Пожалуй, я соглашусь на участие в турнире. Но ведь призы будут не только за первое место?

- Отлично, - потёр он руки. - Да, за второе и третье место тоже будут денежные призы.

- Тогда давай договоримся, если я займу третье место, то получу право выкупить данный кристалл по полной стоимости. Если же займу второе, то ты сделаешь мне скидку в полцены. Идёт? - решил на всякий случай подстраховаться я.

- Хм, - задумчиво взглянул он на кристалл, а потом на меня. - Скидка в четверть за второе место, за третье ничего не получишь, и я согласен. Будет для тебя стимулом победить.

- Идёт, - поспешил согласиться я, пока он не передумал. В таком деле скидка уже не важна, главнее шанс заполучить

кристалл.

- И да, всё же, если встретишь учителя, то передай, что я хотел бы его увидеть, - напоследок попросил Шулер.

- Конечно, - кивнул я, зная, что он уже никогда с ним не встретится, разве что в чертогах Хель.

Его вопросы о старике меня немного настораживали. Было непонятно, может, он знает о его судьбе и проверяет меня таким образом, не связан ли я с его последним делом. Или же он не знает о случившемся, и ему действительно нужен опытный маг тени для каких-то своих дел. Оба варианта были вполне вероятны. Ведь такой человек, как он, наверняка имеет покровителей среди высокопоставленных персон, а может даже работает на короля. Ему могли дать задание выяснить больше про случившееся. С другой же стороны, он человек не того уровня, чтобы ему доверяли такие секреты, что были скрыты от общественности. Слишком много неопределённости.

В любом случае, доверять я ему не собирался. Человеку с таким прозвищем довериться может только идиот. Но вот условия заключённой сделки он наверняка сдержит. Такие люди, как он, строго следят за своей репутацией. И даже если это сулит убытки, то он будет поддерживать её, иначе тут не выжить. Хотя, всё, конечно, зависит от суммы. Начиная с определённой цены частичкой репутации можно и поступиться, тем более если велик шанс, что об этом никто не узнает.

Но сейчас это было не так уж и важно, ведь мои ноги вскоре принесли меня к цели, от которой отвлёк этот разговор. Здание передо мной не выделялось на фоне остальных, но вот его наполнение… совсем другое дело. Немногие знали о нём, но мне удалось достать эту информацию. Цены, конечно, тут кусались, но и девушки были самыми лучшими и регулярно проверялись у мага жизни, что весьма недёшево стоит.

Перед входом я выпил эликсир, он гарантировал отсутствие появления нежеланных последствий. Конечно, внутри мне бы предложили подобное, но я не такой идиот, чтобы пить неизвестные мне зелья в таком месте. Лучше уж озаботиться заранее тем, в чьём качестве я уверен.

Конечно, может показаться, что я зря это делаю, ведь богиня как раз таки наоборот, сказала завести мне потомков. Только и делай, что развлекайся да оставляй после себя определённые последствия. Вот только делать бастардов и тут же бросать их на произвол судьбы - не по мне. Я ведь сам рос в детском доме и понимаю, что это такое. Не хотел бы своим детям такой судьбы. Да и матери из девушек, работающих тут, вряд ли получатся хорошие. Проще уж делать это с крестьянками. У таких детей и то

жизнь лучше будет.

Вообще, подобное вполне практиковалось многими аристократами. Поездка такого молодчика по стране через пятнадцать лет нередко приводила к поступлению нескольких простолюдинов с одинаковой стихией в академию магии. Конечно, рода отслеживали подобных детей, и если они показывали хорошие результаты, то могли принять их в род. Предварительно, конечно, озаботившись составлением о себе хорошего впечатления. Никому не хотелось принимать в семью бомбу замедленного действия, которая могла мечтать найти отца, бросившего его, и отомстить. А вот родовая способность, к счастью или нет, у таких детей обычно не проявлялась. Но могла вернуться в следующем поколении, если он заводил ребёнка с магиней. Вообще, вопрос родовых способностей слишком сложный, чтобы сказать что-то точно. Но некоторые закономерности всё же выяснили и следовали им. Никто не хотел появления в чужом роду мага со своеобразным козырем своего рода. За такое и войны нередко объявляли. Но я пришёл сюда не для того, чтобы размышлять о подобном, тем более эту проблему уже решил.

Внутри меня встретила весьма привлекательного вида брюнетка лет за тридцать.

- Господин, рада приветствовать вас в нашем заведении, - улыбнулась она. - Похоже, вы здесь впервые. Позвольте узнать, кто рассказал вам об этом месте?

- Отец сказал, что это лучшее место в городе. Надеюсь, он был прав?

- О да, поверьте, вам здесь понравится. Вы не первый юноша, что приходит сюда по рекомендации отца. Это частая практика. Хотя наиболее влиятельные рода предпочитают использовать для такого девушек из слуг рода. Но никто из наших посетителей ещё никогда не уходил недовольным.

- Ну хорошо.

- Пройдёмте, я покажу вам девушек, - позвонила она в колокольчик, прежде чем проводить в другую комнату.

Когда я зашёл в помещение вслед за ней, мне показалось, что я оказался в гареме какого-то турецкого султана. Насколько много девушек тут было на любой вкус. Некоторые из них стыдливо прятали глаза, другие же смотрели с вожделением, похоже, и о разнообразии характеров тут не забыли.

- Выбирайте, - ухмыльнулась моя провожатая, обводя рукой зал.

Хоть выбор и был действительно большим, но, долго не раздумывая, я сразу выбрал миловидную блондинку, кинув

мешочек с заранее подготовленной платой хозяйке заведения.

Мне всегда нравились блондинки, может именно поэтому мне так и понравилась “внучка” Профа. А может дело в чём-то другом, ведь такого же восхищения этой девушкой я не чувствовал. Конечно, её волосы не были настолько же белы, но я и не собирался выбирать точную копию, такое просто невозможно.

Стоило мне передать деньги, и я незамедлительно был утянут девушкой в одну из комнат поблизости.

Описывать произошедшее я, конечно же, не буду, скажу лишь, что девушка была весьма умела, и я не пожалел о потраченных деньгах. Стоит наведываться сюда время от времени, чтобы сбросить напряжение. Главное не стать заложником собственных инстинктов и не зачастить сюда. Но по другому никак, организму просто требуется разрядка. Если же сдерживать себя, то, боюсь, ничего хорошего не получится. Это физиология, и она всегда одержит верх над разумом. Таким образом я смогу удержать свои чувства в узде, но лишь при подобных небольших послаблениях.

Глава 5

Сразу же возвращаться назад в академию после так хорошо проведённого вчерашнего вечера я не собирался. Но и оставаться в этом увеселительном заведении тоже, как бы мне этого не хотелось. Пока выдался свободный день, стоило заняться тем, что делать на территории академии было бы не лучшей идеей. А именно изучением моей родовой способности. Кто знает, как именно на неё отреагируют окружающие маги, может смогут засечь. А мне совершенно не нужно, чтобы в обычном студенте опознали потомка официально уничтоженного рода. Может о нашей способности знает не так много человек, но кто именно, мне просто неизвестно.

Конечно, призыв живых теней можно замаскировать под только начинающую зарождаться способность, если вызывать только слабейших. Такое тоже возможно, но даже так, это тоже привлечёт ко мне внимание. Ни один высокопоставленный аристократ не откажется от подчинённого им рода магов теней, да ещё и с родовой способностью, хоть и слабой. Тем более думают они не сиюминутной выгодой, а на будущее. С течением времени способность наберёт силу и станет ещё более полезной для рода, заметившего такого самородка и сумевшего подчинить его.

Да и подчинение - довольно громкое слово. Насильно это делать будут только в самом крайнем случае, да и то уничтожат

человека, как только он выполнит своё предназначение и получат от него потомков, как бонус. А уж детей можно воспитать так, что они будут даже благодарны приютившему их роду.

Именно поэтому я и решил выйти за город, чтобы в случае чего суметь быстро сбежать незамеченным. Не в своём же доме это делать и давать такой след ко мне. На первый раз лучше перестраховаться.

Если честно, я даже не догадывался, как призывать эти тени, ведь никто мне об этом просто не рассказал. Значит, вновь придётся экспериментировать и набивать шишки собственным лбом, а не учиться на ошибках предков. Но другого пути у меня и нет.

Первым делом я попытался вновь повторить то ощущение, что было у меня в момент падения в план теней. Однако сейчас у меня была цель не спуститься к ним, а наоборот, поднять одного из них в мой мир. И это не получалось. Возможно, проблема была в том, что я не прятался в тенях, но сделай я так и возможно повторил бы свой недавний опыт.

На этом я не остановился, продолжив перебирать и другие варианты. Небольшие подвижки стали заметны, когда я мысленно стал представлять себе образ одной из теней в том зале, при этом подавая свою магию в ближайшую тень. Медленно тень стала приобретать очертания и объём, превращаясь в представленное мною существо.

- Ты всё же решился призвать одного из нас, - прошипело это устрашающего вида существо. - Что тебе нужно?

- Знания, которые твой правитель обещал мне.

- Задавай свои вопросы, - как будто кивнуло оно. - Но помни, что плату я уже начал взимать. Смотри не надорвись, не хотелось бы потерять потомка нашей госпожи из-за какой-то ошибки.

И действительно, если сосредоточиться, то сразу становится заметен довольно приличный отток магии. Даже для меня расход весьма приличен. Но по крайней мере на какое-то время меня хватит. Просто нужно быть осторожным и стараться не доводить до крайности. А ведь это не король, лишь один из его слуг. Что же будет, если призвать его?

- Сперва скажи, как тебя зовут.

- Можешь называть меня просто Тень. Этого будет достаточно.

- Ну хорошо. Тогда, ты сможешь обучить меня лучше использовать магию теней? - задал я главный вопрос.

- Нет.

- Нет?

- Король уже говорил, мы рождаемся с этими знаниями, тень

и так часть нас. Это наша суть. Ты же, хоть тоже управляешь тенями интуитивно, но лишь на самом базовом уровне. Если же ты хочешь делать это так же, как мы, то есть лишь один способ - стать одним из нас.

- И что же для этого нужно? - решил уточнить я.

Конечно же, ни о каком становлении тенью я и не думал. Какой смысл в том, чтобы лишаться физического тела ради силы? Потери будут несоизмеримы с полученным. Тем более я и так могу призывать тени, так что становиться одной из них нет никакого смысла. Да и богиня явно не обрадуется тому, что я лишусь репродуктивной функции, так и не выполнив своё обещание. Хотя, если бы была возможность делать это временно, то всё было бы совсем иначе.

- Только одно - умереть!

- Нет уж! Пожалуй, ещё поживу немного на этом свете, - отмахнулся я от него.

- Все маги теней после смерти становятся тенями. И встают на стражу царства Хель.

- Что? - ошарашенно спросил я. - Это правда?

- Мне нет смысла врать.

- Но если это правда, значит, вы должны владеть знаниями из жизни живых. Мне бы они пригодились. Да и с предками хотелось бы встретиться, уж они-то знают многое, - обдумывая открывающиеся перспективы, радостно оскалился я.

- Нет! Перерождаясь тенью, вся память исчезает, остаются лишь обрывки из прошлой жизни, что и формируют нашу личность. Лишь наиболее яркие моменты. И знания по магии обычно не входят в них.

Эта новость опустила меня с небес на землю. А я уже успел мысленно восхититься возникшим перспективам. Если бы мне удалось заполучить знания магов прошлого, то моим врагам после такого точно бы не поздоровилось. Но как это всегда и бывает, мечтать о неубитом медведе я начал слишком рано, вот и поплатился за это.

Хотя, с другой стороны, если бы я встретился с предками рода Хэл, то не уверен, как бы они меня восприняли. С одной стороны, я душа, что захватила тело их потомка. С другой же, сделал я это не сам, а с помощью богини, да и души парня к этому времени, по сути, уже не было в теле. Оставалась только пустая оболочка, наполненная лишь воспоминаниями прошлого. Я ведь единственный, кто может сейчас восстановить род. Но кто их знает, этих аристократов. Может посчитают, что лучше уж пусть род умрёт окончательно, чем я буду жить. А ведь если бы даже парочка теней напала на меня, то я совсем не уверен в

собственной победе.

- Что-то мне не хочется становиться такой тенью, - нахмурился я.

- У тебя нет выбора. Это судьба всех магов тени. Именно для этого госпожа дарует нам силы, чтобы мы могли верно стоять на её страже.

- Мне казалось, богине не нужны защитники, - хмыкнул я.

- Конечно нет. Она может справиться со всем и сама. А если встретится то, с чем не сможет совладать и она, то и мы тут будем бесполезны. Но зачем ей тратить своё время на мелочёвку?

- Ну... ты, пожалуй, прав.

Не стал я с ним спорить. Хотя, конечно, не по мне это, терять свою личность. Но предупреждён - значит, вооружён. Соответственно, стоит успеть до своей смерти найти способ не превратиться вот в это. Или хотя бы сохранить свою память. Впрочем, идти ради такого на всё я не готов. Потому что единственный способ оттянуть встречу со смертью мне совсем не нравится. Нежитью я становиться точно не собираюсь.

- Тогда и другие маги становятся подобными существами?

- Далеко не все. Лишь те, чья сила имеет тесную связь с богами.

- Ясно. И ведь жрецы наверняка знают это и ничего не говорят. Конечно, они ведь не обманывают, после смерти ты действительно окажешься, можно сказать, подле своего бога, а вот в каком виде, это уже другой вопрос, - усмехнулся я.

В ответ же мне донеслась лишь тишина.

- Кстати, что по поводу магов этого мира, они могут обнаружить твоё появление тут? Не всполошит ли их это?

- Раньше никогда подобного не было. Сильнейшие маги знают о нашем существовании, но ничего не делают. Бывали, конечно, и такие, что хотели захватить нас и изучить, но богиня не любит подобного обращения со своими слугами и жестоко наказывала за подобное. Думаю, память об этом ещё не исчезла, даже несмотря на вашу недолговечность.

- Ясно. Ладно, всё это не так важно на данный момент. Раз уж ты научить меня ничему не можешь, то придётся всё осваивать на практике. Мы с тобой поспарингуемся немного, может удастся подсмотреть что-то стоящее и повторить это позже, - решился я, принимая боевую стойку. - Нападай!

И Тень не заставил меня ждать, тут же ринувшись в атаку. Его движения были слишком быстры для обычного человека, но мне всё же удалось отразить его удар своей тенью, но от силы этого удара меня протащило на пару метров назад.

“Вот это сила и скорость, а ведь он даже не начал

использовать тени, как оружие. Он на одних физических данных сможет посоперничать с физически слабыми магами", - промелькнуло у меня в голове.

Мой соперник не стал медлить и, поняв, что первая атака не удалась, сразу же ушёл в тень. Я же решил не следовать его примеру. Почему-то есть у меня такое ощущение, что это ловушка. В тенях у него точно будут преимущества. Всё же у меня до сих пор есть небольшое замедление движений там. Даже Куро лучше меня там движется, что уж говорить про существо, состоящее из тени. Так сказать, его родная стихия. С тем же успехом я мог бы сражаться против рыб в воде.

Следующая атака последовала со спины. Это было даже ожидаемо, поэтому отразил её с лёгкостью. Всё же на его месте я поступил бы точно так же. Последовало ещё несколько подобных атак, но все оказались безуспешными.

Я чувствовал, что он сдерживает себя, просто проверяя мои силы и понемногу используя всё больше своих способностей. Вот и сейчас из одной тени внезапно вылетело теневое копьё, но это было ещё не всё. Стоило мне его отбить, как со спины полетело ещё одно, а следом за ним снова и снова продолжались атаки. Я уже не успевал на них реагировать, получая царапины. Бил он не в жизненно важные места, но всё равно было неприятно.

Я не мог понять, как тени могли атаковать одновременно из разных точек. Ведь твёрдо знал, что дистанционно их использовать невозможно. И либо для этого существа такого ограничения не было, либо есть какой-то обходной путь. И если верен первый вариант, то сражаться с таким существом становится страшно. Конечно, у некоторых магов есть что-то подобное, когда они управляют своими атаками на расстоянии, но это уже уровень весьма сильного мага. А вот если второй вариант, то это было весьма интересно.

- Стой, - крикнул я, поняв, что ещё немного, и я окончательно проиграю. Да и мне была важна не сама победа, а опыт, полученный в этом спарринге.

Тень в то же мгновение материализовался рядом со мной.

- Твои последние атаки, как ты атаковал сразу с нескольких сторон? Управлять тенями на расстоянии невозможно! - задал я самый главный для меня на данный момент вопрос.

- Я и не управлял ими на расстоянии. Просто разделил на несколько потоков и проводил свои атаки через теневые пути, - спокойно ответил он.

И тут меня проняло. Как я сам мог не догадаться о таком способе? Это ведь лежало на поверхности! Если я могу двигаться этими путями, то и мои тени тоже.

- Но как ты направлял тени именно на меня? Ведь ты их уже не видел, - немного подумав, уточнил я.

- Мне не нужно их видеть, чтобы направлять, это часть моего тела.

Его ответ заставил меня задуматься. Всё же контроль теней у меня не настолько хороший, как у него. Но думаю, у меня получится решить эту проблему. Уже сейчас возникли мысли о том, чтобы заранее продумывать направление атаки. Или же наблюдать за внешним миром и, едва моя тень покажется там, направлять её в нужную мне сторону. Конечно, тогда пропадёт элемент неожиданности, но думаю, эта проблема больше зависит от скорости реакции. Думаю, и другие способы можно найти, главное - хорошенько подумать.

Вставал и вопрос про количество одновременных атак. Боюсь, так же, как он, я сделать не смогу. Но уже две атаки в одно время я потяну, и это тоже неплохо. Атаковав в лицо и заставив противника защититься, можно неожиданно повторить удар со спины. Уклониться от такого будет сложновато. Это то же самое, как и сражаться сразу с двумя противниками.

Конечно, быть может проще было бы просто призвать Тень себе на помощь. Но зачем лишний раз привлекать к себе внимание? А это точно случится! Лучше использовать его только в крайних случаях или когда никто этого не увидит. Да и магии он жрёт прилично. И именно жрёт, а не ест, уж больно прожорливый. Прошло совсем немного времени с момента его призыва, а расход магии стал уже весьма приличным. Стоит заканчивать с этим на сегодня. Пока у меня появились новые тренировки, на которые стоит оставить силы.

- Спасибо за спарринг, можешь быть свободен.

И едва я договорил свою фразу, как он тут же погрузился в тень, исчезая с нашего плана.

Всё-таки хорошо, что он такой послушный. Видимо, я всё же как-то могу влиять на их время в этом мире, как минимум своей энергией. Надо бы, кстати, научиться мгновенно обрывать эту связь, просто на всякий случай. Ведь кто знает, что может произойти в будущем.

Если так подумать, то я сильно рисковал, призывая это существо в наш мир. Кто знает, какие у его расы были намерения. Может всё, что они мне наговорили, было простой ложью, чтобы заставить призвать во внешний мир. Ведь то, что они живут в отдельном плане мира, может означать и то, что кто-то запер их там, опасаясь чего-то или наказывая их за преступления. Но случилось то, что случилось, я бы просто не смог проигнорировать такой шанс усилиться, даже несмотря на свою

паранойю. Конечно, стоит оставаться осторожным с ними, но думаю, ничего страшного не произойдёт. Всё же они искренне восхищались Хель, и она точно не стала бы наделять враждебных миру существ своей магией. По крайней мере, я на это надеюсь.

Не хотелось бы думать, что это её армия для захвата мира и превращения его в царство смерти. Что вполне возможно, но даже ей, думаю, такого не позволят другие боги. Да и не нужно ей это, в её царстве душ, наверное, побольше пространства будет, чем есть на всей этой планете. И не вижу смысла добавлять себе лишней мороки. Хотя кто знает, как мыслят боги на самом деле, нам, смертным, их просто не понять.

Тень оказался прав, и никто не заинтересовался моим призывом и не явился сюда. Что хорошо, ведь я смогу использовать это и в будущем. Хотя на близких расстояниях всё может и измениться.

Сейчас же, как только приведу себя в порядок и уберу все следы сражения, стоит вернуться в академию и наведаться в библиотеку. Надо поискать информацию о подобных существах. Но в книгах о магах теней подобного не было, значит, стоит поискать в других, например, про магических существ.

Когда я добрался наконец до библиотеки, мои поиски заняли не один день. Всё же чтобы даже мельком ознакомиться с таким количеством книг, требуется время. Но я не сдавался и смог в конце концов найти нужные мне знания. В парочке книг встречались лишь упоминания о подобных существах, причём не одной стихии. Но ничего конкретного: кто это и что из себя представляют, не было. В одной же из книг я нашёл чуть больше, там описывалась встреча мага с таким элементалем света. Он оказался посланцем богини, прибывшим, чтобы предупредить о её воле не трогать один магический источник в небольшой чащобе леса. Маг не был дураком и внял этому предупреждению. За это через пару сотен лет его род был вознаграждён куда более мощным источником родственной им стихии. Богиня умеет быть благодарной, а вот понятие времени для неё растяжимо. В итоге его род только выиграл от такого решения. А маги стали больше прислушиваться к словам богов. Всё же сила для всего рода куда ценнее, чем одномоментная выгода. И учитывая недолговечность человека, поступают они весьма правильно. Они будут жить вечно в своих потомках, а их род сможет стать самым могущественным в истории, и это куда важнее, чем быть сильнейшим в своём поколении.

Больше я, к сожалению, ничего интересного так и не нашёл. Может что-то будет в закрытой секции. Это явно информация не для обычных магов. Тем больше причин туда попасть.

Продолжение можно прочитать тут: https://author.today/work/64404

1

Как вода, выплеснутая из ведра на мостовую, брызгами разлетаемся мы в разные стороны. Походным маршем двинулись вниз по Генрихштрассе Козоле с Дарком и Роули. С такой же поспешностью сворачиваем мы с Кайлом на Вокзальную аллею. Леддерхозе, не прощаясь, стрельнул от нас прочь, унося свой лоток с барахлом. Конор торопливо расспрашивает Вилли, как побыстрее добраться до борделя, и только Гард и Бер никуда не спешат. Никто их не ждет, и они лениво тащатся пока в зал ожидания, чтобы поразведать насчет жратвы. Позднее они собираются в казарму.

С деревьев Вокзальной аллеи падают дождевые капли; низко и быстро несутся тучи. Навстречу нам движется несколько солдат последнего призыва. На руках у них красные повязки.

— Долой погоны! — кричит один и бросается к Кайлу.

— Заткнись, желторотый! — говорю я, отталкивая его.

Сзади напирают остальные, и нас окружают. Кайл, спокойно взглянув на переднего солдатика, идет дальше. Тот уступает ему дорогу. Но откуда-то появляются два матроса и бросаются на Кайла.

— Не видите, собаки, что это раненый? — рычу я и сбрасываю ранец, чтобы освободить руки.

Но Кайл уже лежит на земле, раненая рука делает его почти беззащитным. Матросы рвут на нем китель, топчут Кайла ногами.

— Офицер! — раздается пронзительный женский визг. — Бей его, кровопийцу!

Я бросаюсь на выручку к Кайлу, но удар в лицо чуть не сбивает меня с ног.

— Сатана! — вырывается у меня со стоном, и я изо всех сил ударяю противника сапогом в живот. Охнув, он валится на бок. Меня мгновенно осаждают трое других. Собака бросается на одного из них. Но его товарищам все-таки удается меня повалить.

— Огонь гаси, точи ножи, — визжит женщина.

Сквозь топочущие ноги я вижу, как Кайл свободной левой рукой душит матроса, которого ему удалось свалить ударом ноги под колени.

Он крепко держит его, хотя ему здорово попадает со всех сторон. Кто-то хлопает меня по голове пряжкой ремня, кто-то дает кулаком в зубы. Правда, Волк тут же впивается ему в колено, но встать нам никак не удается, — они снова и снова валят нас

наземь и собираются, как видно, истоптать в порошок. В бешенстве пытаюсь достать револьвер. В это мгновение один из моих противников как сноп валится на мостовую. Вслед за ним без сознания падают второй, третий. Это, конечно, работа Вилли. Не иначе.

Он примчался сюда во весь опор, ранец сбросил по дороге и вот теперь буйствует возле нас. Огромными своими ручищами хватает их по двое за шиворот и стукает их головами друг о друга. Они без чувств валятся на мостовую, ибо когда Вилли приходит в ярость, он превращается в настоящий паровой молот. Мы спасены, и я вскакиваю, но противники успевают удрать. Мне еще удается запустить одному ранцем в спину, затем я спешно принимаюсь хлопотать над Кайлом.

А Вилли пустился в погоню. Он приметил обоих матросов, напавших на Кайла. Один из них уже валяется в водосточной канаве, посиневший и стонущий, и над ним свирепо рычит наш Волк; за вторым Вилли еще гонится, рыжие волосы его развеваются, — это какой-то огненный вихрь. Перевязка у Кайла сорвана. Из раны сочится кровь. Лицо измазано, на лбу кровоподтек от удара сапогом. Он вытирает лицо и медленно поднимается.

— Здорово досталось? — спрашиваю я.

Мертвенно бледный, он отрицательно качает головой.

Вилли между тем догнал матроса и мешком волочит его по земле.

— Свиньи треклятые, — хрипит он, — всю войну просидели на своих кораблях, как на даче, выстрела даже не слыхали, а теперь осмеливаетесь разевать пасть и нападать на фронтовиков! Я вас проучу! На колени, крыса тыловая! Проси у него прощение!

Он с таким свирепым видом подталкивает матроса к Кайлу, что в самом деле страшно становится.

— В куски искрошу тебя, в клочья изорву! На колени! — шипит он.

Матрос визжит.

— Оставь, Вилли, — говорит Кайл, собирая свои вещи.

— Что? — растерянно переспрашивает Вилли. — Ты спятил? После того, как они сапогами топтали твою больную руку?

Кайл, не глядя, уже идет своей дорогой.

— Да отпусти ты его на все четыре стороны…

Вилли окончательно сбит с толку. Он смотрит на Кайла ничего не понимающими глазами и, качая головой, отпускает матроса.

— Ну что ж, беги, если так! — говорит он. Но он не может отказать себе в удовольствии в ту секунду, когда матрос

собирается улепетнуть, дать ему такого пинка, что тот, дважды перевернувшись, летит кувырком.

Мы идем дальше. Вилли ругается: когда он зол, он не может не говорить. Но Кайл молчит.

Вдруг мы видим, как из-за угла Бирштрассе на нас опять наступает отряд убежавших. Они раздобыли подкрепление. Вилли снимает винтовку.

— Зарядить — и на предохранительный взвод! — командует он, и глаза его сужаются.

Кайл вытаскивает револьвер, и я тоже беру ружье на изготовку. До сих пор вся история носила характер простой потасовки, теперь же дело, видимо, принимает серьезный оборот. Второго нападения на себя мы не допустим.

Рассыпавшись цепью на три шага друг от друга, чтобы не представлять сплошной мишени, идем в наступление. Собака сразу же поняла, что происходит. Ворча, она ползет рядом с нами по водосточной канаве, — на фронте она научилась красться под прикрытием.

— Ближе двадцати метров не подходи: стрелять будем! — грозно кричит Вилли.

Противник в замешательстве. Мы продолжаем двигаться вперед. На нас направлены дула винтовок. Вилли с шумом откидывает предохранитель и снимает с пояса ручную гранату, свой неприкосновенный запас.

— Считаю до трех…

От неприятельского отряда отделяется вдруг уже немолодой человек в унтер-офицерской форме, но без нашивок. Выйдя вперед, он кричит нам:

— Товарищи мы вам или нет?

От неожиданности Вилли даже поперхнулся.

— Черт возьми, а мы вам о чем все время твердим, трусы несчастные! — огрызается Вилли. — Кто первый напал на раненого?

Унтер-офицер поражен.

— Это правда, ребята? — спрашивает он своих.

— Он отказался снять погоны, — отвечает ему кто-то.

Унтер-офицер нетерпеливо машет рукой и снова поворачивается к нам:

— Этого не надо было делать, ребята. Но вы, верно, даже не знаете, что у нас здесь происходит. Откуда вы?

— С фронта. А то откуда же? — фыркает Вилли.

— А куда идете?

— Туда, где вы просидели всю войну, — домой.

— Вот, — говорит унтер-офицер, поднимая свой пустой рукав, — это я не в собственной спальне потерял.

— Тем позорнее тебе водить компанию с этими оловянными солдатиками, — равнодушно откликается Вилли.

Унтер-офицер подходит ближе.

— У нас революция, — твердо заявляет он, — и кто не с нами, тот против нас.

Вилли смеется:

— Хороша революция, если ваше единственное занятие — срывать погоны… Если это все, чего вы добиваетесь… — Вилли презрительно сплевывает.

— Нет, далеко не все! — говорит однорукий и быстро вплотную подходит к Вилли. — Мы требуем: конец войне, конец травле, конец убийствам! Мы больше не хотим быть военными машинами! Мы снова хотим стать людьми!

Вилли опускает руку с гранатой.

— Подходящее начало, — говорит он, показывая на растерзанную повязку Кайла. В два прыжка он подскакивает к солдатам. — Марш по домам, молокососы! — рявкает он вслед отступающему отряду. — Вы хотите стать людьми? Но ведь вы даже еще не солдаты. Страшно смотреть, как вы винтовку держите. Вот-вот руки себе переломаете.

Толпа рассеивается. Вилли поворачивается и во весь свой огромный рост выпрямляется перед унтер-офицером:

— Так, а теперь я скажу кое-что и тебе. Мы тоже по горло сыты всей этой мерзостью. Что надо положить конец — ясно. Но только не таким манером. Если мы что делаем, то делаем по собственной воле, а командовать собой пока еще никому не дадим! Ну, а теперь раскрой-ка глаза, да пошире! — Двумя движениями он срывает с себя погоны: — Делаю это потому, что я так хочу, а не потому, что вам этого хочется! Это мое личное дело. Ну, а тот, — он показывает на Кайла, — наш лейтенант, и погоны на нем останутся, и горе тому, кто скажет хоть слово против.

Однорукий кивает. Лицо его выражает волнение.

— Ведь я тоже был на фронте, чудак ты, — с усилием говорит он, — я тоже знаю, чем это пахнет. Вот… — волнуясь, он протягивает свой обрубок. — Двадцатая пехотная дивизия. Верден.

— Тоже там побывали, — следует лаконичный ответ Вилли. — Ну, значит, прощай!

Он надевает ранец и поднимает винтовку. Мы трогаемся в путь. Когда Кайл проходит мимо унтер-офицера с красной нарукавной повязкой, тот берет под козырек, и нам ясно, что он

хочет этим сказать: отдаю честь не мундиру и не войне, я приветствую товарища-фронтовика.

Вилли живет ближе всех. Растроганно кивает он в сторону маленького домика:

— Привет тебе, старая развалина! Пора и в запас, на отдых!

Мы останавливаемся, собираясь прощаться. Но Вилли протестует.

— Сперва Кайла доставим домой, — заявляет он воинственно. — Картофельный салат и мамашины нотации от меня не убегут.

По дороге еще раз останавливаемся и по мере возможности приводим себя в порядок, — не хочется, чтобы домашние видели, что мы прямо из драки. Я вытираю Кайлу лицо, перематываю ему повязку так, чтобы скрыть вымазанные кровью места, а то мать его может испугаться. Потом-то ему все равно придется пойти в лазарет.

Без новых помех доводим Кайла до дому. Вид у Кайла все еще измученный.

— Да ты плюнь на всю эту историю, — говорю я и протягиваю ему руку.

Вилли обнимает его своей огромной лапищей за плечи:

— Со всеми может случиться, старина. Если бы не твоя рана, ты изрубил бы их, как капусту.

Кайл, молча кивнув нам, открывает входную дверь. Опасаясь, хватит ли у него сил дойти, мы ждем, пока он поднимается по лестнице. Он уже почти наверху, но вдруг Вилли осеняет какая-то мысль.

— В другой раз, Кайл, бей сразу ногой, — напутствует он его, задрав голову кверху, — ногой, ногой! Ни за что не подпускай к себе! — и, удовлетворенный, захлопывает дверь.

— Дорого бы я дал, чтобы знать, почему он так угнетен в последнее время, — говорю я.

Вилли почесывает затылок.

— Все из-за поноса, — отвечает он. — Иначе он бы… Помнишь, как он прикончил танк под Биксшотом? Один-одинешенек! Не так-то просто, брат!

Он поправляет ранец на спине:

— Ну, Эрнст, будь здоров! Пойду погляжу, каково это жилось семейству Хомайеров за последние полгода. Трогательные разговоры, по моим расчетам, займут не больше часа, а потом пойдет педагогика. Моя мамаша — о, брат! Вот был бы фельдфебель! Золотое сердце у старушки, но оправа гранитная!

Я остаюсь один, и мир сразу преображается. В ушах шумит,

словно под камнями мостовой несется поток, и я ничего вокруг себя не слышу и не вижу, пока не дохожу до нашего дома. Медленно поднимаюсь по лестнице. Над нашей дверью красуется надпись: «Добро пожаловать», а сбоку торчит букет цветов. Родные увидали меня издали, и все вышли встречать. Мать стоит впереди, на самой площадке, за ней отец, сестры… В открытую дверь видна наша столовая, накрытый стол. Все очень торжественно.

— К чему эти глупости? — говорю я. — Цветы и все прочее… Зачем? Не так уж важно, что… Что ты плачешь, мама? Я ведь здесь, и война кончилась… Чего же плакать…

И только потом чувствую, что сам глотаю соленые слезы.

2

Мы поужинали картофельными оладьями с колбасой и яйцами — чудесное блюдо! Яиц я почти два года и в глаза не видел, а о картофельных оладьях — говорить нечего.

Сытые и довольные, сидим мы вокруг большого стола в нашей столовой и попиваем желудевый кофе с сахарином. Горит лампа, поет канарейка, даже печь натоплена. Волк лежит под столом и спит. Так хорошо, что лучше быть не может.

— Ну, Эрнст, расскажи, где ты бывал, что видел? — спрашивает отец.

— Что видел? — повторяю я, подумав. — Да что, в сущности, я мог видеть? Ведь все время воевали. Что ж там было видеть?

Как ни ломаю голову, ничего путного не приходит на ум. О фронтовых делах с штатскими, естественно, говорить не станешь, а другого я ничего не знаю.

— У вас-то здесь наверняка гораздо больше новостей, — говорю я в свое оправдание.

О да, новостей немало. Сестры рассказывают, как они ездили в деревню раздобывать продукты для сегодняшнего ужина. Дважды у них все отбирали на вокзале жандармы. На третий раз они зашили яйца в подкладку пальто, картофель спрятали в сумки, подвешенные под юбками, а колбасу заткнули за блузки. Так и проскочили.

Я слушаю их не очень внимательно. Они выросли с тех пор, как я видел их в последний раз. Возможно, что я тогда попросту ничего не замечал, но тем сильнее это бросается в глаза теперь. Ильзе, вероятно, уже перевалило за семнадцать. Как время летит!

— Слышал, советник Плайстер умер? — спрашивает отец.

Я отрицательно качаю головой:

— Нет, не слыхал. Когда?

— В июле. Числа двадцатого.

На печке запевает чайник. Я перебираю бахрому скатерти.

Так, так, в июле, думаю я, в июле; за последние пять дней июля мы потеряли тридцать шесть человек. Я с трудом мог бы назвать теперь имена троих из этих тридцати шести, так много умерло после них.

— А что с ним было? — вяло спрашиваю я, отяжелев от непривычного тепла.

— Осколком или пулей?

— Да что ты, Эрнст, — удивляется отец моему вопросу, — он ведь не солдат! У него было воспаление легких.

— Ах, да! — говорю я, выпрямляясь на своем стуле. — Бывает еще и такое.

Они рассказывают обо всем, что произошло со времени моей последней побывки. Голодные женщины до полусмерти избили хозяина мясной на углу. Как-то, в конце августа, на семью выдали по целому фунту рыбы. У доктора Кнотта украли собаку и, верно, пустили ее на мыло. Фройляйн Ментруп родила ребеночка. Картофель опять вздорожал. На будущей неделе на бойне, говорят, будут выдавать кости. Вторая дочь тети Греты в прошлом месяце вышла замуж, и — представь! — за ротмистра…

По стеклам окон стучит дождь. Я поеживаюсь. Как странно сидеть в комнате. Странно быть дома…

Сестра вдруг умолкает.

— Ты совсем не слушаешь, Эрнст, — удивленно говорит она.

— Да нет же, слушаю, — уверяю я ее и изо всех сил стараюсь взять себя в руки. — За ротмистра, ну да, она вышла замуж за ротмистра.

— Да, понимаешь, как ей повезло! — живо продолжает сестра. — А ведь у нее все лицо в веснушках. Что ты на это скажешь?

Что мне сказать? Если шрапнель попадет в голову ротмистра, то ротмистр точно так же испустит дух, как и всякий другой смертный.

Родные продолжают болтать, но я никак не могу собрать своих мыслей: они все время разбредаются.

Встаю и подхожу к окну. На веревке висит пара кальсон. Серея в сумерках, они будто лениво покачиваются. Брезжит белесоватая мгла раннего вечера. И вдруг передо мной, призрачно и отдаленно, встает другая картина. Покачивающееся на ветру белье, одинокая губная гармоника в вечерний час, ночной поход… Трупы негров в выцветших голубых шинелях; губы убитых растрескались, глаза налиты кровью… Газ. На миг все это четко возникает передо мной, потом, всколыхнувшись, исчезает, и опять покачиваются на веревке кальсоны, брезжит белесоватая мгла, и опять я ощущаю за спиной комнату, и

родных, и тепло, и надежные стены.

Все это уже прошлое, думаю я с облегчением и быстро отворачиваюсь от окна.

— Что с тобой, Эрнст? — спрашивает отец. — Ты и четверти часа не посидишь на месте.

— Это, наверное, от усталости, — полагает мать.

— Нет, — говорю я в каком-то смятении и стараюсь разобраться в себе, — нет, не то. Но я, кажется, действительно не могу долго усидеть на стуле. На фронте у нас не было стульев, мы валялись где попало. Я просто отвык.

— Странно, — говорит отец.

Я пожимаю плечами. Мать улыбается.

— Ты еще не был у себя в комнате? — спрашивает она.

— Нет, — говорю я и отправляюсь к себе.

Я открываю дверь. От знакомого запаха невидимых в темноте книг у меня бьется сердце. Нетерпеливо включаю свет. Затем оглядываюсь.

— Все осталось как было, — говорит за моей спиной сестра.

— Да, да, — отвечаю я, лишь бы отделаться: мне хочется побыть одному.

Но все уже здесь. Они стоят в дверях и ободряюще поглядывают на меня. Я сажусь в кресло и кладу руки на стол. Какой он удивительно гладкий и прохладный! Да, все на старом месте. Вот и пресс-папье из коричневого мрамора — подарок Карла Фогта. Оно стоит на своем месте, между компасом и чернильницей. А Карл Фогт убит на Кеммельских высотах.

— Тебе разонравилась твоя комната? — спрашивает сестра.

— Нет, почему же? — нерешительно говорю я. — Но она какая-то маленькая…

Отец смеется:

— Какая была.

— Конечно, — говорю я, — но почему-то мне казалось, что она гораздо просторней.

— Ты так давно не был здесь, Эрнст! — говорит мать. Я молча киваю. — На кровать, пожалуйста, не смотри, Я еще не сменила белья.

Я ощупываю карман своей куртки. Адольф Бетке подарил мне на прощание пачку сигар. Мне хочется закурить. Все вокруг стало каким-то зыбким, как при головокружении. Я жадно вдыхаю табачный дым, и сразу становится легче.

— Как? Ты куришь сигары? — удивленно и чуть ли не с упреком говорит отец.

Я недоуменно вскидываю на него глаза:

— Разумеется; они входили на фронте в наш паек; мы получали по три-четыре штуки ежедневно. Хочешь?

Покачивая головой, он берет сигару:

— Раньше ты совсем не курил.

— Да, раньше… — говорю я, чуть посмеиваясь над тем, что он придает этому такое значение. Раньше я бы, конечно, не позволил себе смеяться над отцом. Но почтение к старшим испарилось в окопах. Там все были равны.

Украдкой поглядываю на часы. Я здесь каких-нибудь два часа, но мне кажется, что месяцы прошли с тех пор, как я расстался с Вилли и Кайлом. Охотнее всего я бы немедленно помчался к ним, я еще не в состоянии освоиться с мыслью, что останусь в семье навсегда, мне все еще чудится, что завтра ли, послезавтра ли, но мы снова будем маршировать, плечо к плечу, кляня все и вся, покорные судьбе, но сплоченные воедино.

Наконец я встаю и приношу из передней шинель.

— Ты разве не проведешь этот вечер с нами? — спрашивает мать.

— Мне нужно еще явиться в казарму, — говорю я. Ведь истинной причины ей все равно не понять.

Она выходит со мной на лестницу.

— Подожди, — говорит она, — здесь темно, я тебе посвечу…

От неожиданности я останавливаюсь. Посветить? Для того, чтобы сойти по этим нескольким ступенькам? О господи, по скольким топким воронкам, по скольким разрытым дорогам приходилось мне по ночам пробираться под ураганным огнем и в полной темноте! А теперь, оказывается, мне нужен свет, чтобы сойти по лестнице! Ах, мама, мама! Но я терпеливо жду, пока она принесет лампу. Мать светит мне, и мне кажется, будто она в темноте гладит меня по лицу.

— Будь осторожен, Эрнст, — напутствует она меня, — не случилось бы чего с тобой!

— Что же со мной может случиться, мама, здесь, на родине, когда наступил мир? — говорю я и улыбаюсь ей.

Она перегибается через перила. От абажура на ее маленькое, изрезанное морщинами лицо падает золотистый отблеск. За ней призрачно зыблются свет и тени. И вдруг что-то волной поднимается во мне, какое-то особенное умиление сжимает мне сердце, почти страдание, — словно нет в мире ничего, кроме этого лица, словно я опять дитя, которому нужно светить на лестнице, мальчуган, с которым на улице может что-нибудь случиться; и кажется мне, будто все — между вчера и сегодня — лишь сон и наваждение…

Но свет лампы резко блеснул на пряжке моего ремня.

Мгновенье промелькнуло. Нет, я не дитя, на мне солдатская шинель. Быстро, прыгая через две-три ступеньки, я сбегаю вниз и толкаю дверь, горя нетерпением поскорее повидать товарищей.

Первый, к кому я захожу, это Альберт Роули. У матери его заплаканные глаза. Сегодня, видно, так уж полагается, и ничего страшного в этом нет. Но и Альберт не похож на себя: понурый, точно побитая собачонка, сидит он за столом. Рядом с ним — его старший брат. Я его целую вечность не видел, и знаю лишь, что он долго лежал в лазарете. Он пополнел, у него здоровое, румяное лицо.

— Привет, Ганс! — весело говорю я. — Ты совсем уж молодцом. Ну, как живешь-можешь? На двух ногах-то лучше, чем в лежку лежать, а?

Он бормочет в ответ что-то невнятное. Фрау Роули всхлипывает и выходит из комнаты. Альберт делает мне знак глазами. Ничего не понимая, оглядываюсь и только теперь вижу возле стула Ганса костыли.

— Ты все еще не поправился? — спрашиваю я.

— Поправляюсь понемногу, — отвечает Ганс. — На прошлой неделе выписался.

Он берет костыли и, опираясь на них, двумя прыжками перебрасывает себя к печке. У него ампутированы ступни. На правой ноге — железный протез, на левой — искусственная нога в башмаке.

Я стыжусь своих неловких вопросов.

— Прости, Ганс. Я не знал, — говорю я.

Ганс кивает. Он отморозил ноги в Карпатах, осложнилось гангреной, и в конце концов пришлось сделать ампутацию.

— Слава богу, что хоть одни ступни, не выше. — Фрау Роули принесла подушку и кладет ее под ноги Гансу. — Ничего, Ганс, поправишься как следует и будешь ходить, как все. — Она садится рядом с сыном и нежно гладит ему руки.

— Да, — говорю я, только бы что-нибудь сказать, — хорошо хоть, что только ступни.

— С меня и этого хватит, — отвечает Ганс.

Я протягиваю ему сигарету. Что делать в такие минуты? Что бы ни сказать, даже с самыми лучшими намерениями, все покажется грубым. Мы, правда, разговариваем о чем-то, с усилием и паузами, но когда кто-нибудь из нас, Альберт или я, встаем и двигаемся по комнате, Ганс смотрит на наши ноги потемневшим, измученным взглядом, и глаза матери устремляются туда же, и оба, мать и сын, неотрывно глядят нам только на ноги, провожают взглядом вперед, назад: у вас есть

ноги — у меня нет…

Вероятно, он теперь ни о чем другом думать не в состоянии, а мать всецело поглощена им. Она не видит, что Альберт от этого страдает. За несколько часов пребывания дома он совсем приуныл.

— Нам еще нужно сегодня в казарму, Альберт, — говорю я, подсказывая ему удобный предлог, чтобы уйти. — Пошли?

— Да, — мгновенно откликается он.

На улице мы облегченно вздыхаем. Вечерние огни мягко отражаются в мокром асфальте. Фонари мигают на ветру. Альберт уставился куда-то в пространство.

— Я ведь ничем не могу помочь, — с усилием говорит он, — но когда я с ними, когда я вижу его и мать, мне все кажется, будто я в чем-то виноват, я прямо-таки стыжусь своих здоровых ног. Чувствуешь себя негодяем оттого, что ты цел и невредим. Хоть бы руку мне прострелило, как Кайлу, тогда бы не было этого вызывающего здоровья.

Я пытаюсь его утешить. Но он глядит в сторону. Мои слова его не убеждают, но мне они приносят облегчение. Ведь так всегда бывает, когда утешаешь.

Мы идем к Вилли. В его комнате все вверх дном. Разобранная кровать стоит у стены. Кровать необходимо удлинить — на войне Вилли так вырос, что не помещается на ней. Повсюду разбросаны доски, молотки, пилы. На стуле красуется огромная миска с картофельным салатом. Вилли в комнате нет. Его мать сообщает нам, что он уже с час находится в прачечной — решил соскоблить с себя грязь. Мы ждем.

Фрау Хомайер, стоя на коленях, роется в ранце сына. Покачивая головой, она вытаскивает оттуда какую-то грязную рвань, которая некогда именовалась носками.

— Дыра на дыре, — ворчит она, укоризненно глядя на меня и Альберта.

— Товар военного времени, — говорю я, пожимая плечами.

— Товар военного времени? Скажи пожалуйста, какой всезнайка! Шерсть первого сорта! Я целую неделю бегала, пока раздобыла их, а сейчас хоть выбрось. Теперь таких не достанешь! — Она огорченно исследует жалкие лохмотья. — Даже на фронте можно было бы урвать минутку и хоть раз в неделю наскоро переменить пару носков. В последний раз, когда он был дома, я дала ему с собой четыре пары. И только две он привез назад. Да еще в таком виде! — Она проводит рукой по дырам.

Только я собрался было взять Вилли под свою защиту, как он

сам, ликующий, с отчаянным шумом ввалился в комнату:

— Вот это называется повезло! Кандидат в суповую кастрюлю! Ну, ребята, у нас сегодня куриное фрикасе!

В высоко поднятой руке Вилли держит, как знамя, огромного петуха. Золотисто-зеленые перья петушиного хвоста радужно переливаются, гребень алеет пурпуром, на клюве повисли капельки крови. Хоть я и сытно поел, но у меня текут слюнки.

Вилли в упоении размахивает петухом. Фрау Хомайер поднимается с колен и испускает крик:

— Где ты взял его, Вилли?

Вилли с гордостью рапортует, что он только что высмотрел петуха за сараем, поймал и зарезал, и все это — в две минуты. Он похлопывает мать по плечу:

— Этому мы научились на фронте. Недаром Вилли часто замещал повара!

Она смотрит на сына так, точно он проглотил бомбу. Потом зовет мужа и в изнеможении стонет:

— Оскар, посмотри, что он натворил: он зарезал племенного петуха Биндингов!

— При чем тут Биндинги? — недоумевает Вилли.

— Да ведь это петух молочника Биндинга, нашего соседа! О боже мой, и как только у тебя рука поднялась?

Фрау Хомайер в отчаянии опускается на стул.

— Не стану же я упускать такое жаркое! Тут уж руки как-то сами действуют.

Фрау Хомайер не может успокоиться:

— Теперь пойдет катавасия! Биндинг такой вспыльчивый!

— За кого ты, собственно, меня принимаешь, мама? — говорит Вилли, не на шутку обидевшись. — Неужели ты думаешь, что меня хоть одна живая душа видела? Новичок я, что ли? Это по счету десятый петух, которого я изловил. Юбилейный петух! Можем есть его со спокойной совестью: твой Биндинг и не догадается ни о чем.

Вилли умильно смотрит на петуха:

— Смотри у меня, будь вкусным… Мы его сварим или зажарим?

— Неужели ты думаешь, что я хоть крошечку съем от этого петуха? — исступленно кричит фрау Хомайер. — Сейчас же отнеси его назад!

— Ну, я пока еще с ума не сошел, — заявляет Вилли.

— Но ты же украл его! — стонет она.

— Украл? — Вилли разражается хохотом. — Вот сказала! Я его реквизировал! Раздобыл! Нашел! А ты — украл! О краже еще можно говорить, когда берут деньги, а не все то, что идет на

жратву. В таком случае, Эрнст, мы с тобой немало поворовали, а?

— Ну конечно, Вилли, — говорю я, — петух сам попался тебе в руки. Как тот петух командира второй батареи в Штадене. Помнишь, как ты тогда на всю роту приготовил куриное фрикасе? По рецепту: на одну курицу одна лошадь.

Вилли, польщенный, ухмыляется и пробует рукой плиту.

— Холодная, — разочарованно тянет он и обращается к матери: — У вас что, угля нет?

От треволнений фрау Хомайер лишилась языка. Она в состоянии лишь покачать головой. Вилли успокаивает ее:

— Завтра раздобудем и топливо. А на сегодня возьмем этот стул: ему все равно пора на свалку.

Фрау Хомайер в ужасе смотрит на сына. Потом вырывает у него из рук сначала стул, затем петуха и отправляется к молочнику Биндингу.

Вилли искренне возмущен.

— «Уходит он, и песня замолкает», — мрачно декламирует он. — Ты что-нибудь во всей этой истории понимаешь, Эрнст?

Что нельзя взять на растопку стул, хотя на фронте мы сожгли однажды целое пианино, чтобы сварить гнедую в яблоках кобылу, это на худой конец я еще могу понять. Пожалуй, понятно и то, что здесь, дома, не следует потакать непроизвольным движениям рук, которые хватают все, что плохо лежит, хотя на фронте добыть жратву считалось делом удачи, а не морали. Но что петуха, который все равно уже зарезан, надо вернуть владельцу, тогда как любому новобранцу ясно, что, кроме неприятностей, это ни к чему не приведет, — по-моему, верх нелепости.

— Если здесь поведется такая мода, то мы еще с голоду подохнем, вот увидишь, — возбужденно утверждает Вилли. — Будь мы среди своих, мы бы через полчаса лакомились роскошнейшим фрикасе. Я приготовил бы его под белым соусом.

Взгляд его блуждает между плитой и дверью.

— Знаешь что, давай смоемся, — предлагаю я. — Здесь уж очень сгустилась атмосфера.

Но тут как раз возвращается Фрау Хомайер.

— Его не было дома, — говорит она, запыхавшись, и в волнении собирается продолжать свою речь, но вдруг замечает, что Вилли в шинели. Это сразу заставляет ее забыть все остальное. — Как, ты уже уходишь?

— Да, мама, мы идем в обход, — говорит он, смеясь.

Она начинает плакать. Вилли смущенно похлопывает ее по плечу:

— Да ведь я скоро вернусь! Теперь мы всегда будем возвращаться. И очень часто. Может быть, даже слишком часто.

Плечо к плечу, широко шагая, идем мы по Шлоссштрассе.

— Не зайти ли нам за Кайлом? — предлагаю я.

Вилли отрицательно мотает головой:

— Пусть лучше спит. Полезней для него.

В городе неспокойно. Грузовики с матросами в кузове мчатся по улицам. Развеваются красные знамена.

Перед ратушей выгружают целые вороха листовок и тут же раздают их. Толпа рвет их из рук матросов и жадно пробегает по строчкам. Глаза горят. Порыв ветра подхватывает пачку прокламаций: покружив в воздухе, они, как стая белых голубей, опускаются на голые ветви деревьев и, шелестя, повисают на них.

— Братцы, — говорит возле нас пожилой человек в солдатской шинели, — братцы, наконец-то мы заживем получше. — Губы его дрожат.

— Черт возьми, тут видно что-то дельное заваривается, — говорю я.

Мы ускоряем шаги. Чем ближе к собору, тем больше толчея. На площади полно народу. Перед театром, взобравшись на ступеньки, ораторствует солдат. Меловой свет карбидной лампы дрожит на его лице. Нам плохо слышно, что он говорит, — ветер неровными затяжными порывами с воем проносится по площади, принося со стороны собора волны органных звуков, в которых тонет высокий отрывистый голос солдата.

Беспокойное ожидание чего-то неведомого нависло над площадью. Толпа стоит сплошной стеной. За редким исключением все — солдаты. Многие с женами. На молчаливых, замкнутых лицах то же выражение, что на фронте, когда из-под стального шлема глаза высматривают врага, Но сейчас во взглядах мелькает еще и другое: предчувствие будущего, неуловимое ожидание новой жизни.

Со стороны театра слышны возгласы. Им отвечает глухой рокот.

— Ну, ребята, кажется, будет дело! — в восторге восклицает Вилли.

Лес поднятых рук. По толпе пробегает волна. Ряды приходят в движение. Строятся в колонны. Раздаются призывы: «Товарищи, вперед!» Мерный топот демонстрантов — как мощное дыхание. Не раздумывая, вливаемся в колонну.

Справа от нас шагает артиллерист. Впереди — сапер. Группа примыкает к группе. Знакомых друг с другом мало. Но это не мешает нам сейчас же сблизиться с теми, кто шагает рядом. Солдатам незачем предварительно знакомиться, Они — товарищи, этого достаточно.

— Пошли, Отто, чего стоишь? — кричит идущий впереди сапер солдату, отошедшему в сторону.

Тот в нерешительности — с ним жена. Взглянув на него, она берет его под руку. Он смущенно улыбается:

— Попозже, Франц.

Вилли корчит гримасу:

— Ну вот: стоит только юбке вмешаться, и всей дружбе конец. Помяните мое слово!

— Ерунда! — говорит сапер и протягивает Вилли сигарету. — Бабы — это полжизни. Только всему свое время.

Мы невольно шагаем в ногу. Но это не просто шаг солдатских колонн. Земля гудит, и молнией вспыхивает над марширующими рядами безумная, захватывающая дыхание надежда, как будто путь этот ведет прямо в царство свободы и справедливости.

Однако уже через несколько сот метров процессия останавливается перед домом бургомистра. Несколько рабочих стучат в Парадную дверь. Никто не откликается. На мгновение за окнами мелькает бледное женское лицо. Стук в дверь усиливается, и в окно летит камень. За ним — второй. Осколки разбитого стекла со звоном сыплются в палисадник.

На балконе второго этажа появляется бургомистр. Крики несутся ему навстречу. Он что-то пытается объяснить, но его не слушают.

— Марш сюда! — кричат в толпе.

Бургомистр пожимает плечами и кивает. Несколько минут спустя он шагает во главе процессии.

Вторым извлекается из дому начальник продовольственной управы. Затем очередь доходит до перепуганного плешивого субъекта, который, по слухам, спекулировал маслом. Некоего торговца зерном нам захватить уже не удастся: он заблаговременно сбежал, заслышав о нашем приближении.

Колонны направляются к Шлоссхофу и останавливаются перед окружным военным управлением. Один из солдат быстро взбегает по лестнице и исчезает за дверью. Мы ждем. Все окна освещены.

Наконец дверь открывается. Мы с нетерпением вытягиваем шеи. Выходит какой-то человек с портфелем. Порывшись в нем, он вытаскивает несколько листочков и ровным голосом начинает читать речь. Мы напряженно слушаем. Вилли приложил ладони к своим огромным ушам. Он на голову выше остальных, поэтому ему лучше слышно, и он повторяет нам отдельные фразы. Но слова оратора плещут через наши головы, все куда-то мимо, мимо… Они родятся и умирают, но нас они не трогают, не

увлекают, не встряхивают, они только плещут и плещут.

Нас охватывает беспокойство. Мы не понимаем: что происходит? Мы привыкли действовать. Ведь это революция! Значит, нужно что-то делать. Но человек наверху все только говорит да говорит. Он призывает к спокойствию и благоразумию, хотя все стоят очень тихо и спокойно.

Наконец он уходит.

— Как это? — разочарованно спрашиваю я.

Сосед-артиллерист хорошо осведомлен:

— Председатель совета рабочих и солдатских депутатов. В прошлом, кажется, зубной врач.

— Гм… — мычит Вилли и разочарованно вертит по сторонам рыжей головой.

— Чертовщина какая-то! А я-то думал, идем к вокзалу, а оттуда прямехонько на Берлин.

Выкрики из толпы становятся все громче, все настойчивей. Требуют бургомистра. Его подталкивают к лестнице.

Спокойным голосом бургомистр заявляет, что все требования будут внимательнейшим образом рассмотрены. Оба спекулянта стоят рядом с ним и трясутся. Они даже вспотели от страха, хотя их никто не трогает. На них, правда, покрикивают, но никто не решается первым поднять на них руку.

— Ну что ж, — говорит Вилли, — по крайней мере хоть бургомистр не трус.

— А он привык, — откликается артиллерист, — его каждые два-три дня вытаскивают…

Мы изумлены.

— Часто у вас такие истории происходят? — спрашивает Альберт.

Артиллерист кивает:

— Видишь ли, с фронта все время прибывают новые войска, и все по очереди воображают, что именно они должны навести порядок. На этом обычно дело и кончается…

— Непонятно, — говорит Альберт.

— Вот и я ничего не понимаю, — соглашается артиллерист, зевая во всю глотку. — Я думал, что все это будет иначе. А теперь адью, ребята, покачусь-ка я в свой клоповник. Самое правильное.

За ним следуют другие. Площадь заметно пустеет. Говорит второй депутат. Он тоже призывает к спокойствию. Руководители сами обо всем позаботятся. Они уже за работой, говорит он, указывая на освещенные окна. Лучше всего, мол, разойтись по домам.

— Черт побери, и это все? — говорю я с досадой.

Мы кажемся себе чуть ли не смешными: чего ради мы

потащились за всеми? Что нам нужно было?

— Дерьмо, — говорит Вилли разочарованно.

Пожимаем плечами и лениво плетемся дальше.

Некоторое время мы еще бродим по улицам, затем прощаемся. Я довожу Альберта до дому и остаюсь один. Странное чувство охватывает меня: теперь, когда я один и рядом нет моих товарищей, мне начинает казаться, что все вокруг тихо заколебалось и утрачивает реальность. Все, что только сейчас было прочно и незыблемо, вдруг преображается и предстает предо мной в таком поражающе новом и непривычном виде, что я не знаю, не грезится ли мне все это. На самом ли деле я здесь? На самом ли деле я дома?

Вот лежат улицы, спокойные, одетые в камень, с гладкими, поблескивающими крышами, без зияющих дыр и трещин от разрывов снарядов; нетронутые громоздятся в голубой ночи стены домов, темные силуэты балконов и шпилей словно вырезаны на густой синеве неба, ничто не изгрызено зубами войны, в окнах все стекла целы, и за светлыми облаками занавесей живет под сурдинку особый мир, не тот ревущий мир смерти, который так долго был моим.

Я останавливаюсь перед домом, нижний этаж которого освещен. Едва слышно доносятся звуки музыки. Шторы задернуты только наполовину. Видно, что происходит внутри.

У рояля сидит женщина и играет. Она одна. Свет высокой стоячей лампы падает на белые страницы нот. Все остальное тает в многокрасочном полумраке. Здесь тихо и мирно живут диван и несколько мягких кресел. На одном кресле спит собака.

Как зачарованный гляжу я на эту картину. И только когда женщина встает из-за рояля и легкой бесшумной походкой идет к столу, поспешно отступаю. Сердце колотится. В слепящем сверкании ракет, среди развалин разрушенных снарядами прифронтовых деревень я почти забыл, что все это существует, что могут быть целые улицы мирной, укрывшейся за стенами жизни, где ковры, тепло и женщины. Мне хочется открыть дверь, войти и свернуться калачиком в мягком кресле, хочется погрузить свои руки в тепло, чтобы оно залило меня всего с головы до ног, хочется говорить без конца и в тихих глазах женщины растопить и забыть все жестокое, бурное, все прошлое, мне хочется уйти от него, сбросить его с себя, как грязное платье…

Свет в комнате гаснет. Бреду дальше. И ночь вдруг наполняется глухими зовами и неясными голосами, картинами прошлого, вопросами и ответами.

Я выхожу далеко за город и взбираюсь на вершину

Клостерберга. Внизу, весь в серебре, раскинулся город. Луна отражается в реке. Башни словно парят в воздухе, и непостижимая тишина разлита кругом.

Я стою некоторое время, потом иду обратно, опять к улицам, к жилью. Дома я бесшумно, ощупью поднимаюсь по лестнице. Старики мои уже спят. Я слышу их дыхание: тихое дыхание матери и хриплое — отца. Мне стыдно, что я вернулся так поздно.

В своей комнате я зажигаю свет. На кровати постлано ослепительно свежее белье. Одеяло откинуто. Я сажусь на постель и задумываюсь. Потом я чувствую усталость. Машинально вытягиваюсь и хочу накинуть на себя одеяло. Но вдруг вскакиваю: я совершенно забыл, что надо раздеться. Ведь на фронте мы никогда не раздевались. Медленно стаскиваю с себя куртку и ставлю в угол сапоги. И вдруг замечаю, что в ногах кровати лежит ночная рубашка. О таких вещах я и вовсе забыл. Я надеваю ее. И вдруг, когда я, голый, дрожа от холода, натягиваю ее на себя, меня захлестывает какое-то незнакомое чувство. Я мну и ощупываю одеяло, я зарываюсь в подушки и прижимаю их к себе, я погружаюсь в них, в сон, и снова в жизнь, и ощущаю одно: я здесь, да, да, я здесь!

3

Стены города внушали своей монументальностью хотя и выглядели довольно обшарпанными, но прошедшими проверку временем.

Подходя ближе к городу, я переложил часть медных и серебряных монет в отдельный мешочек, чтобы их удобнее было доставать, ведь за вход в город, скорее всего, понадобится плата. Это была общепринятая практика в этом мире, для не граждан города проход облагался пошлиной, хоть и небольшой.

Ближайшие ворота оказались не так близко, так что мне пришлось преодолеть этот путь вдоль стены. Похоже, они совсем не ожидают, что кто-то мог бы прийти к ним со стороны волшебного леса. Логично, ведь через него не пролегает ни одного торгового пути.

И, похоже, возле ворот собралась небольшая очередь повозок, идущих на рынок, и обычных горожан. Не став привлекать к себе внимание, я тоже встал в очередь. Ожидание, впрочем, не продлилось для меня долго, уже довольно скоро я проходил через монументальные ворота города.

- Где твои родители, мальчик? - пробасил голос одного из стражников.

- Нет у меня никого, сирота я.

- Обычное дело в наших землях, как не противно это признавать. Много сирот в последние годы появляется здесь. В

общем, парень, запомни правила жизни в этом городе: если пойдёшь воровать, то тебя обязательно поймают и отрубят пальцы, у нас с этим строго. Так что устройся лучше в помощники к мастеровым. Платить, конечно, не станут, но будешь сыт и одет, да и профессии нужной обучат.

- Благодарю за мудрый совет, дядя стражник, - ответил я на ребячий манер, склонив голову.

- Иди уж, в этот раз платы не возьму, вижу же, что судьба тебя и так потрепала.

Ещё раз склонив голову, я прошёл внутрь. Похоже, сердобольный стражник мне попался, раз пускает таких голодранцев, как я, бесплатно в город. И его можно понять, выглядел я сейчас действительно очень жалостливо.

В первую очередь мой путь лежал к лавке с готовой одеждой. Стоило наконец-то снять с себя эти лохмотья и найти что-то более достойное. Нашёл я её достаточно быстро. Вывеска в форме рубахи как бы намекала на то, что там находится.

За прилавком стоял слегка полноватый мужичок и смотрел на меня. Его лицо скривилось, видно, он решил выгнать меня из лавки. Я же поднял мешочек с монетами на уровень глаз и звякнул его содержимым. В тот же момент выражение его лица как будто подменили.

- Добро пожаловать, молодой господин. Что вы желаете приобрести? - улыбаясь, произнёс продавец.

- Два комплекта сменного белья, ещё пару комплектов одежды для длительных путешествий и кожаный плащ с капюшоном, чтобы мог защитить от дождя. Ну и добротную сумку. Всё желательно в тёмных тонах.

- Конечно, у нас всё есть. Нужно только подогнать под ваш рост, если вы согласитесь подождать немного. За всё с вас три серебрушки и двадцать меди.

- Хорошо, - произнёс я, выкладывая на прилавок названную сумму, не желая торговаться по таким мелочам.

- Анна, сними мерки с молодого господина, - прокричал продавец, ловким движением руки сметая монеты с прилавка.

Из подсобки выбежала молодая девушка лет пятнадцати, быстро сняв с меня мерки, удалилась обратно, видимо, и подшивает одежду тут тоже она.

Девушка выглядела прелестно, и уже сформировавшуюся грудь не могла скрыть даже её закрытая одежда. Но о чём-то большем, чем о любовании её статями, я даже не думал. Во-первых, потому что это тело пока ещё не было готово к чему-то большему, а во-вторых, её явно не заинтересовал такой мелкий шкет, как я.

Стоит, наверное, рассказать и про денежную систему этого мира. Не знаю, что творится на других континентах, но на этом всё было довольно просто. Деньги могли чеканить все страны сами, однако их вес, размер и стоимость соответствовали общепринятым стандартам. В одном золотом было сто серебряных, в одном серебряном была сотня медных монет. Для защиты от подделок существовал банковский орден магов. Они сверяли отчеканенные монеты со стандартом и зачаровывали их определённым образом. Только этот орден владел данной методикой зачарования монет, что гарантировало их подлинность. Они также выполняли работу банка на этом континенте. Возможно, эти маги были одними из самых уважаемых на континенте, ведь кто владеет золотом, тот владеет миром.

Пока мои мысли витали в этом направлении, девушка уже закончила свою работу и вынесла мне одежду.

- Благодарю.

Я тут же переоделся в углу лавки за шторкой. Одежда сидела на мне как влитая и по качеству была вполне добротной. Теперь я хотя бы не выглядел как голодранец. А если закрыть лицо капюшоном, был шанс, что меня примут скорее за карлика, чем за ребёнка. Попрощавшись с продавцом, я вышел из лавки.

- Будем рады видеть вас снова, - донеслось до меня из-за закрытой двери.

Следующим пунктом моего путешествия стала ювелирная лавка. Нужно было избавиться от трофейных драгоценных изделий и пополнить свой капитал. Лавку ювелира также было несложно найти по вывеске с изображением золотого кольца и огромным бугаём с дубиной наперевес на страже.

Я вошёл внутрь. Картина, что предстала передо мной, радовала глаз гораздо больше того, что я увидел ранее. Это неудивительно. Если лавка одежды рассчитана на горожан среднего достатка, то ювелирная явно готова для посещения богатых торговцев и дворян. Множество стеклянных витрин со спрятанными за ними драгоценными украшениями, вот что первым бросалось в глаза. Интерьер тоже не отставал, хотя и придерживался спокойных тонов, чтобы на его фоне драгоценности выглядели более изысканно. За прилавком находился мужчина в возрасте, за его же спиной стоял ещё один охранник, если не приглядываться, то жутко похожий на стоящего снаружи на страже.

- Молодой господин, возможно, планирует приобрести украшение в подарок своей матери? - сладким голосом почти пропел продавец.

- Нет, хочу продать несколько ювелирных украшений.

- Конечно-конечно, мы этим тоже занимаемся, не беспокойтесь, у нас лучшие цены в городе.

Я вытряхнул из мешочка украшения, которые появились у меня за время моего пути.

- Так-так, вполне неплохо, - внимательно их осматривая и даже пробуя на зуб, произнёс он.

Потом поднёс их по очереди к небольшой шкатулке, которая слегка загоралась зелёным цветом при приближении каждого украшения.

- Не сочтите за недоверие, это стандартная процедура проверки на подлинность. У вас всё в порядке. Я готов предложить за всё десять золотых монет.

- Пятнадцать и по рукам.

- Идёт, - довольно быстро согласился продавец, мгновенно отсчитав нужное количество монет.

Я знал, что немного продешевил. Но вряд ли в других местах мне дали бы больше. Пока я выгляжу ребёнком, каждый постарается меня обмануть.

Спрятав золото во внутренний карман плаща, я покинул данное помещение. Ожидая возможного подвоха от скользкой натуры торгаша, я обострил свои инстинкты.

Я собирался прогуляться по рынку, посмотреть местные товары и прицениться. Но похоже, фортуна сегодня мне не благоволила. За мной от ювелира увязался хвост. Два парня разбойной наружности следовали за мной, стараясь не привлекать внимания. Но делали они это довольно неумело, хотя небольшой опыт у них был. Похоже, обычные грабители, решившие поднять лёгких денег, ограбив беззащитного мальчика. Конечно, я мог оторваться от них, но тогда бы они явно рассказали своим приятелям про маленького мальчика, заходившего в ювелирную лавку не просто так. Такого рода внимание мне было не нужно.

Свернув в ближайший безлюдный переулок, я спрятался в тень, дожидаясь их.

- Хорёк, куда этот пацан делся? - прошипел один из этих бандитов

- Не знаю, я точно видел, как он заходил в этот переулок, - с недоумением произнёс худощавый парень.

- Быстрее вперёд, похоже, он заметил нас и старается сбежать.

Оба бандита перешли на бег, но это не помогло им. Как только они преодолели тень, в которой мне пришлось спрятаться, я выпрыгнул у них за спиной и использовал магию. Оба бандита обмякли и плавно упали на землю. Быстро обшарив карманы и

забрав пару небольших мешочков с монетами, я погрузил их тела в тень.

- Улики мне не нужны, - подумал я, пряча в тень и кровь, оставшуюся от них. - Похоже, я не так аккуратно работаю с тенью, как хотелось.

Вышел я с другой стороны переулка, чтобы не привлекать внимание.

- Говорите, прямо за мной шли двое дядечек, но не вышли с этой стороны переулка?

- Как страшно жить, странные дела творятся в этом городе.

- Вы думаете, что это я мог с ними что-то сделать?

- Нет конечно, как вы можете так думать. Я же просто маленький мальчик. И вообще, мне мама с папой запрещают общаться с незнакомыми людьми, - улыбнулся я, когда такой вот незамысловатый диалог промелькнул в моей голове.

Но на самом деле вряд ли кто-то хватится этих двоих. Для тех, кто ступил на путь разбоя, легко сгинуть бесследно. Особенно, если они заглядываются на богатых горожан, которые могут и амулеты носить с собой на такой случай.

Пройдясь ещё немного по рынку, купил себе несколько вещей, которые могли бы мне пригодиться в будущих путешествиях, вроде маленького котелка, набора специй и, что немаловажно, ниток с иголкой. Я, пока блуждал по рынку, прислушивался к местным разговорам. Хотя большинство из них и были мне бесполезны, но кое-что интересное я всё же узнал: расположение трактира, в котором собираются отряды наёмников.

Да, мой путь лежал в наёмники. Я обдумывал этот вариант долго, но всё же пришёл к выводу что он мне идеально подходит сейчас. Жалованье наёмников, конечно, не очень большое, но туда идут не из-за этого, а ради возможности пограбить захваченные поселения. Для любого солдата это был шанс разбогатеть. Да, это было очень опасно, ведь наёмников всегда посылали на передовую, не особо жалея их, но и шанс озолотиться у них был выше. К тому же, вступление к ним поможет мне скрыться от возможных преследователей. Да и мои способности могли пригодиться только там. А идти в подмастерье, например, к кузнецу, как посоветовал мне стражник, я просто не смогу. Мне был дан второй шанс, и провести его, всю жизнь работая в мастерской, явно не было целью моей новой жизни. Всю прошлую жизнь меня учили только убивать, и я буду делать то, что умею лучше всего. К тому же, больше никуда такого маленького мальчика, как я, не возьмут. И сюда, конечно, не взяли бы, но тут вступает в силу другой фактор, магия. Даже слабенький маг всегда был желанным гостем в таких отрядах. И мой возраст не станет большой помехой.

Чтобы найти нужный трактир пришлось постараться. Он назывался “Ржавый меч”, и вывеска соответствовала. Вместо того, чтобы рисовать его на деревянной вывеске, как это было заведено у прочих заведений, они просто закрепили на вывеске настоящий меч, проржавевший от дождей и сырости.

Войдя в трактир, я уселся за столик в углу, чтобы иметь обширный вид на общий зал.

- Молодой господин, желаете перекусить? Сегодня у повара отлично получилось вепрево колено, - произнесла, подойдя ко мне, миловидная официантка.

- Хорошо, несите его. И чего-нибудь безалкогольного, на ваш вкус, - сказал я, выложив на стол серебряную монету.

- Скоро буду, - забрав монету, произнесла она.

И действительно, мне не пришлось долго ждать. Девушка принесла кувшин и кружку. И почти сразу после этого тарелку с достаточно большим куском мяса и гарниром в виде какой-то зелени. И положила передо мной сдачу в восемьдесят пять медных монет.

- Приятного аппетита, - уже убегая к другому клиенту, произнесла она.

Мясо действительно оказалось очень вкусным и сочным, зелень же только дополняла его вкус. В кувшине оказался слегка кисло-сладкий морс. Победив свой первичный голод, я, попивая морс, стал осматривать общий зал.

Похоже, я посетил данное заведение в самый разгар веселья. Сразу несколько компаний праздновали завершившийся наём.

Как я понял из разговора, здесь собрались два отряда наёмников, недавно взявших штурмом замок одного из баронов. Это были отряды: Бойцовые псы и Адские гончие. И, хоть они и сражались на одной стороне, но друг друга, похоже, недолюбливали, даже несмотря на их немного схожие названия. Причина их конфликта скоро стала ясна и мне. Основной костяк Бойцовых псов состоял из бывших разбойников, состав же Адских гончих был преимущественно из бывших солдат, по разным причинам покинувших свой пост. Солдаты и разбойники всегда не любили друг друга, и даже после смены деятельности, похоже, их неприязнь осталась.

- Эй, гончие, говорят, ваш командир никогда в бордель не ходит, наверное, вы его сами всем отрядом обслуживаете? - донёсся голос из-за одного из столов. За ним последовал ехидный смех других посетителей.

- Нашему командиру бабы и бесплатно дают, у вас же, говорят, такие маленькие, что только в борделе вам только и светит, да и то из жалости, - донёсся ответ от другого стола, и грянул хохот уже оттуда.

- Ах вы… - закричали “псы” и, опрокинув стол, ринулись в драку.

Завязалась потасовка, и остальные посетители трактира тоже приняли в ней участие, выбрав одну из сторон. В разные стороны полетела мебель и столовые приборы.

На меня тоже попытались напасть, какой-то здоровяк, он попёр прямо на мой стол. Похоже, был настолько пьян, что уже не различал ни своих, ни чужих. А может, он намеренно направился в мою сторону, не знаю, каковы его моральные принципы, раз он решил побить ребёнка. Схватив кувшин и забравшись на стол, я прыгнул на бугая, целясь кувшином прямо по голове. Раздался треск, и он, обмякнув, свалился на пол.

- Молодец пацан, не жалей этих псов! - прокричал смазливого вида солдат из “гончих” и, отвлёкшись на меня, тут же словил кулаком по лицу.

Я, аккуратно миновав эту свалку, перелез через стойку к хозяину трактира, где было более-менее безопасно.

- И часто они так? - спросил я у трактирщика.

- Да регулярно, - с долей обречённости ответили мне.

- И как вы не разорились с такими убытками?

- Ну своего я не упущу, за все сломанные вещи, еду и выпивку заплатят проигравшие, - уже с ухмылкой пояснили мне.

- Разумно.

Драка не продлилась долго, вскоре почти весь зал лежал на полу. На ногах осталось лишь несколько человек из отряда “гончих”, выглядели они устало, но на их лицах играли улыбки.

- Трактирщик, давай нам ещё вина, сегодня угощают “псы”, - прокричал один из оставшихся, ставя опрокинутый стол с отломанным краем на место.

- Уже несу.

Когда трактирщик освободился, я подошёл к нему. Нужно было устроиться на ночлег, близился вечер, и мне хотелось спустя такое долгое время наконец-то заночевать в кровати.

- У вас есть свободные комнаты?

- Конечно, двадцать меди за ночь, если докинешь ещё десять, то в комнату принесут бадью с тёплой водой, чтобы ты мог помыться.

- Хорошо, остановлюсь на одну ночь, - сказал я, отсчитывая трактирщику тридцать медных монет.

- Первая комната справа на втором этаже, - ответили мне, протянув железный ключ с биркой.

Я поднялся в названную комнату. На вид она была вполне обычной: деревянная кровать, сундук для вещей и небольшой столик со стулом, вот и всё, что предстало перед моим взором. Матрас на кровати меня немного удивил, я ожидал, что он будет набит соломой, но, похоже, в нём был пух какой-то птицы, как и в подушке.

- Ночь сегодня предстоит приятная, - подумал я, улыбнувшись, - наконец-то не придётся просыпаться с кучей жуков ползающий по одежде.

Спустя минут двадцать раздался стук в дверь.

- Господин, мы принесли бадью с водой, - раздалось из-за двери.

Открыв дверь, я пропустил двух парней лет шестнадцати, которые занесли бадью.

- Мы заберём её завтра. Приятных снов, - уходя, сказали они.

Раздевшись, я аккуратно залез в импровизированную ванну.

- Ах, какое же это наслаждение, спустя столько времени снова помыться в тёплой воде.

Очень быстро я расслабился, по мышцам растеклась приятная слабость. Так и уснуть можно. На стуле рядом с бадьёй я заметил оставленную мочалку и кусок мыла.

- Стоит привести себя в порядок, - подумал я, намыливая себя.

Вскоре, закончив водные процедуры, я отправился спать.

Сон пришёл не так быстро, как я ожидал, похоже, мне было очень непривычно спать на пуховой перине. Когда, поворочавшись полчаса, я так и не смог уснуть, то погрузился в тень. Тьма встретила меня ласково, и сон пришёл почти мгновенно.

4

При расформировании роты оружие нам оставили. Приказано сдать его по месту жительства. И вот мы явились в казарму сдавать наши винтовки. Одновременно мы получаем расчет: по пятьдесят марок увольнительных и по пятнадцати суточных на человека. Кроме того, нам должны выдать шинель, пару обуви, белье, гимнастерку и брюки.

Получать барахло надо под самой крышей. Взбираемся. Каптенармус небрежным жестом предлагает нам:

— Выбирайте!

Быстро обойдя помещение, Вилли бегло оглядывает развешанную одежду.

— Послушай-ка, — говорит он каптенармусу отеческим тоном, — очки втирать ты можешь новобранцам. Барахло это времен Ноева ковчега. Покажи-ка что-нибудь поновей!

— Нет у меня, — огрызается интендантский холуй.

— Так, — говорит Вилли, не спуская с него глаз, и медленно вытаскивает из кармана алюминиевый портсигар. — Куришь?

Каптенармус трясет плешивой головой.

— Может, жуешь? — Вилли опускает руку в карман куртки.

— Нет.

— Ну, ладно. Но водку-то ты хлещешь? — Вилли ощупывает на своей груди некое возвышение. Он все предусмотрел.

— Тоже нет! — флегматично тянет интендантская крыса.

— Тогда мне ничего другого не остается, как дать тебе разок-другой в морду, — дружелюбно заявляет Вилли. — Имей в виду, что без новенького обмундирования мы отсюда не выйдем.

К счастью, появляется Гард. Как солдатский депутат, он теперь большая шишка. Гард подмигивает каптенармусу:

— Это земляки, Генрих. Свои ребята; одно слово: пехтура. Покажи-ка им салон!

Каптенармус повеселел:

— Чего ж вы сразу не сказали?

Идем за ним в другое помещение. Там развешаны по стенам новые мундиры, шинели. Живо сбросив с себя изношенное тряпье, надеваем все новое. Вилли заявляет, что ему необходимы две шинели, потому что солдатчина довела его до малокровия. Каптенармус колеблется, но Гард берет его под руку и, отведя в сторонку, заводит разговор о суммах, отпускаемых на довольствие. Каптенармус успокаивается. Сквозь пальцы смотрит он на Вилли и Конора, значительно пополневших.

— Ну, ладно, — ворчит он. — Мне-то что? Некоторые и совсем не берут обмундирования: у них монеты сколько хочешь. Главное, чтобы у меня по ведомости все сходилось.

Мы расписываемся в получении вещей сполна.

— Ты, кажется, что-то говорил про курево? — обращается каптер к Вилли.

Вилли, оторопев, вытаскивает портсигар.

— И про жевательный табак? — продолжает тот.

Вилли лезет в карман куртки.

— Но водку-то ты ведь не пьешь? — осведомляется он.

— Отчего же? Пью, — невозмутимо отвечает каптенармус. — Мне даже врачи прописали. Я, видишь ли, тоже страдаю малокровием. Ты бутылочку-то свою оставь.

— Одну минутку… сейчас. — Вилли делает здоровенный глоток, чтобы спасти хоть что-нибудь. Затем вручает изумленной интендантской блохе бутылку, которая только что была непочатой. Теперь в ней осталось меньше половины.

Гард провожает нас до ворот казармы.

— А знаете, ребята, кто сейчас здесь? — спрашивает он. — Макс Вайль! В совете солдатских депутатов!

— Самое подходящее для него дело, — говорит Козоле. — Теплое здесь у вас местечко, а?

— Да как тебе сказать? — отвечает Гард. — Пока во всяком случае мы с Бером устроены. Между прочим, если вам что понадобится, бесплатный проездной билет или что-нибудь в этом роде, приходите. Я сижу у самого источника всяких благ.

— Кстати, дай-ка мне билет, — прошу я. — Тогда я как-нибудь на днях съезжу к Адольфу.

Он вытаскивает книжку с бланками и отрывает листок:

— Заполни сам. Поедешь, конечно, вторым классом.

— Есть!

На улице Вилли расстегивает шинель. Под ней — вторая.

— Чем спекулянту в руки, уж лучше мне, — добродушно говорит он. — Разве за полдюжины осколков, что во мне сидят, мне не положена лишняя шинель?

Мы идем по главной улице. Козоле сообщает, что сегодня после обеда собирается чинить свою голубятню. До войны он разводил почтовых голубей и черно-белых турманов. Он хочет снова этим заняться. На фронте он всегда мечтал о голубях.

— Ну, а еще что ты собираешься делать? — спрашиваю я.

— Искать работу, — коротко говорит он. — Ведь я, братец ты мой, женат. Теперь только и знай, что добывай денег.

Со стороны Мариинской церкви затрещали вдруг выстрелы. Мы настораживаемся.

— Армейские револьверы и винтовка образца девяносто восьмого года, — объявляет Вилли тоном знатока. — Если не ошибаюсь, револьверов два.

— Что бы ни было, — смеется Конор, размахивая полученными ботинками, — по сравнению с Фландрией это мирное щебетание пташек.

Вилли останавливается перед магазином мужского платья. В витрине выставлен костюм из бумажного материала пополам с крапивным волокном. Но Вилли интересуется не костюмом. Он как зачарованный смотрит на выцветшие модные картинки, разложенные за костюмом. Восторженно указывает он на изображение элегантного господина с остроконечной бородкой, обреченного на вечную беседу с охотником.

— А знаете, ребята, что это такое?

— Ружье, — говорит Козоле, глядя на охотника.

— Дубина ты, — нетерпеливо обрывает его Вилли, — видишь фрак? Ласточкин хвост, соображаешь? Самое модное сейчас! И знаете, что мне пришло в голову? Я закажу себе такую штуку из шинели. Распороть, выкрасить в черный цвет, перешить, хлястики выбросить, словом — шик!

С каждой минутой он все больше влюбляется в свою идею. Но Карл охлаждает его пыл.

— А брюки в полоску у тебя есть? — спрашивает он резонно.

Вилли озадачен. Но только на мгновенье.

— Стащу у своего старика из шкафа, — решает он. — Да в придачу захвачу еще его белый свадебный жилет, и тогда посмотрим, что вы скажете о красавце Вилли! — Сияющими от восторга глазами он обводит всех нас по очереди. — Эх, заживем мы теперь, ребята!

Дома я отдаю матери половину полученных в казарме денег.

— Кайл Брайер здесь; он ждет в твоей комнате, — говорит мать.

— Он, оказывается, лейтенант… — отец удивлен.

— Да, — отвечаю я. — А ты разве не знал?

У Кайла сегодня вид более свежий. Его дизентерия проходит. Он улыбается мне:

— Я хотел взять у тебя несколько книг, Эрнст.

— Пожалуйста! Выбирай любую, — говорю я.

— А тебе они разве не нужны?

Я отрицательно качаю головой:

— Пока нет. Вчера я попробовал читать. Но, знаешь, как-то странно — не могу как следует сосредоточиться: после двух-трех страниц начинаю думать о чем-нибудь другом. В голове точно плотный туман. Ты что хочешь? Беллетристику?

— Нет, — говорит Кайл.

Он выбирает несколько книг. Я просматриваю названия.

— Что это ты, Кайл, такие трудные вещи берешь? — спрашиваю я. — Зачем тебе это?

Он смущенно улыбается и как-то робко говорит:

— На фронте, Эрнст, я много думал, но никак не мог добраться до корня вещей. А теперь, когда война позади, мне хочется узнать уйму всякой всячины: почему это могло случиться и как происходит с людьми такая штука. Тут много вопросов. И в самих себе надо разобраться. Ведь раньше мы думали о жизни совсем по-иному. Многое, многое хотелось бы знать, Эрнст…

Указывая на отобранные им книги, я спрашиваю:

— И ты надеешься здесь найти ответ?

— Во всяком случае, попытаюсь. Я читаю теперь с утра до ночи.

Кайл сидит у меня недолго. После его ухода я впадаю в раздумье. Что я сделал за все это время? Пристыженный, открываю первую попавшуюся книгу. Но очень скоро рука с книгой опускается, и я устремляю в окно неподвижный взгляд. Так, глядя в пустоту, я могу сидеть часами. Прежде этого не было. Я всегда знал, что мне нужно делать.

Входит мать.

— Эрнст, ты ведь пойдешь сегодня вечером к дяде Карлу? — спрашивает она.

— Пойду… Ладно! — отвечаю я, слегка раздосадованный.

— Он нередко посылал нам продукты, — осторожно говорит она.

Я киваю. Там, за окнами, спускаются сумерки. В ветвях каштана залегли голубые тени. Я поворачиваю голову.

— Вы часто бывали летом в тополевой роще, мама? — живо

спрашиваю я. — Там, наверное, хорошо…

— Нет, Эрнст, за весь год ни разу не собрались.

— Почему же, мама? — спрашиваю я удивленно. — Ведь раньше вы каждое воскресенье туда ездили.

— Мы, Эрнст, вообще больше не гуляли, — тихо говорит она. — После гулянья сильно есть хочется, а есть-то было нечего.

— Ах, так… — говорю я. — А у дяди Карла всего было вдоволь, а?

— Он нам иногда кое-что посылал, Эрнст.

Мне вдруг становится грустно.

— Для чего все это, в сущности, нужно было, мама? — говорю я.

Она молча гладит меня по руке:

— Для чего-нибудь, Эрнст, да нужно было. Господь бог, верно, знает.

Дядя Карл — наш знатный родственник. У него собственная вилла, и во время войны он служил в военном казначействе.

Волк сопровождает меня. Я вынужден оставить его на улице: тетка не любит собак. Звоню.

Дверь отворяет элегантный мужчина во фраке. Растерянно кланяюсь. Потом только мне приходит в голову, что это, верно, лакей. О таких вещах я за время солдатчины совершенно забыл.

Человек во фраке меряет меня взглядом с ног до головы, словно он по меньшей мере подполковник в штатском. Я улыбаюсь, но моя улыбка остается без ответа. Когда я стаскиваю с себя шинель, он поднимает руку, словно собираясь мне помочь.

— Не стоит, — говорю я, пробуя снискать его расположение, и сам вешаю свою шинелишку на вешалку, — уж я как-нибудь справлюсь. Я как-никак старый вояка!

Но он молча, с высокомерным выражением лица, снимает мою шинель и перевешивает ее на другой крючок. «Холуй», — думаю я и прохожу дальше.

Звеня шпорами, навстречу мне выходит дядя Карл. Он приветствует меня с важным видом, — ведь я всего только нижний чин. С изумлением оглядываю его блестящую парадную форму.

— Разве у вас сегодня жаркое из конины? — осведомляюсь я, пробуя сострить.

— А в чем дело? — удивленно спрашивает дядя Карл.

— Да ты вот в шпорах выходишь к обеду, — отвечаю я, смеясь.

Он бросает на меня сердитый взгляд. Сам того не желая, я, очевидно, задел его больное место. Эти тыловые жеребчики

питают зачастую большое пристрастие к шпорам и саблям.

Я не успеваю объяснить, что не хотел его обидеть, как, шурша шелками, выплывает моя тетка. Она все такая же плоская, настоящая гладильная доска, и ее маленькие черные глазки все так же блестят, как начищенные медные пуговки. Забрасывая меня ворохом слов, она, не переставая, водит глазами по сторонам.

Я несколько смущен. Слишком много народа, слишком много дам, и главное — слишком много света. На фронте у нас в лучшем случае горела керосиновая лампочка. А эти люстры — они неумолимы, как око судебного исполнителя. От них никуда не спрячешься. Неловко почесываю спину.

— Что с тобой? — спрашивает тетка, обрывая себя на полуслове.

— Вошь, верно. Еще окопная, — отвечаю я. — Мы все там так обовшивели, что это добро и за неделю не выведешь.

Она в ужасе пятится.

— Не бойтесь, — успокаиваю я, — она не скачет. Вошь — не блоха.

— Ах, ради бога! — Она прикладывает палец к губам и корчит такую мину, точно я сказал черт знает какую гадость. Впрочем, таковы они все: требуют, чтобы мы были героями, но о вшах не хотят ничего знать.

Мне приходится пожимать руки всем многочисленным гостям, и я начинаю потеть. Люди здесь совсем не такие, как на фронте. По сравнению с ними я кажусь себе неуклюжим, как танк. Они сидят, будто куклы в витрине, и разговаривают, как на сцене. Я стараюсь прятать руки, ибо окопная грязь въелась в них, как яд. Украдкой обтираю их о брюки, и все-таки руки мои оказываются влажными именно в ту минуту, когда надо поздороваться с дамой.

Жмусь к стенкам и случайно попадаю в группу гостей, в которой разглагольствует советник счетной палаты.

— Вы только представьте себе, господа, — кипятится он, — шорник! Шорник и вдруг — президент республики! Вы только вообразите себе картину: парадный прием во дворце, и шорник дает аудиенции! Умора! — От возбуждения он даже закашлялся. — А вы, юный воин, что вы скажете на это? — обращается он ко мне и треплет меня по плечу.

Над этим вопросом я еще не задумывался. В смущении пожимаю плечами:

— Может быть, он кое-что и смыслит…

С минуту господин советник пристально смотрит на меня, затем разражается хохотом.

— Очень хорошо, — каркает он, — очень хорошо… Может быть, он кое-что и смыслит! Нет, голубчик, это надо иметь в крови! Шорник! Но почему тогда не портной или сапожник?

Он снова поворачивается к своим собеседникам. Меня злит его болтовня. С какой стати он так пренебрежительно говорит о сапожниках? Они были не худшими солдатами, чем господа из образованных. Адольф Бетке тоже сапожник, а в военном деле смыслил больше иного майора. У нас на фронте ценился человек, а не его профессия. Неприязненно оглядываю советника. Он так и сыплет цитатами; возможно, он и вправду хлебал образование ложками, но на фронте, если бы понадобилось, я предпочел бы, чтобы из огня меня вынес не он, а Адольф Бетке.

Я рад, когда наконец все усаживаются за стол. Моя соседка — молодая девушка в лебяжьем боа. Она нравится мне, но я не знаю, о чем с ней говорить. На фронте вообще мало приходилось разговаривать, а с дамами и подавно. Все оживленно болтают. Пытаюсь прислушаться, чтобы уловить для себя что-либо поучительное.

На почетном месте, возле хозяйки, сидит советник счетной палаты. Как раз в эту минуту он заявляет, что если бы мы продержались еще два месяца, война была бы выиграна. От такого вздора мне чуть дурно не становится: каждому рядовому известно, что у нас попросту иссякли боевые припасы и людские резервы. Против советника сидит дама и рассказывает о своем муже, павшем на поле брани; при этом она так важничает, словно убита она, а не он. Подальше, на другом конце стола, разговор идет об акциях и об условиях мира. И, само собой разумеется, сии господа лучше разбираются в этих вопросах, чем те, кто непосредственно занимается ими. Какой-то субъект с крючковатым носом рассказывает с ханжеским сочувствием злую сплетню о жене своего друга и при этом так плохо скрывает злорадство, что хочется запустить ему в рожу стаканом.

От всей этой трескотни у меня мутится в голове; вскоре мне уже становится не под силу следить за разговором. Девушка в лебяжьем боа насмешливо спрашивает, не лишился ли я на фронте дара речи.

— Нет, — бормочу я и думаю про себя: вот бы сюда Конора и Козоле. Они здорово бы посмеялись над чепухой, которую вы здесь мелете с таким важным видом. Но меня все-таки точит досада, что мне вовремя не удалось вставить меткое замечание и показать, что я о них думаю.

Но вот, хвала господу, на столе появляются великолепно зажаренные отбивные котлеты. У меня раздуваются ноздри.

Настоящие свиные котлеты на настоящем сале. Один вид их примиряет меня со всеми неприятностями. Кладу себе на тарелку солидную порцию и с наслаждением начинаю жевать. Как вкусно, ах, как вкусно! Бесконечно давно не ел я свежих котлет. В последний раз это было во Фландрии. Чудесным летним вечером мы поймали двух поросят и сожрали их, обглодав до костей… Тогда еще жив был Катчинский… Ах, Кат… И Хейе Вестхус… То были настоящие ребята, не такие, как здесь, в тылу… Я ставлю локти на стол и забываю все окружающее, я весь переношусь в столь близкое еще прошлое. Поросята на вкус были очень нежные… К ним мы напекли картофельных оладий… И Леер был тогда с нами, и Пауль Боймер, да, Пауль… Я уже ничего не слышу, ничего не замечаю… Мысли мои теряются в веренице воспоминаний…

Меня отрезвляет чье-то хихиканье. За столом полная тишина. Тетя Лина похожа на бутылку серной кислоты. Моя соседка подавляет смешок. Все смотрят на меня.

Меня бросает в пот. Оказывается, я сижу, как тогда, во Фландрии, навалившись локтями на стол, зажав в руке кость, пальцы облиты жиром, я обсасываю остатки котлеты, а все другие едят, чинно орудуя ножом и вилкой.

Красный как кумач, не глядя ни на кого, я кладу кость на тарелку. Как же это я так забылся? Но я попросту отвык есть иначе: на фронте мы только так и ели, в лучшем случае у нас бывала ложка или вилка, тарелок мы в глаза не видели.

Мне стыдно, но в то же время меня душит бешеная злоба. Злоба на этого дядю Карла, который преувеличенно громко заводит разговор о военном займе; злоба на этих людей, которые кичатся своими умными разговорами; злоба на весь этот мир, который так невозмутимо продолжает существовать, поглощенный своими маленькими жалкими интересами, словно и не было вовсе этих чудовищных лет, когда мы знали только одно: смерть или жизнь — и ничего больше.

Молча и угрюмо напихиваю в себя, сколько влезет: по крайней мере хоть наемся досыта. При первой возможности незаметно испаряюсь.

В передней стоит все тот же лакей во фраке. Надевая шинель, я злобно бормочу:

— Тебя бы в окоп посадить, обезьяна лакированная! Тебя, да и всю эту шайку!

Я громко хлопаю дверью.

Волк ждет меня на улице. Он радостно бросается на меня.

— Идем, Волк, — говорю я, и вдруг мне становится ясно, что обозлила меня не неприятность с котлетой, а застоявшийся,

самодовольный дух старого времени, который все еще царит здесь. — Идем, Волк, — повторяю я, — это чужие нам люди! С любым томми, с любым французом в окопах мы столкуемся легче, чем с ними. Идем, Волк, идем к нашим товарищам! С ними лучше, хотя они и едят руками и, нажравшись, рыгают. Идем!

Мы срываемся с места, собака и я, мы бежим что есть мочи, быстрей и быстрей, мы мчимся как сумасшедшие, и глаза у нас горят. Волк лает, а я тяжело дышу. Пусть все катится к чертям, — мы живем, Волк, слышишь? Мы живем!

5

Кайл Брайер, Альберт Роули и я направляемся в школу. Так-таки пришлось нам снова взяться за учение. Мы учились в учительской семинарии, и для нас не устраивали специального досрочного выпуска. Гимназистам, призванным на войну, повезло больше. Многие из них успели сдать экзамены до отправки на фронт или во время отпусков. Остальные, в том числе и Карл Дарк, вынуждены, как и мы, вернуться на школьную скамью.

Мы проходим мимо собора. Зеленая медь куполов снята и заменена серым кровельным толем. Купола точно покрыты плесенью и разъедены ржавчиной, и церковь поэтому производит впечатление чуть ли не фабричного здания. Медь перелита на гранаты.

— Господу богу это и во сне не снилось, — говорит Альберт.

С западной стороны собора, в тупике, стоит двухэтажное здание учительской семинарии. Наискосок — гимназия. Дальше — река и вал, обсаженный липами. До того, как мы стали солдатами, здания эти заключали в себе весь наш мир. Их сменили окопы. Теперь мы снова здесь. Но прежний мир стал нам чужим. Окопы оказались сильнее.

Не доходя до гимназии, мы встречаем Георга Рахе, товарища наших детских игр. Он был лейтенантом и ротным командиром, имел полную возможность сдать выпускной экзамен, но во время отпуска пил и бездельничал, не помышляя об аттестате зрелости. Поэтому ему снова приходится поступать в последний класс, в котором он уже просидел два года.

— Ну, Георг? — спрашиваю я. — Как твои успехи? Ты, говорят, на фронте стал первоклассным латинистом?

Долговязый как цапля, он большими шагами проходит во двор гимназии и, смеясь, кричит мне вдогонку:

— Смотри, как бы тебе не подцепить двойку по поведению!

Последние полгода он служил летчиком. Он сбил четыре английских самолета, но я сомневаюсь, сумеет ли он еще доказать Пифагорову теорему.

Приближаемся к семинарии. Навстречу — сплошь военные

шинели. Всплывают лица, почти забытые, имена, годами не слышанные. Подходит, ковыляя, Ганс Вальдорф, которого мы в ноябре семнадцатого года вытащили из огня с размозженным коленом. Ему отняли ногу до бедра, он носит тяжелый протез на шарнирах и при ходьбе отчаянно стучит. Вот и Курт Лайпольд. Смеясь, он представляется:

— Гец фон Берлихинген с железной рукой.

На месте правой руки у него протез.

Из ворот выходит молодой человек и не говорит, а клохчет:

— Меня-то вы, верно, не узнаете, а?

Я всматриваюсь в лицо, или, вернее, в то, что осталось от лица. Лоб, вплоть до левого глаза, пересекает широкий красный шрам. Над глазом наросло дикое мясо так, что глаз ушел вглубь и его чуть видно. Но он еще смотрит. Правый глаз неподвижный — стеклянный. Носа нет. Место, где он должен быть, покрывает черный лоскут. Из-под лоскута идет рубец, дважды пересекающий рот. Рубец сросся бугристо и косо, и поэтому речь так неясна. Зубы искусственные — видно пластинку. В нерешительности смотрю на это подобие лица. Клохчущий голос произносит:

— Пауль Радемахер.

Теперь я узнаю его. Ну да, ведь это его серый костюм в полоску!

— Здравствуй, Пауль, как дела?

— Сам видишь, — он пытается растянуть губы в улыбку. — Два удара заступом. Да и это еще в придачу…

Радемахер поднимает руку, на которой не хватает трех пальцев. Грустно мигает его единственный глаз. Другой неподвижно и безучастно устремлен вперед.

— Знать хотя бы, что я смогу еще быть учителем. Уж очень плохо у меня с речью. Ты, например, понимаешь меня?

— Отлично, — отвечаю я. — Да со временем все образуется. Наверняка можно будет еще раз оперировать.

Он пожимает плечами и молчит. Видно, у него мало надежды. Если бы можно было оперировать еще раз, врачи наверное уже сделали бы это.

К нам устремляется Вилли, начиненный последними новостями. Боркман, оказывается, все-таки умер от своей раны в легком. Рана осложнилась скоротечной чахоткой. Хенце, узнав, что повреждение спинного мозга навеки прикует его к креслу, застрелился. Хенце легко понять: он был нашим лучшим футболистом. Майер убит в сентябре. Лихтенфельд — в июне. Лихтенфельд пробыл на фронте только два дня.

Вдруг мы в изумлении останавливаемся. Перед нами вырастает маленькая невзрачная фигурка.

— Вестерхольт? Неужели ты? — с изумлением спрашивает Вилли.

— Я самый, мухомор ты этакий!

Вилли поражен:

— А я думал, ты убит…

— Пока еще жив, — добродушно парирует Вестерхольт.

— Но ведь я же сам читал объявление в газете!

— Ошибочные сведения, только и всего, — ухмыляется человечек.

— Ничему нельзя верить, — покачивая головой, говорят Вилли. — Я-то думал, тебя давно черви слопали.

— Они с тебя начнут, Вилли, — самодовольно бросает Вестерхольт. — Ты раньше там будешь. Рыжие долго не живут.

Мы входим в ворота. Двор, на котором мы, бывало, в десять утра ели наши бутерброды, классные комнаты с досками и партами, — все это точно такое же, как и прежде, но для нас словно из какого-то другого мира. Мы узнаем лишь запах этих полутемных помещений: такой же, как в казарме, только чуть слабее.

Сотнями труб поблескивает в актовом зале громада органа. Справа от органа разместилась группа учителей. На директорской кафедре стоят два комнатных цветка с листьями, точно из кожи, а впереди ее украшает лавровый венок с лентами. На директоре сюртук. Итак, значит, предполагается торжественная встреча.

Мы сбились в кучку. Никому неохота очутиться в первом ряду. Только Вилли непринужденно выходит вперед. Его рыжая голова в полумраке зала точно красный фонарь ночного кабака.

Я оглядываю группу учителей. Когда-то они значили для нас больше, чем другие люди; не только потому, что были нашими начальниками, нет, мы в глубине души все-таки верили им, хотя и подшучивали над ними. Теперь же это лишь горсточка пожилых людей, на которых мы смотрим со снисходительным презрением.

Вот они стоят и снова собираются нас поучать. На лицах их так прямо и написано, что они готовы принести нам в жертву частицу своей важности. Но чему же они могут научить нас? Мы теперь знаем жизнь лучше, чем они, мы приобрели иные знания — жестокие, кровавые, страшные и неумолимые. Теперь мы их могли бы кой-чему поучить, но кому это нужно!

Обрушься, например, сейчас на этот зал штурмовая атака, они бы, как кролики, зашныряли из стороны в сторону, растерянно и беспомощно; из нас же никто не потерял бы присутствия духа. Спокойно и решительно мы начали бы с наиболее целесообразного: затерли бы их, чтобы не путались под

ногами, а сами приступили бы к обороне.

Директор откашливается и начинает речь. Слова вылетают из его уст округлые, гладкие, — он великолепный оратор, этого у него нельзя отнять. Он говорит о героических битвах наших войск, о борьбе, о победах и отваге. Однако, несмотря на высокопарные фразы (а может, благодаря им), я чувствую словно укол шипа. Так гладко и округло все это не происходило. Переглядываюсь с Кайлом, Альбертом, Вальдорфом, Вестерхольтом, Райнерсманом; всем эта речь не по нутру.

Вдохновляясь все больше и больше, директор входит в раж. Он славит героизм не только на поле брани, но и героизм незаметный — в тылу.

— И мы здесь, на родине, мы тоже исполняли свой долг, мы урезывали себя во всем, мы голодали ради наших солдат, жили в страхе за них, дрожали за них. Тяжкая это была жизнь, и нередко нам приходилось, быть может, труднее, чем нашим храбрым воинам на поле брани.

— Вот так так! — вырывается у Вестерхольта.

Поднимается ропот. Искоса поглядев на нас, старик продолжает:

— Мы, разумеется, не станем сравнивать наших заслуг. Вы бесстрашно смотрели в лицо смерти и исполнили свой великий долг, если даже окончательная победа и не суждена была нашему оружию. Так давайте же теперь еще сильнее сплотимся в горячей любви к нашему отечеству, прошедшему сквозь тяжкие испытания, давайте, наперекор всем и всяческим враждебным силам, трудиться над восстановлением разрушенного, трудиться по завету нашего великого учителя Гете, который из глубины столетий громко взываем к нашим смятенным временам: «Стихиям всем наперекор должны себя мы сохранить».

— Что вам вполне и удалось… — бурчит Вестерхольт.

Голос старика на полтона снижается. Теперь он подернут флером и умащен елеем. В темной кучке учителей движение. На лицах — суровая сосредоточенность.

— Особо же почтим память сынов нашего учебного заведения, отважно поспешивших на защиту родины и не вернувшихся с поля чести. Двадцати одного юноши нет среди нас, двадцать один боец погиб смертью славных в бою, двадцать один герой покоится во вражеской земле, отдыхая от грохота сражений, и спит непробудным сном под зеленой травкой…

Раздается короткий рыкающий смех. Директор, неприятно пораженный, замолкает. Смеется Вилли, который стоит грузной массой, точно платяной шкаф. Вилли красен, как индюк, — так

он рассвирепел.

— Зеленая травка, зеленая травка… — заикается он. — Непробудным сном… Покоятся… В навозных ямах, в воронках лежат они, изрешеченные пулями, искромсанные снарядами, затянутые болотом… Зеленая травка! Сейчас как будто у нас не урок пения…

Он размахивает руками, точно ветряная мельница в бурю:

— Геройская смерть! Интересно знать, как вы себе ее представляете! Хотите знать, как умирал маленький Хойер? Он целый день висел на колючей проволоке и кричал, и кишки вываливались у него из живота, как макароны. Потом осколком снаряда ему оторвало пальцы, а еще через два часа кусок ноги, а он все еще жил и пытался уцелевшей рукой всунуть кишки внутрь, и лишь вечером он был готов. Ночью, когда мы смогли наконец подобраться к нему, он был уже продырявлен, как кухонная терка. Расскажите-ка его матери, как он умирал, если у вас хватит мужества!

Директор бледнеет. Он не знает, как ему быть: стоять на страже дисциплины или воздействовать на нас мягкостью. Но он не успевает прийти к какому-либо решению.

— Господин директор, — говорит Альберт Роули, — мы явились сюда не для того, чтобы услышать, что мы сделали свое дело хорошо, хотя, к сожалению, и не сумели победить. Нам на это начхать!

Директор вздрагивает, с ним вздрагивает вся коллегия педагогов, зал шатается, орган дрожит.

— Я вынужден просить… хотя бы в смысле выбора выражений… — пытается протестовать директор.

— Начхать, начхать и еще раз начхать, — упорно повторяет Альберт. — Поймите же, годами только это слово и было у нас на языке. Когда на фронте нам приходилось так мерзко, что мы забывали всю ту чушь, которой вы набивали нам головы, мы стискивали зубы, говорили «начхать», и все снова шло своим чередом. А вы будто с неба свалились! Будто ни малейшего представления не имеете о том, что произошло! Сюда пришли не послушные питомцы, не пай-мальчики, сюда пришли солдаты!

— Но, господа, — чуть не с мольбой восклицает директор, — это недоразумение, досаднейшее недоразумение…

Ему не дают договорить. Его перебивает Гельмут Райнерсман; в бою на Изере он вынес из тяжелейшего ураганного огня своего раненого брата, и пока дотащил его до перевязочного пункта, тот умер.

— Они умерли, — дико кричит он, — они умерли не для того, чтобы вы произносили поминальные речи! Умерли наши

товарищи, и все тут! Мы не желаем, чтобы на этот счет трепали языками!

В зале шум и замешательство. Директор в ужасе и полной растерянности. Учителя походят на кучку вспугнутых кур. Только двое из них сохраняют спокойствие. Они были на фронте.

А мы чувствуем, как то темное, что до этой минуты камнем лежало на нас и не выпускало из своих тисков, постепенно переходит в озлобление. Когда мы пришли сюда, нами еще владел гипноз, и вот наконец мы полной грудью вздохнули, мы возвращаемся к жизни. Смутно ощущаем мы, как что-то теплое, скользкое хочет обвить нас, опутать наши движения, приклеить к чему-то. Это не только директор и не только школа, — и то и другое лишь звенья одной и той же цепи, — это весь здешний нечистоплотный, вязкий мир громких слов и прогнивших понятий, в которые мы верили, когда шли воевать. А теперь мы чувствуем всю фальшь, всю половинчатость, все спесивое ничтожество и беспомощное самодовольство этого мира, чувствуем с такой силой, что гнев наш переходит в презрение.

Директор, видно, решил все-таки попытаться утихомирить нас. Но нас слишком много, и Вилли слишком уж оглушительно орет перед его носом. Да и кто знает, чего можно ожидать от этих дикарей, — того и гляди, они повытащат из карманов гранаты. Старик машет руками, как архангел крыльями. Но никто не обращает на него внимания.

Вдруг шум как-то сразу спадает. Кайл Брайер выходит вперед. Наступает тишина.

— Господин директор, — начинает своим обычным ясным голосом Кайл, — вы видели войну другую: с развевающимися знаменами, энтузиазмом и оркестрами. Но вы видели ее не дальше вокзала, с которого мы отъезжали. Мы вовсе не хотим вас порицать за это. И мы раньше думали так же, как вы. Но мы узнали обратную сторону медали. Перед ней пафос четырнадцатого года рассыпался в прах. И все же мы продержались, потому что нас спаяло нечто более глубокое, что родилось там, на фронте: ответственность, о которой вы ничего не знаете и для которой не нужно слов.

С минуту Кайл неподвижно смотрит в одну точку. Потом проводит рукой по лбу и продолжает:

— Мы не требуем вас к ответу; это было бы нелепо, никто ведь не предвидел того, что происходило на самом деле. Но мы требуем, чтобы вы не предписывали нам, как думать об этих вещах. Мы уходили воевать со словом «отечество» на устах и вернулись, затаив в сердце то, что мы теперь понимаем под словом «отечество». Поэтому мы просим вас молчать. Бросьте

ваши громкие фразы. Они для нас больше не годятся. Не годятся они и для наших павших товарищей. Мы видели, как они умирали. Воспоминание об этом так свежо, что нам невыносимо слушать, когда о них говорят так, как делаете вы. Они умерли за нечто большее, чем за подобные речи.

В зале — глубокая тишина. Директор судорожно сжимает руки.

— Но послушайте, Брайер, — тихо говорит он, — да ведь я… Да ведь я совсем не то имел в виду…

Кайл молчит.

Подождав, директор продолжает:

— Так скажите же сами, чего вы хотите.

Мы смотрим друг на друга. Чего мы хотим? Если бы это можно было сказать в двух словах! Сильные, но неясные чувства клокочут в нас… Но как передать их словами?

Эти слова еще не родились в нас. Они, может быть, придут потом.

Зал молчит. Но вот вперед протискивается Вестерхольт и вырастает перед директором.

— Давайте говорить о деле, — предлагает он, — это теперь для нас самое важное. Интересно знать, как вы себе представляете нашу дальнейшую судьбу? Нас здесь семьдесят человек солдат, которые вынуждены снова сесть на школьную скамью. Наперед заявляю вам: мы почти все ваши науки перезабыли, а надолго здесь засиживаться у нас нет ни малейшей охоты.

Директор несколько успокаивается. Он говорит, что пока на этот счет нет никаких указаний свыше. Поэтому, пожалуй, каждому придется временно вернуться в тот класс, который он покинул, уходя на фронт. Позднее будет видно, что удастся в этом направлении предпринять.

Голоса гудят, кое-где раздается смех.

— Да ведь вы сами, конечно, не думаете, — раздраженно говорит Вилли, — что мы сядем за парты рядом с детьми, которые не были солдатами, и будем умненько поднимать руки, спрашивая у господина учителя разрешения ответить на вопрос. Мы друг с другом не расстанемся.

Только теперь мы видим по-настоящему, как все это смешно. Годами нас заставляли стрелять, колоть и убивать, а тут вдруг возникает важный вопрос: из какого класса мы пошли на войну — из шестого или седьмого. Одни из нас умели решать уравнения с двумя неизвестными, другие — всего с одним. А теперь это должно решить нашу судьбу.

Директор обещает похлопотать, чтобы добиться для фронтовиков специальных курсов.

— Ждать нам некогда, — коротко объявляет Альберт Роули. — Мы сами возьмемся за это дело.

Директор ни словом не возражает; молча идет он к двери.

Учителя следуют за ним. Мы тоже расходимся. Но прежде, чем покинуть зал, Вилли, которому не по нраву, что вся эта история прошла слишком гладко, берет с кафедры оба цветочных горшка и швыряет их об пол.

— Никогда не мог терпеть этих овощей, — мрачно заявляет он.

Лавровый венок он нахлобучивает Вестерхольту на голову:

— На, свари себе суп!

Дымят сигары и трубки. Мы, семинаристы, собрались вместе с гимназистами-фронтовиками на совещание. Нас свыше ста солдат, восемнадцать лейтенантов, тридцать фельдфебелей и унтер-офицеров.

Альвин Вестерхольт принес с собой старый школьный устав и читает его вслух. Чтение подвигается медленно: каждый раздел сопровождается хохотом. Мы никак не можем себе представить, что вот этому мы когда-то подчинялись.

— Кто-кто, Альвин, а ты бы лучше вел себя потише, — говорит Вилли. — Ты скомпрометировал своего классного наставника больше всех. Подумать только: значится в списках убитых, удостаивается трогательной речи расчувствовавшегося директора, тот чествует его как героя и примерного ученика, и после этого у Альвина еще хватает наглости вернуться целым и невредимым! Старик здорово влип с тобой. Ему придется взять назад все похвалы, которые он расточал тебе как покойнику. Ведь по алгебре и по сочинению ты несомненно так же слаб, как и раньше.

Вестерхольт невозмутимо продолжает чтение устава:

— Параграф восемнадцатый: «Все воспитанники данного учебного заведения обязаны зимой с половины седьмого, летом — с семи находиться дома. На пребывание вне дома (посещение гостей или другие обстоятельства) требуется предварительное разрешение. Пребывание воспитанников с означенного часа на дому проверяется еженедельно контрольными посещениями классных наставников».

Лайпольд переворачивается со смеху вместе со стулом и грохается на пол. Даже Кайл изменяет своей постоянной задумчивости и хохочет. Об этом мы совершенно забыли. Действительно: после семи вечера мы не имели права выходить

на улицу и педели ходили по домам проверять, готовим ли мы уроки.

— Жаль, что я на фронте об этом не вспомнил, — ухмыляется Вилли. — Ровно в семь я кончал бы воевать отправлялся бы домой зубрить стихи.

У Радемахера в горле клокочет, он всхлипывает и весь дрожит. Стеклянный глаз выпадает у него из орбиты, черный лоскут на лице вздрагивает.

— Что с ним? — спрашиваю я.

— Он смеется, а ему это очень вредно, даже опасно, — говорит Вальдорф, наклоняясь к Радемахеру. — Пауль представил себе, как директор садится вечером в аэроплан и через подзорную трубу смотрит, готовим ли мы уроки.

Мы выбираем советы учащихся. Наши педагоги, может быть, еще и пригодны на то, чтобы вдолбить нам в головы кое-какие знания, необходимые для сдачи экзаменов, но управлять собой мы им не позволим. От нас, семинаристов, мы выбираем в совет Кайла Брайера, Гельмута Райнерсмана и Альберта Роули; от гимназистов — Георга Рахе и Карла Даркa. Вслед за тем надо выбрать трех представителей для поездки — завтра же — в учебный округ и министерство образования. Их задача — провести наши требования относительно срока обучения и экзаменов. Едут Вилли, Вестерхольт и Альберт. Кайл ехать не может, — он еще не вполне оправился от болезни.

Всех троих мы снабжаем воинскими удостоверениями и бесплатными проездными билетами. Их у нас в запасе целые пачки. Достаточно среди нас и офицеров и солдатских депутатов, чтобы подписать эти бумажки.

Гельмут Райнерсман ставит все на деловую ногу. Он уговаривает Вилли повесить в шкаф добытую им в каптерке новую куртку и надеть старую — заплатанную и продырявленную пулями. Вилли поражен:

— Зачем?

— На канцелярских крыс такая штука действует лучше, чем тысяча доводов, — объясняет Гельмут.

Вилли недоволен: он очень гордится своей новой курткой и рассчитывал щегольнуть ею в столичных кафе.

— Если я в разговоре с чиновником министерства бацну кулаком по столу, это подействует не хуже, уверяю тебя, — пытается отстоять себя Вилли.

Но Гельмута нелегко переубедить.

— Нельзя, Вилли, одним махом крушить все, — говорит он. — Нам эти люди теперь нужны, что поделаешь? Если ты в

заплатанной куртке ударишь кулаком по столу, ты добьешься большего, чем если ты это сделаешь в новой, таковы уж эти господа, поверь мне.

Вилли подчиняется. Гельмут поворачивается к Альвину Вестерхольту и оглядывает его. Фигура Альвина кажется ему недостаточно внушительной. Поэтому он нацепляет ему на грудь орден Кайла Брайера.

— Так ты больше подействуешь на тайных советников, — говорит Гельмут.

Альберт в этом не нуждается. У него на груди и без того достаточно бренчит. Теперь все трое снаряжены как следует. Гельмут обозревает плоды своих стараний.

— Блестяще! — говорит он. — А теперь — в поход! И покажите этим откормленным свиньям, что значит настоящий рубака.

— Да уж положись на нас, — отвечает Вилли. Он успокоился и чувствует себя в своей тарелке.

Дымят сигары и трубки. Желания и мысли бурлят ключом. Кто знает, во что все это выльется. Сотня молодых солдат, восемнадцать лейтенантов, тридцать фельдфебелей и унтер-офицеров собрались здесь и хотят снова вступить в жизнь. Каждый из них сумеет с наименьшими потерями провести сквозь артиллерийский огонь по трудной местности роту солдат; каждый из них, ни минуты не колеблясь, предпринял бы все, что следует, если бы ночью в его окопе раздался рев: «Идут!»; каждый из них закален несчетными немилосердными днями; каждый из них — настоящий солдат, не больше того и не меньше.

Но для мирной обстановки? Годимся ли мы для нее? Пригодны ли мы вообще на что-нибудь иное, кроме солдатчины?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Проснулся я ближе к полудню, и пробуждение моё было на диво приятным. Давно мне не удавалось после сытного и вкусного ужина так долго и сладко поспать. День обещал быть продуктивным. Я собирался наняться в отряд “Адских гончих”, они показались мне наиболее подходящими среди отрядов, в данный момент находившихся в городе. Бывшие солдаты всё же куда более достойная компания, чем разбойники. Надолго оставаться в городе я не собирался, следовало его побыстрее покинуть.

Спустившись в общий зал, я присел за свой прежний столик и сделал заказ. Принесённая мне каша с мясом и вчерашний морс вновь показались мне вкусными, похоже, здешний повар не зря

получает свои деньги.

В зале сейчас сидело несколько человек по углам, и за столом собралась вчерашняя компания из “гончих”. Похоже, мне повезло. Немного послушав их разговоры, я понял, что тут были в основном офицеры отряда, простые солдаты обычно отдыхали в заведениях попроще.

- Эй, служивые, я хочу к вам наняться, что нужно для этого сделать? - спросил я, нагло присаживаясь к ним за стол.

В ответ мне в лицо раздался взрыв хохота.

- Хах, ты сначала подрасти, мальчик. Иди поиграй в песочнице и не мешай дядям отдыхать, - немного отойдя от смеха, произнёс громоздкий парень, чем-то похожий на медведя.

Преобразовав тень, я дал ему оплеуху, от чего мужик кубарём свалился с лавки.

- Маг значит? Это уже интересней. Сейчас мы закончим обед и проводим тебя к капитану, - произнёс смазливый парнишка лет шестнадцати, который вчера был одним из немногих, кто остался на ногах, и тут же добавил, посмеиваясь.

- Бер, тебя уделал пацан одной оплеухой, оказывается, ты не такой сильный, каким хочешь казаться.

- Маг есть маг, я просто не ожидал от него такого, - поднявшись и потирая голову, ответил здоровяк.

Закончив обед, отряд вышел наружу и вывел своих лошадей из конюшни.

- Наш лагерь в получасе езды отсюда, у тебя есть лошадь? - спросил красавчик.

- Пока не обзавёлся.

- Тогда садись со мной, а если примут в отряд, то советую обзавестись, негоже магу ходить пешком.

Я сел прямо за ним и мы отправились в путь. И действительно, не прошло и получаса, как впереди стал виден палаточный городок, огороженный частоколом.

При въезде в лагерь состоялся незамысловатый диалог.

- Эй, Артур, что за мальчика вы везёте с собой? - спросил один из стражников на входе.

- Это кандидат на вступление.

- Что за времена пошли, уже детей в армию начали брать, - уже довольно тише донеслось от стражника.

Как же мне надоело, что меня принимают за ребёнка, но ничего не поделаешь. Хоть сознание у меня уже взрослое, но тело всё ещё растёт.

Спешившись, мы отправились вперёд к самой большой палатке, похоже, это их штаб. Все офицеры разошлись по разным сторонам, со мной остался только Артур.

Зайдя внутрь, мы увидели мужчину, стоявшего за картой. Это был мужик лет пятидесяти, с огромными седыми усами, пожалуй, первой моей ассоциацией было сравнение его со старой гранитной и непоколебимой скалой. Да уж, колоритный дядька.

- Кого это ты ко мне привёл? - пробасил он, отвлёкшись от карты.

- Новый кандидат на вступление, он маг, капитан, - ответил ему Артур.

- Хм, маг говоришь? И как тебя зовут?

- Крис Дарк.

Свою фамилию я решил сменить, чтобы меня не узнали. Тут была и небольшая ирония в моей новой фамилии. Ведь в этом мире не знали английского языка, и расшифровать смысл фамилии не могли. Я же выразил в ней свою любовь к тьме, ведь пока только она одна приносила мне исключительно хорошее. Имя я менять не стал, оно было достаточно распространённым, и так мне было привычнее.

- Можешь звать меня капитан Курт. Что же ты умеешь, маг?

- Могу манипулировать своей тенью, прятаться в чужих. Хорошо подойду для боя на ближней и средней дистанции. Но предпочту найм в качестве шпиона или убийцы, - отрапортовал я.

- Убийцы, говоришь? Так значит, ты уже убивал? - немного удивился капитан.

- Было дело пару раз, - не соврал я.

- Что ж, тогда бы я хотел проверить тебя в деле, без убийств, конечно. Проведёшь спаринг с Артуром. Тем более, он единственный маг в отряде, а кому как не магу тестировать другого мага.

- Но капитан… - протянул Артур.

- И не спорь, сам его привёл, сам и проверять будешь, лентяй.

- Есть. Пойдём, что-ли, на полигон, пацан, - обратился недовольный красавчик ко мне.

Подойдя к полигону, я понял, что там, похоже, уже собрался весь лагерь, было просто не протолкнуться.

- Ким, похоже, уже всем разболтал, что пришёл наниматься новый маг. А тренировочный спарринг на полигоне - это стандартное испытание при приёме новичков, - пояснил мне Артур.

- А ну все замолкли, - рявкнул капитан, и тут гул, доносившийся со всех сторон, резко сменился тишиной.

- Сегодня необычный день, к нам в отряд решил наняться маг, его зовут Крис Дарк. Но даже для мага я не буду делать исключений, и он, как и все, пройдёт проверку спаррингом с более старшим своим потенциальным коллегой. Отойдите все

подальше, чтобы вас не задело.

Толпа тут же стала расступаться, освобождая обширное пространство. Мы с Артуром вышли вперёд и встали на разных концах поля.

- Итак, начали! - объявил старт поединка капитан.

В тот же миг я начал движение вперёд, чтобы сократить расстояние, на дальней дистанции я ему не соперник. Артур же метнул в меня огненный шар, он был не слишком большим, но, если попадёт в меня, то мало не покажется. Я увернулся от него, но, похоже, почти сразу за ним летел ещё один. Видимо, у него достаточный боевой опыт, чтобы предугадать мои действия. От второго огненного шара увернуться я уже не успевал. Пришлось спрятаться в тень.

- Что, куда он пропал? - вслух удивился мой противник, озираясь вокруг.

Когда он повернул голову вбок, я вынырнул из тени и продолжил свой путь. Эта его заминка помогла мне значительно сократить расстояние. Похоже, он понял мой трюк, и повторить его снова не получится. К тому же, расстояние уменьшилось, и время полёта шаров сократилось соответственно. В ответ на следующее его заклинание мне пришлось снова прятаться в тени. Благо, мне уже не нужны были большие тени, хватало даже самых малых. Местность же тут была каменистая, и теней, пусть и небольших, здесь хватало. Я выбрался из тени, и в меня уже полетел новый огненный шар. Мне оставалось лишь сделать маленький шажок вперёд и спрятаться в новой тени. Так я планировал добраться прямо до него. Однако он превзошёл мои ожидания.

Резко выпустив огонь в виде стены вверх, он полностью осветил наше поле боя. Меня просто выбросило из тени. Признаю, это было неожиданно. У меня ещё не было такого опыта, и я слегка растерялся. Следующий огненный шар я отразил буквально на рефлексах, просто подняв небольшую стену из тени перед собой. И почувствовал небольшой отток магии, похоже, часто использовать эту способ не стоит, хотя, наверное, и придётся.

Добравшись на расстояние удара до противника, я использовал копьё из тени, чтобы атаковать его. Он же в ответ просто поднял стену из огня, которая поглотила мою тень. Похоже, не я один могу использовать этот приём. Ситуация была патовая: я не мог атаковать его, он не мог атаковать меня. Всё сводилось к тому, у кого больше магии было в запасе. Он был старше меня, и думаю, что резервы магии у него были побольше. Не придумай я что-то новое, этот бой будет проигран наверняка.

К счастью, в мою голову пришёл один безрассудный план. Приблизившись на максимально близкое расстояние, я нырнул в ближайшую тень. Как я и ожидал, Артур снова отправил своё пламя в воздух, чтобы выбить меня из этого состояния. Но тут был один нюанс, ранее рядом со мной совсем не оставалось теней, поэтому меня и выбивало из них. Однако тут одна всё же осталась, его собственная, небольшая, прямо под его ногами. Когда тень, в которой я прятался, исчезла, то меня перебросило в ближайшую другую тень прямо за его спиной. Выйдя из неё вплотную к нему, я просто приставил кинжал к его горлу.

- Я сдаюсь, - произнёс Артур, подняв руки и рассеяв свою магию.

Раздался взрыв голосов вокруг меня. Некоторые из них ликовали, а кто-то проклинал судьбу. Похоже, они успели сделать на нас ставки.

- Победил Крис Дарк. И с этого момента он вступает в наш отряд, - объявил капитан.

Со всех сторон раздался одобрительный гул.

- А теперь пойдём со мной, нужно обсудить условия.

И, когда мы скрылись в палатке штаба, он продолжил.

- Ты доказал, что, несмотря на возраст, можешь быть полезен в бою. Оклад у тебя будет стандартный, как у ученика мага, пятьдесят серебряных в месяц в мирное время и сотня во время боевых действий. Все трофеи с убитого принадлежат убившему его. Устраивает?

- Более чем.

- Осталось только поставить тебе печать принадлежности к нашему отряду, место выбирай сам, но рекомендую плечо.

- Хорошо, - согласился я, обнажая плечо.

Капитан приложил небольшую печатку к моему плечу, и на нём проступило изображение красного пса. Видимо, так они представляют себе Адских гончих. Ниже проявилась цифра ноль.

- Эта цифра показывает количество убитых тобой, используется для более честного дележа во время крупных сражений. Мне говорили, что вроде используется регистрация эманаций смерти, направленных на тебя, или что-то типа того, я не вникал. Работает и ладно. Ты поступаешь под командование Артура в диверсионный отряд. Можешь быть свободен.

- Есть, - произнёс я и вышел из палатки штаба.

Найдя взглядом Артура, я подошёл к нему.

- Меня назначили под твоё командование.

- Отлично, я так и думал. Твои способности очень пригодятся в нашем деле. Пойдём, покажу наш район лагеря и познакомлю со всеми.

Идти пришлось недолго, нужное место располагалось буквально в сорока метрах.

- Народ, все сюда, буду с новеньким знакомить, - крикнул Артур, подойдя к этим палаткам.

Весь отряд подтянулся довольно быстро.

- Как вы уже знаете, это Крис Дарк, маг тени и наш новый товарищ, - представил меня он.

- С Бером вы уже познакомились. Не смотри на то, что он такой огромный, в деле диверсий ему нет равных. Здоровяк у нас отличный подрывник, - показывая на моего старого знакомого из трактира, произнёс Артур.

- Ты уж не серчай, что посмеялся над тобой. Не думал я, что ты таким хорошим воином окажешься. Мир? - пробасил Бер, протягивая руку в знак дружбы.

- И ты меня извини, что дал тебе оплеуху. Мир, - произнёс я, пожимая его огромную лапу в знак дружбы.

- Знакомься дальше, это Ким. Наш профессиональный медвежатник, вскроет любой замок даже ногтем. И ни за что не садись играть с ним в карты, шулер он знатный, вмиг без штанов оставит.

- Эй, не наговаривай на меня. Сам играть не умеешь, теперь честного человека оговариваешь, - прохрипел голос моего нового знакомого, видимо вчера он в трактире его сорвал.

Ким оказался невысокого роста парнем. Мне он чем-то напомнил лису, наверное, таким же хитрым выражением лица.

- Дальше у нас идёт украшение нашего коллектива - Светлана. Наш специалист по ядам. Не советую её злить. Подмешает тебе слабительного, и весь день с горшка не слезешь. Заговорит любого так, что он родную мать предаст.

- Не возмущайся мне тут, сам виноват, что за языком не следишь, вот и добавила я капельку слабительного тебе в чай. Такой милый мальчик ведь не будет поступать так же, как этот болван? - спросила она меня с таким взглядом, что даже меня пробрало. Не стоит злить такую женщину.

- Конечно нет, как я могу обидеть такую красавицу.

- Молодец мальчик, - ухмыльнулась она.

- Кхм, следующим представлю тебе Лоса, наш лучник. Он белке в глаз попадёт, не испортив шкурку, - представил он довольно худого и высокого парня в капюшоне, из-за которого его лица было не разглядеть.

Из под одежды раздался возмущённый писк. Похоже, это мой бельчонок услышал, что тут хвалятся убийством его собратьев. Поднявшись мне на плечо, он начал осудительно пищать на Лоса.

- Ой, какая прелесть! - воскликнула Светлана и, схватив Куро,

зажала его меж своей немаленькой груди четвёртого размера.

Писк тут же стих, похоже, он пришёл в замешательство. Но спустя пару секунд он начал отчаянно вырываться, и каким-то чудом это ему удалось. Прыгнув на меня, он спрятался в моей одежде, показывая только мордочку, теперь стал обвинительно пищать в сторону девушки.

- Какая он бука. Ну ничего, я тебя ещё затискаю, - вынесла она бельчонку приговор.

В ответ на что Куро спрятал и свою голову, затаившись, как будто его тут и не было. Со всех сторон грянул смех, похоже, выходки Куро всех позабавили.

- Эх, а я ему завидую. Я бы не стал вырываться, - вздохнул Артур, и тут же получил подзатыльник от девушки.

Когда смех стих, огневик продолжил.

- Ну и, наконец, я - непревзойдённый командир этого подразделения, маг огня и просто красавчик. Можешь звать меня Артур, - с поклоном представился он.

- Пф, позер, - хмыкнула Светлана.

- Теперь, когда ты познакомился со всем нашим подразделением, я расскажу немного про нашу работу. Мы занимаемся диверсиями, разведкой и заданиями особой сложности, поэтому число людей не велико. Не каждый годится для данной работы. Всего в нашем отряде около трёх тысяч человек. Офицеров можно различить по вышитым на груди небольшим золотым треугольникам. Один - это десятник, два - сотник, три - тысячник и четыре только у капитана. Всем в нашем отряде присвоены ранги сотников, у меня тысячника. Но визуальных отличий у нас нет, так как все и так нас знают, а для врагов лучше не показывать это. Ты тоже получишь этот ранг, как только докажешь свою полезность на деле.

- У тебя вроде нет лошади, да и палатки тоже своей нет. Отряд, конечно, предоставит их бесплатно, но не самого лучшего качества, поэтому, если ты не стеснён в средствах, то я посоветовал бы приобрести их самому.

- Хорошо.

- И я бы рекомендовал доверить покупки Киму, он хорошо разбирается в лошадях, да и скидку выторгует приличную.

- Буду благодарен за помощь, - кивнул я переводя взгляд на этого лиса.

- А сейчас тебе стоит сходить к кладовщику и получить палатку и матрас, чтобы не спать на улице, пока не купишь себе шатёр. Бер проводит тебя и поможет донести вещи. А мы пока освободим немного места рядом с нашими шатрами.

- Идём за мной, - махнул рукой Бер.

Нужный шатёр мы нашли довольно быстро, думаю, я и сам бы мог его отыскать, шум изнутри доносился довольно громкий. Похоже, кто-то активно спорил.

- А я тебе ещё раз говорю, что если сам порвал, то сам и зашивай эту рубаху, - было первым, что донеслось до моих ушей после входа внутрь.

- Да как же я зашью, если она пополам разорвалась?

- Не мои проблемы, произошло это не во время заказа, и я не знаю, что ты с ней делал, что умудрился так порвать. Может, это любовница в порыве страсти тебе рубаху и порвала, да так, что я теперь должен тебе её заменить? - распалялся невысокий, полноватый мужичок с козлиной бородкой и хитрыми глазами.

- Эээ… - смутился молодой парень на такую реплику.

- Давай иди отсюда, не видишь, что тут очередь за тобой уже образовалась? - показывая на нас, произнёс кладовщик.

Увидев нас, парень поспешно покинул шатёр.

- И так, Бер, что вам нужно?

- Палатку и матрас для новенького.

- Он же маг, что, своих нет? Почему я на него ещё тратиться должен? Он и так мне сегодня только убытки принёс.

- Когда это я успел принести вам убытки сегодня? - удивился я.

- Я поставил десять серебряков на Артура, а ты взял и выиграл.

- Ну тут вы сами виноваты, - хмыкнул я.

- Знаю, что сам. Но ты всё равно тоже виноват, мог бы и проиграть, - возмутился кладовщик.

- Ладно, Роб, успокойся. Возьмём всего на пару дней, пока новичок не купит себе новые, - успокоил его Бер.

- Ну это другое дело, я мог бы вам сразу продать отличный шатёр, оставшийся от одного из офицеров, ушедших в отставку, всего за тридцать серебряных и ходить никуда не надо, - внезапно оживился он.

- Роб, имей совесть, - осуждающе взглянув на него, произнёс Бер.

- Ну ладно, двадцать серебряных. И дам хороший матрас в подарок, - уже с более грустным выражением лица предложил Роб.

- Бери, Крис, цена достойная.

- Хорошо, беру, - отсчитав нужное количество монет, ответил я.

- Бер, заберёшь его на складе, я покажу где. Был рад вас видеть. Если что-то понадобится, то заходи ко мне, новичок.

Забрав нужные вещи, мы довольно быстро вернулись к

стоянке нашего мини отряда. Шатёр ставили все вместе. И довольно быстро наступил поздний вечер. Все разошлись по своим шатрам спать, что сделал и я.

- Думаю, мне здесь понравится, - подумал я, перед тем как погрузился в тень, чтобы уснуть.

2

Я лежу на диване, вытянув ноги, положив голову на валик и закрыв глаза. В дреме мысли мои странно путаются. Сознание расплывается, — это не бодрствование, но еще и не сон, и как тень пробегает в голове усталость. За ней смутно колышется отдаленный гул канонады, тихий посвист снарядов, а вот и металлический гул гонга, возвещающий газовую атаку. Но прежде, чем я успеваю нащупать противогаз, тьма бесшумно отодвигается. Теплое, светлое чувство охватывает меня, и земля, к которой я приник, вновь превращается в плюшевую обивку дивана. Я прижался к ней щекой и смутно соображаю: я — дома… Гул гонга, возвещающий приближение газа, растворяется в заглушенном позвякивании посуды, которую мать осторожно ставит на стол.

Но вот тьма подкрадывается снова, и с ней — рокот артиллерийской пальбы. А откуда-то издалека, как будто нас разделяют леса и горы, доносятся каплями падающие слова, которые мало-помалу приобретают смысл и проникают в сознание.

— Колбасу прислал дядя Карл, — слышу я голос матери среди отдаленного грохота орудий.

Слова эти настигают меня на самом краю воронки, куда я соскальзываю.

Всплывает сытое, самодовольное лицо.

— Ах, этот, — говорю я, и голос мой звучит глухо, словно рот заложен ватой. — Этот… Дерьмо паршивое…

И опять я падаю, падаю, и опять вторгаются тени, и бесконечные волны их заливают меня, они все темнее и темнее…

Но я не засыпаю. Чего-то, что было до сих пор, не хватает: нет равномерного тихого металлического звона. Медленно возвращается ко мне сознание, и я открываю глаза. Рядом стоит мать с побледневшим от ужаса лицом и смотрит на меня.

— Что с тобой? — спрашиваю я испуганно и вскакиваю. — Ты больна?

Она отмахивается:

— Нет… Нет… Но как ты можешь говорить такие вещи…

Я стараюсь припомнить, что я сказал. Ах, да, что-то насчет дяди Карла.

— Да ну, мама, не будь такой чувствительной, — смеюсь я. —

Ведь дядя Карл на самом деле спекулянт. Ты сама это отлично знаешь.

— Дело не в этом, Эрнст, — тихо отвечает она. — Меня ужасает, какие ты слова говоришь…

Я сразу вспоминаю, что я сказал в полусне. Мне стыдно, что это случилось как раз при матери.

— Это, мама, у меня просто вырвалось, — говорю я в свое оправдание. — Надо еще, понимаешь, привыкнуть к тому, что я не на фронте. Там царила грубость, мама, но там была сердечность.

Я приглаживаю волосы, застегиваю куртку и тянусь за сигаретой. А мать все поглядывает на меня, и руки у нее дрожат.

Я останавливаюсь, пораженный.

— Послушай, мама, — говорю я, обнимая ее за плечи, — право же, не так это страшно. Все солдаты такие.

— Да, да… Я знаю. Но то, что и ты… Ты тоже…

Я смеюсь. Конечно, и я тоже, хочется мне крикнуть, но вдруг, ошеломленный мелькнувшей мыслью, я умолкаю, отхожу от матери и сажусь на диван, — мне надо в чем-то разобраться…

Передо мной стоит старая женщина с испуганным и озабоченным лицом. Она сложила морщинистые руки, усталые, натруженные. Сквозь истонченную кожу проступают узловатые голубые жилки. Руки эти трудились ради меня, оттого они такие. Прежде я не видел их, я вообще многого не умел видеть, я был слишком юн. Но теперь я начинаю понимать, почему я для этой худенькой, изможденной женщины иной, чем все солдаты мира: я ее дитя.

Для нее я всегда оставался ее ребенком, и тогда, когда был солдатом. Война представлялась ей сворой разъяренных хищников, угрожающих жизни ее сына. Но ей никогда не приходило в голову, что ее сын, за жизнь которого она так тревожилась, был таким же разъяренным хищником по отношению к сыновьям других матерей.

Я перевожу взгляд с ее рук на свои. Вот этими руками я в мае 1917 года заколол одного француза. Кровь его, тошнотворно горячая, стекала у меня по пальцам, а я все колол и колол, обезумев от страха и ярости. Меня вырвало потом, и всю ночь я проплакал. Только к утру Адольфу Бетке удалось меня успокоить. В тот день мне как раз исполнилось восемнадцать лет, и это была первая атака, в которой я участвовал.

Медленно поворачиваю руки ладонями вверх. В начале июля — наши войска пытались тогда осуществить большой прорыв — я застрелил этими руками трех человек. Целый день провисели они на колючей проволоке. Когда рвался снаряд, их мертвые руки

шевелились от взрывной волны, и казалось, что они грозят кому-то, а иногда — что молят о помощи. В другой раз гранатой, которую я метнул на расстояние двадцати метров, начисто оторвало ноги английскому капитану. Крик его был ужасен; высоко вскинув голову, широко раскрыв рот и вздыбив торс, как тюлень, он руками уперся в землю. Он прожил недолго, изошел кровью.

А теперь я сижу около матери, и она чуть не плачет, не понимая, как это я так огрубел, что употребляю неприличные слова.

— Эрнст, — тихо говорит она, — я уже давно хотела тебе сказать: ты сильно изменился, стал каким-то неспокойным.

Да, с горечью думаю я, я сильно изменился. Да и что ты знаешь обо мне, мама? Осталось только воспоминание, одно воспоминание о тихом, мечтательном мальчике. Ты никогда, никогда не узнаешь от меня ничего об этих последних годах. Я не хочу, чтобы ты хотя бы и отдаленно догадывалась, что собой представляла действительность и во что она меня превратила. Сотая часть правды надломила бы тебе сердце, если одно грубое слово приводит тебя в трепет, смущает тебя, потому что не вяжется с твоим представлением обо мне.

— Дай срок, мама, и все опять пойдет на лад, — говорю я довольно-таки беспомощно, пытаясь прежде всего убедить в этом самого себя.

Мать присаживается ко мне на диван и гладит мне руки. Я убираю их. Она огорченно смотрит на меня.

— Ты, Эрнст, иногда какой-то совсем чужой; в такие минуты я даже лица твоего не узнаю.

— Мне нужно сначала привыкнуть, — стараюсь я утешить ее. — Мне все кажется, будто я только на побывку приехал…

Сумерки вползают в комнату. Из коридора выходит моя собака и ложится у моих ног. Глаза ее мерцают, когда она смотрит на меня. Она тоже неспокойна, ей тоже сначала надо привыкнуть.

Мать откидывается из спинку дивана:

— Какое счастье, Эрнст, что ты вернулся…

— Да, это главное, — говорю я и встаю.

Она сидит в своем углу, маленькая, окутанная сумерками. С какой-то особенной нежностью я чувствую, что роли наши переменились: теперь она — дитя.

Я люблю ее, я никогда не любил ее сильнее, чем сейчас, когда знаю, что уже не смогу прийти к ней, все рассказать и, может быть, обрести у нее покой. Я потерял ее. Разве это не так? И вдруг сознаю, как я, в сущности, одинок и какой я в самом деле чужой

здесь.

Она закрыла глаза.

— Я сейчас оденусь и пойду немного пройдусь, — говорю я шепотом, стараясь не нарушать ее покоя.

Она кивает.

— Иди, мой мальчик, — тихо говорит она. — И через миг, еще тише: — Милый мой мальчик…

От слов ее больно сжимается сердце. Осторожно притворяю за собою дверь.

3

Утро началось с ужасно громкого и противного рёв сигнального горна. Звук пронёсся по лагерю, будя солдат от утренней дрёмы. Пришлось и мне вставать, повинуясь воле этого ужасающего создания человечества. Выйдя из шатра, я увидел, что все уже проснулись, разве что Бера было совсем не видно.

- Крис, так ты уже проснулся? Ну и как тебе побудка? - с радостной улыбкой подходя ко мне, спросил Артур.

- И как ты можешь быть таким радостным с утра пораньше? - сонным голосом поинтересовался я, протирая глаза, чтобы окончательно побороть утреннюю дрёму.

- Начался новый день, солнце светит, птички поют. Как можно не радоваться этому? - с преувеличенной бодростью пропел он.

- Безумец.

- Ха-ха-ха, да шучу я. Мы просто все тут уже привыкли к этому горну, поэтому стараемся встать немного пораньше, чтобы успеть проснуться. А в первое время тут все проклинают этот утренний ритуал, сейчас же просто привыкли, - со смехом оправдался Артур.

- Очень смешно. Не хочу я как-то привыкать к такой побудке, похоже, стоит последовать вашему примеру и вставать пораньше, - поморщившись, ответил я.

- Иди ополосни лицо, должно помочь, - показал он на бочку с водой, стоявшую неподалёку.

- Спасибо, - поблагодарил я, направившись к указанной бочке, чтобы проснуться окончательно.

Закончив с процедурами, ко мне снова подошёл Артур, опять странно улыбаясь.

- Пойдём, теперь настало главное событие утра, побудка Бера, его даже горн разбудить не может, - похихикивая, поманил меня он к его шатру.

- Крепкий же сон у него, - с завистью протянул я, следуя за Артуром.

Похоже, у его шатра собрался весь наш небольшой отряд, и у

всех на лицах играли ехидные улыбки.

- Ну что, народ, тянем жребий, кому на этот раз повезёт будить этого медведя? - доставая из кармана несколько палочек, произнёс Артур.

- А куда деваться, если к построению не разбудим, то влетит всему подразделению, - грустно вздохнул Ким, подходя к Артуру поближе.

- Новичок пока не участвует, пусть смотрит и учится. Как обычно, кто вытянет короткую палочку, тот и проиграл, - произнёс Артур, протягивая руку с зажатыми палочками в сторону остальной группы.

- Похоже, мне сегодня повезло, - первым вытянув жребий и показав его всем, похвастался Ким.

Вторым тянул Лос и также показал всем длинную палочку, не произнеся ни слова, хотя под капюшоном, если приглядеться, можно было увидеть его торжествующую улыбку.

- Похоже, что сегодня твоя очередь, Артур, - с улыбкой показала свою палочку Светлана.

- Да как вы это делаете? Уже третий раз подряд! В следующий раз будем бросать кости. Вы же явно жульничаете, - разразился гневной тирадой огорчённый несправедливостью Артур.

На что эти трое лишь загадочно переглянулись.

Немного успокоившись, Артур схватил ведро воды, похоже, специально подготовленное на этот случай, и направился в шатёр Бера. Спустя десяток секунд раздался ужасающий до глубины души рёв. Из шатра вылетел Артур, а следом за ним и разъярённый Бер с кроваво красными от злости глазами, в одних трусах, но с огромным желанием раздавить мелкую букашку, посмевшую разбудить его таким неприятным способом.

- Стой, а то хуже будет. Дай мне убить тебя! - рычал Бер, словно медведь, которого пробудили от зимней спячки.

- Бер, ну прости меня, но тебя же по другому никак не разбудить, пробовали уже сотни раз, - оправдывался Артур, правда, не сбавляя скорость и удаляясь от нас подальше.

Сказать, что я был в шоке, это значит ничего не сказать.

- И часто вы так развлекаетесь?

- Да каждое утро. Бер очень крепко спит, и это, пожалуй, единственный способ его разбудить в мирное время. Во время заданий совсем другое дело, тогда он спит очень чутко и буквально чует опасность. Вот капитан и возложил на нас обязанность за его побудку, иначе накажут всех, - отсмеявшись, ответила мне Светлана.

- И почти всегда будящим оказывается командир. Уж больно хорошо он от Бера умеет убегать. Разве что иногда им становится

кто-то из нас, иначе Артур бы давно всё понял. Он, конечно, догадывается, но доказать ничего не может. И ты, думаю, тоже не скажешь ему ничего, - подмигнул мне улыбающийся Ким.

“Какие, оказывается, тут интриги происходят. И, похоже, лучше присоединиться к этой компании, чем раскрывать глаза Артуру. Что-то мне не хочется каждое утро бегать от разъярённого Бера,” - подумал я, поёжившись от представленной картины, и произнёс.

- Конечно, я с вами. Но с Артуром то всё будет хорошо? И это нормально, что Бер почти голый бегает по лагерю?

- Да ничего ему не будет, бегает он быстро. А Бер отходчивый, так что они уже скоро вернутся. Ну а к крепкому сну этого медведя весь отряд привык. Это уже стало своеобразной традицией, - объяснил мне этот хитрец.

Эти двое действительно скоро вернулись спокойным шагом. Было видно, что здоровяк ещё дуется, но уже не обижается.

- Бер, поторопись и одевайся, нам на построение нельзя опаздывать, - поторопил его стоявший рядом Ким.

- Скоро буду, - сквозь зубы ответил он, скрываясь в своём шатре.

И уже спустя несколько минут вышел бодрым и полностью одетым.

- Ну чего вы тормозите, пора на плац идти, а то опоздаем, - позвал он всех и бодрым шагом потопал в нужном направлении.

- И так всегда, - вздохнула Светлана и направилась вслед за ним.

Её примеру последовали и все остальные, как, впрочем, и я.

Когда мы подошли к плацу, то все уже собрались, ждали только нас.

- Капитана ещё нет, так что всё нормально, мы успели, - прошептал мне Артур, становясь в строй.

Мы поспешили последовать его примеру. Не хотелось бы мне опоздать на построение в первый же день моей службы. И спустя всего минуту появился капитан в сопровождении трёх человек. Судя по вышитым у них на груди трём золотым треугольникам, это были тысячники.

- Солдаты, вот и наступил новый день нашей жизни. Я рад, что вы все живые, стоите передо мной, покинувших же нас мы всегда будем вспоминать тёплыми словами. Но не будем грустить, давайте перейдём к нашим сегодняшним делам. Тысячник Крос со своими людьми отправляется на сопровождение каравана до одного из дальних баронств. Тысячник Ройс со своими людьми заступает на охрану города и патрулирование окрестностей, говорят, разбойнички

расшалились в последнее время. Остальные пока отдыхают, - раздавался гулкий голос нашего капитана, проносясь сквозь толпы солдат и достигая слуха каждого из них.

- Думаю, также ни для кого уже не секрет, что к нам вчера присоединился новичок - маг Крис Дарк, и, не смотря на свой возраст, он доказал своё право стоять бок о бок с нами во вчерашнем поединке. Он был назначен в диверсионный отряд под начало всем вам известного Артура. Также хочу напомнить, что теперь “Адские гончие” являются единственным отрядом наёмников в баронствах с двумя магами в составе. Что поднимет наш рейтинг и даст больше выгодных контрактов.

Со стороны солдат донёсся одобрительный гул голосов. Похоже, они уже представили, куда потратят деньги с этих выгодных контрактов.

- Тишина, - прорычал капитан, в ответ на это гул множества голосов тут же стих.

- Теперь можете вернуться к своим делам. И те, кто остаются в лагере, не смейте отлынивать от тренировок. Разойтись!

И как только было сказано последнее слово, то вся эта толпа солдат, организованным строем, словно ручейками, растеклась по своим делам.

- Крис, идём на полигон, твои навыки в магии мы уже проверили, теперь проверим и владение холодным оружием, - позвал меня за собой Артур, поманив рукой.

Не спеша мы зашагали к полигону. И похоже, довольно значительная часть народу тоже решила не отлынивать и потренироваться, направляясь в ту же сторону, что и мы. Когда же наша группа пришла на искомый полигон, то большинство мест было занято, хотя и не все, поэтому мы нашли пространство посвободнее и разместились там.

- Выбирай оружие, которым лучше всего умеешь обращаться, - указал Артур на стойку неподалёку с разнообразным видом оружия, сделанного из дерева.

Подойдя к стойке, я взял оттуда два деревянных кинжала, похожих друг на друга как две капли воды.

- Ким, это твоя специальность, протестируй новичка, - попросил его наш капитан, кивая на стойку с тренировочным оружием.

- Как скажешь, командир, - послушно согласился он, так же, как и я, взяв со стойки для оружия два кинжала и становясь в оборонительную стойку передо мной.

Решив атаковать первым, я попытался обманным манёвром отвлечь его и ударить кинжалом в бок, но похоже, совершил ошибку, за что тут же и поплатился. Он плавно ушёл от моего

удара и тут же атаковал сам. Я пытался защищаться, но почти сразу несколько ударов кинжалом больно впились мне в живот.

- Ты убит. Продолжим, - улыбаясь, произнёс Ким.

Мы провели ещё несколько тренировочных поединков, но в каждом он выходил победителем довольно быстро. Что, впрочем, было неудивительно, этот хитрый Лис уже давно практиковался с кинжалами и не зря звался мастером. Мои же познания были не так высоки, как хотелось. Я умел убивать со спины, бесшумно. Но вот вступать в прямое противостояние мне просто ещё никогда не приходилось. Разница в опыте была колоссальная.

- Для новичка неплохо, но не более. Видно, что кинжал тебе знаком, но боевого опыта нет, что и неудивительно в твоём-то возрасте. Но думаю, я смогу тебя подтянуть в будущем, - подтвердил он мои мысли, направившись к стойке с оружием и возвращая кинжалы на место.

- Давай проверим и остальные твои навыки, - сказал Артур, беря со стойки деревянный меч. - Владение мечом проверю у тебя сам.

Я последовал его примеру и, вернув кинжалы, взял простой деревянный меч.

Про этот спарринг я даже и говорить ничего не хочу, меня просто катали в пыли, не давая даже шанса на победу. Когда же мне дали лук, то его я и натянуть не смог, моей текущей силы в этом теле для этого просто недостаточно. Давно я не чувствовал себя таким униженным, хотя и понимал, что всё это для дела, моим новым напарникам нужно знать, на что я способен.

- Твои результаты были вполне ожидаемыми, но не огорчайся, для ребёнка твои навыки вполне неплохи, и мы поможем тебе их развить. Ким потренирует тебя бою на кинжалах, я помогу с мечами, ну а с общими физическими упражнениями поможет Бер, - пояснил мне после окончания всех проверок Артур.

- Благодарю, - слегка склонившись, отблагодарил всех я. Было за что, ведь по сути незнакомые люди решили передать мне свой опыт, а это дорогого стоит.

- Но не стоит думать, что мы тут помогаем тебе по доброте душевной. Теперь ты состоишь в нашем отряде, а значит, мы должны быть уверены, что можем доверить тебе прикрывать наши спины.

- Я понимаю это и очень благодарен вам за помощь. Не подведу! - снова слегка склонившись, ответил я.

- Ну вот и хорошо. А теперь пора закончить тренировку, съездить в город и посетить обитель прекрасных дев, что скрасят наши одинокие вечера, - продекларировал Артур с

воодушевлённым видом.

- Кобель, - прошипела Светлана, с презрением смотря на него.

- Но-но-но, я просто ценитель прекрасного. Они, конечно, не сравнятся в своей красоте, но помогут побороть печаль от невозможности быть рядом с тобой, - грустно вздохнул Артур, театрально приложив ладонь ко лбу.

- Он ей однажды признался, но его жёстко отшили, - прошептал мне на ухо незаметно подкравшийся Ким.

- Крис, поедешь с нами, тебе всё равно в городе нужно купить нормальный меч. Бер тебе поможет с выбором, да и скидку выбьет, его там все знают. Он у нас раньше кузнецом был, так что в оружии хорошо разбирается.

- Оно и заметно, - вырвалось из моего горла, на что весь отряд лишь хмыкнул.

- Ну а вечером соберёмся в таверне, нужно обмыть твоё вступление в Адских гончих, - добавил Ким, с хитрой улыбочкой смотря на меня. - Новичок проставляется.

- Идёт, - согласился я.

В новом коллективе следует налаживать отношения привычным для них способом. Да и не разорит это меня.

Закончив на этом, мы все отправились в город. На этот раз при входе плату с меня всё же взяли, как и с моих спутников. На воротах стоял тот же стражник, что встречал меня при моём первом посещении этого города, но похоже, меня он не узнал. Что неудивительно, в первый раз я появился перед ним в роли мальчишки беспризорника в лохмотьях, сейчас же я был одет в приличную одежду, в окружении воинов из отряда наёмников, да и капюшон неизменно лежал на моей голове, скрывая лицо от излишне любопытных глаз.

После въезда в город мы разделились и отправились по своим делам. Бер же остался со мной, показывая путь к лучшему оружейному магазину в городе, судя по его словам. Вскоре достигли его и, спешившись с лошадей, вошли внутрь.

Моему взору предстало помещение, полностью заполненное различным оружием. Чего тут только не было! Мечи, секиры, кинжалы, даже выглядящие необычно экзотические клинки. Присутствовал тут и выбор брони на любой вкус, от полных латных доспехов до курток из дублёной кожи.

- Кого я вижу, это же старина Бер решил заглянуть в мою лавку! - раздался радостный голос из-за прилавка.

Разглядывая всё это многообразие средств для убийства других разумных, похоже, я не заметил продавца. Если бы я точно не знал, что в этом мире не существует гномов, то точно посчитал бы его им. Уж больно он был похож на образ гнома, описанный во

многих книгах нашего мира. Низкий рост, широк в плечах и густая борода, всё это делало его похожим на данного сказочного персонажа.

Хотя, были здесь обитатели, очень похожие на описанных гномов, но это всё же были люди. Я слышал про немногочисленный народ, поселившийся в городах под землей, благодаря владению магией земли они прекрасно приспособились к жизни там. И за сотни лет рядом с источником магии они изменилась. Их тела стали низкорослы, что позволяло им лучше передвигаться под землёй, а их кожа затвердела, став похожей на камень, что повысило защиту, зрение также приспособилось к условиям низкой освещённости. Среди таких изменившихся людей процент магов был гораздо больше, чем среди наземных обывателей. Возможно, человек, что работает здесь продавцом является дальним потомком этих жителей, или же просто похож на них комплекцией.

- Рад видеть тебя, Горд. Как идёт торговля? - поинтересовался Бер, махнув своему знакомому рукой.

- Неплохо, и похоже, ты решил увеличить мне продажи, приведя нового клиента, хоть и такого юного.

- Да. Знакомься, это Крис, наш новенький в отряде. Ему нужен добротный меч и лёгкая броня под плащ.

- О, довольно неожиданно. Но если он смог вступить в ваш отряд, значит, достоин этого. Рад знакомству с вами, Крис, - уважительно обратился ко мне, по видимому, хозяин этой лавки.

- И я рад встрече с вами, уважаемый Горд.

- Давайте я подберу вам подходящее снаряжение, - донёсся до нас его голос, когда он ушёл в подсобку.

Вернулся он довольно быстро, неся в руках нужные мне вещи.

- Вот, хороший короткий меч, как раз будет вам по руке, - подал он его мне, вынимая предварительно из ножен.

Клинок выглядел завораживающе хищным, солнечные блики отразились от клинка, пустив солнечных зайчиков в помещении.

- Добротная работа, - одобрил Бер.

- А я о чём говорю. Я плохого не посоветую, - возмутился Горд, - А теперь взглянем на броню. Если тебя привёл Бер, значит, ты, как и он, состоишь в диверсионном отряде, думаю, эта броня тебе подойдёт как нельзя лучше.

Перед моим взором предстала обычная кожаная броня, выкрашенная в чёрный цвет. Но, взяв её в руки, я понял, что-то с ней не так.

- Похоже, ты догадался. Эта броня двухслойная, а внутри неё вшиты металлические части, благодаря чему повышается защита, но подвижность не затрудняется. К тому же она не издаёт шума

при перемещении.

- Отличная вещь, - искренне похвалил эту броню я, и лицо Грода тронула улыбка. - Можно мне ещё пару метательных кинжалов?

- Конечно, думаю, вот эти вам подойдут, - доставая из под прилавка пару воронёных метательных кинжалов, произнёс продавец.

- И сколько с меня за всё это чудо?

- О, всего ничего, каких-то пять золотых.

- Хм, Горд, не наглей, - нахмурился мой сопровождающий.

- А, да, просто, Бер, это я по привычке, - виновато улыбнулся он, - Конечно, отдам всё за четыре золотых.

- Это уже приемлемо, - кивнул, глядя на меня здоровяк.

- Беру, - ответил я, выкладывая на стол запрашиваемую сумму.

Новую броню я сразу одел под свой плащ и прикрепил меч к поясу. На этом мы попрощались с Гордом и покинули лавку.

- Ну что, побродим по рынку и направимся в таверну? - уточнил Бер.

- Конечно, думаю, все уже будут нас там ждать. Вряд ли кто-то захочет пропустить халявную пьянку, - засмеялись мы с Бером в один голос и продолжили свой путь.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Мы представляли себе все иначе. Мы думали: мощным аккордом начнется сильное, яркое существование, полновесная радость вновь обретенной жизни. Таким рисовалось нам начало. Но дни и недели скользят как-то мимо, они проходят в каких-то безразличных, поверхностных делах, и на поверку оказывается, что ничего не сделано. Война приучила нас действовать почти не размышляя, ибо каждая минута промедления чревата была смертью. Поэтому жизнь здесь кажется нам очень уж медлительной. Мы берем ее наскоком, но прежде, чем она откликнется и зазвучит, мы отворачиваемся от нее. Слишком долго была нашим неизменным спутником смерть; она была лихим игроком, и ежесекундно на карту ставилась высшая ставка. Это выработало в нас какую-то напряженность, лихорадочность, научило жить лишь настоящим мгновением, и теперь мы чувствуем себя опустошенными, потому что здесь это все не нужно. А пустота родит тревогу: мы чувствуем, что нас не понимают и что даже любовь не может нам помочь. Между солдатами и несолдатами разверзлась непроходимая пропасть. Помочь себе можем лишь мы сами.

В наши беспокойные дни нередко врывается странный рокот,

точно отдаленный гром орудий, точно глухой призыв откуда-то из-за горизонта, призыв, который мы не умеем разгадать, которого мы не хотим слышать, от которого мы отворачиваемся, словно боясь упустить что-то, словно что-то убегает от нас. Слишком часто что-то убегало от нас, и для многих это была сама жизнь…

В берлоге Карла Дарка все вверх дном. Книжные полки опустошены. Книги, целыми пачками, валяются кругом — на столах и на полу.

Когда-то Карл был форменным библиоманом. Он собирал книги так, как мы собирали бабочек или почтовые марки. Особенно любил он Эйхендорфа. У Карла три различных издания его сочинений. Многие из стихотворений Эйхендорфа он знает наизусть. А сейчас он собирается распродать всю свою библиотеку и на вырученный капитал открыть торговлю водкой. Он утверждает, что на таком деле можно теперь хорошо заработать. До сих пор Карл был только агентом у Леддерхозе, а сейчас хочет обзавестись самостоятельным предприятием.

Перелистываю первый том одного из изданий Эйхендорфа в мягком переплете синего цвета. Вечерняя заря, леса и грезы… Летние ночи, томление, тоска по родине… Какое это было время!..

Вилли держит в руках второй том. Он задумчиво рассматривает его.

— Это надо бы предложить сапожнику, — советует он Карлу.

— Почему? — улыбаясь спрашивает Кайл.

— Кожа. Понятно? — отвечает Вилли. — У сапожников сейчас острый голод на кожу. Вот, — он поднимает с пола собрание сочинений Гете, — двадцать томов. Это по меньшей мере шесть пар великолепной кожаной обуви. За этого Гете сапожники наверняка дадут тебе гораздо больше любого букиниста. Они с ума сходят по настоящей коже.

— Хотите? — спрашивает Карл, указывая на книги. — Для вас со скидкой!

Мы дружно отказываемся.

— Ты бы все-таки еще раз подумал, — говорит Кайл, — потом ведь не купишь.

— Чепуха, — смеется Карл. — Прежде всего надо жить; жить лучше, чем читать. И на экзамены я плюю. Все это ерунда! Завтра начнется проба различных сортов водок. Десять марок заработка на бутылке контрабандного коньяка, это заманчиво, дружище. Деньги — единственное, что вообще нужно. С деньгами все можно иметь.

Он увязывает книги в пачки. Я вспоминаю, что в былое время

Карл предпочел бы голодать, но не продал бы ни одной книги.

— Почему у вас такие ошалелые лица? — смеется он над нами. — Надо уметь из всего извлечь пользу. За борт старый балласт! Пора начать новую жизнь!

— Это верно, — соглашается Вилли. — Будь у меня книги, я бы их тоже спустил.

Карл хлопает его по плечу:

— От сантиметра торговли больше толку, чем от километра учености, Вилли. Я вдосталь повалялся в окопной грязи, с меня хватит. Хочу взять от жизни все, что можно.

— В сущности, он прав, — говорю я. — Чем мы тут, на самом деле, занимаемся? Щепотка школьных знаний — ведь это ровным счетом ничего…

— Ребята, смывайтесь и вы, — говорит Карл. — Чего вы не видели в этой дурацкой школе?

— Да, все это ерунда, конечно, — откликается Вилли. — Но мы по крайней мере вместе. А кроме того, до экзаменов осталось каких-нибудь два-три месяца. Бросить все-таки жалко. Аттестат не помешает. А дальше видно будет…

Карл нарезает листы упаковочной бумаги:

— Знаешь, Вилли, так будет всю жизнь. Всегда найдутся два-три месяца, из-за которых что-либо жалко бросить. Так и не заметишь, как подойдет старость…

Вилли усмехается:

— Поживем — чаю попьем, а там поглядим…

Кайл встает.

— Ну, а отец твой что говорит?

Карл смеется:

— То, что обычно говорят в таких случаях старые, трусливые люди. Принимать это всерьез нельзя. Родители все время забывают, что мы были солдатами.

— Какую бы ты профессию выбрал, если бы не был солдатом? — спрашиваю я.

— Стал бы сдуру книгами торговать, вероятно, — отвечает Карл.

На Вилли решение Карла произвело сильное впечатление. Он уговаривает нас забросить к черту весь школьный хлам и заняться стоящим делом.

Жратва — одно из самых доступных наслаждений жизнью. Поэтому мы решаем устроить мешочный поход. На продовольственные карточки выдают еженедельно по двести пятьдесят граммов мяса, двадцать граммов масла, пятьдесят граммов маргарина, сто граммов крупы и немного хлеба. Этим ни один человек сыт не будет.

Мешочники собираются на вокзалах уже с вечера, чтобы спозаранку отправиться по деревням. Поэтому нам надо поспеть к первому поезду; иначе нас опередят.

В нашем купе сидит сплошь серая угрюмая нищета. Мы выбираем деревню подальше от дороги и, прибыв туда, расходимся по двое, чтобы снимать жатву организованно. Патрулировать-то мы научились!

Я в паре с Альбертом. Подходим к большому двору. Дымится навозная куча. Под навесом длинным рядом стоят коровы. В лицо нам веет теплым духом коровника и парного молока. Клохчут куры. Мы с вожделением смотрим на них, но сдерживаемся, так как на гумне люди. Здороваемся. Никто не обращает на нас внимания. Стоим и ждем. Наконец одна из женщин кричит:

— Прочь отсюда, попрошайки проклятые!

Следующий дом. На дворе как раз сам хозяин. Он в длиннополой солдатской шинели. Пощелкивая кнутом, он говорит:

— Знаете, сколько до вас уже перебывало сегодня? С десяток наверное.

Мы поражены: ведь мы выехали первым поездом. Наши предшественники приехали, должно быть, с вечера и ночевали где-нибудь в сараях или под открытым небом.

— А знаете, сколько проходит тут за день вашего брата? — спрашивает крестьянин. — Чуть не сотня. Что тут сделаешь?

Мы соглашаемся с ним. Взгляд его останавливается на солдатской шинели Альберта.

— Фландрия? — спрашивает он.

— Фландрия, — отвечает Альберт.

— Был и я там, — говорит крестьянин, идет в дом и выносит нам по два яйца. Мы роемся в бумажниках. Он машет рукой. — Бросьте. И так ладно.

— Ну спасибо, друг.

— Не на чем. Только никому не рассказывайте. Не то завтра сюда явится пол-Германии.

Следующий двор. На заборе — металлическая дощечка: «Мешочничать запрещается. Злые собаки». Предусмотрительно.

Идем дальше. Дубовая рощица и большой двор. Мы пробираемся к самой кухне. Посреди кухни — плита новейшей конструкции, которой хватило бы на целый ресторан. Справа — пианино, слева — пианино. Против плиты стоит великолепный книжный шкаф: витые колонки, книги в роскошных переплетах с золотым обрезом. Перед шкафом старый простой стол и деревянные табуретки. Все это выглядит комично, особенно два пианино.

Появляется хозяйка:

— Нитки есть? Только настоящие.

— Нитки? Нет.

— А шелк? Или шелковые чулки?

Я смотрю на ее толстые икры. Мы смекаем: она не хочет продавать, она хочет менять продукты.

— Шелка у нас нет, но мы хорошо заплатим.

Она отказывается:

— Что ваши деньги! Тряпье. С каждым днем им цена все меньше.

Она поворачивается и уплывает. На ярко-пунцовой шелковой блузе не хватает сзади двух пуговиц.

— Нельзя ли у вас хоть напиться? — кричит ей вдогонку Альберт.

Она возвращается и сердито ставит перед нами кринку с водой.

— Ну, живей! Некогда мне стоять тут с вами, — брюзжит она. — Шли бы лучше работать, чем время у людей отнимать.

Альберт берет кринку и швыряет ее на пол. Он задыхается от бешенства и не может произнести ни звука. Зато я могу.

— Рак тебе в печенку, старая карга! — реву я.

В ответ она поворачивается к нам спиной и грохочет, точно мастерская жестянщика на полном ходу. Мы пускаемся в бегство. Такой штуки даже самый крепкий мужчина не выдержит.

Продолжаем наш путь. По дороге нам попадаются целые партии мешочников. Как проголодавшиеся осы вокруг сладкого пирога, кружатся они по деревне. Глядя на них, мы начинаем понимать, отчего крестьяне выходят из себя и встречают нас так грубо. Но мы все же идем дальше: то нас гонят, то нам кое-что перепадает; то другие мешочники ругают нас, то мы их.

Под вечер вся наша компания сходится в пивной. Добыча невелика. Несколько фунтов картофеля, немного муки, несколько яиц, яблоки, капуста и немного мяса. Вилли является последним. Он весь в поту. Под мышкой у него половина свиной головы, из всех карманов торчат свертки. Правда, на нем нет шинели. Он обменял ее, так как дома у него есть еще одна, полученная у Карла, и кроме того, рассуждает Вилли, весна когда-нибудь несомненно наступит.

До отхода поезда остается два часа. Они приносят нам счастье. В зале стоит пианино. Я сажусь за него и, нажимая на педали, шпарю вовсю «Молитву девы». Появляется трактирщица. Некоторое время она молча слушает, затем, подмигивая, вызывает меня в коридор. Я незаметно выхожу. Она поверяет мне, что очень любит музыку, но, к сожалению, здесь редко кто играет.

Не хочу ли я приезжать сюда почаще, спрашивает она. При этом она сует мне полфунта масла, обещая и впредь снабжать всякими хорошими вещами. Я, конечно, соглашаюсь и обязуюсь в каждый приезд играть по два часа. На прощание исполняю следующие номера своего репертуара: «Одинокий курган» и «Замок на Рейне».

И вот мы отправляемся на вокзал. По пути встречаем множество мешочников. Они едут тем же поездом, что и мы. Все боятся жандармов. Собирается большой отряд; до прихода поезда все прячутся подальше от платформы, в темном закоулке, на самом сквозняке. Так безопасней.

Но нам не везет. Неожиданно около нас останавливаются два жандарма. Они бесшумно подкатили сзади на велосипедах.

— Стой! Не расходись!

Страшное волнение. Просьбы и мольбы:

— Отпустите нас! Нам к поезду!

— Поезд будет только через четверть часа, — невозмутимо объявляет жандарм, тот, что потолще. — Все подходи сюда!

Жандармы показывают на фонарь, под которым им будет лучше видно. Один из них следит, чтобы никто не удрал, другой проверяет мешочников. А мешочники почти сплошь женщины, дети и старики; большинство стоит молча и покорно: они привыкли к такому обращению, да никто, в сущности, и не надеется по-настоящему, что удастся хоть раз беспрепятственно довезти полфунта масла домой. Я разглядываю жандармов. Они стоят с сознанием собственного достоинства, спесивые, красномордые, в зеленых мундирах, с шашками и кобурами, — точно такие же, как их собратья на фронте. Власть, думаю я; всегда, всегда одно и то же: одного грамма ее достаточно, чтобы сделать человека жестоким.

У одной женщины жандармы отбирают несколько яиц. Когда она, крадучись, уже отходит прочь, ее подзывает толстый жандарм.

— Стой! А здесь что? — Он показывает на юбку. — Выкладывай!

Женщина остолбенела. Силы покидают ее.

— Ну, живей!

Она вытаскивает из-под юбки кусок сала. Жандарм откладывает его в сторону:

— Думала, сойдет, а?

Женщина все еще не понимает, что происходит, и хочет взять обратно отобранное у нее сало:

— Но ведь я уплатила за него… Я отдала за него последние гроши…

Он отталкивает ее руку и уже вытаскивает из блузки у другой женщины колбасу:

— Мешочничать запрещено. Это всем известно.

Женщина готова отказаться от яиц, но она молит вернуть ей сало:

— По крайней мере сало отдайте. Что я скажу дома? Ведь это для детей!

— Обратитесь в министерство продовольствия с ходатайством о получении добавочных карточек, — скрипучим голосом говорит жандарм. — Нас это не касается. Следующий!

Женщина спотыкается, падает, ее рвет, и она кричит:

— За это умирал мой муж, чтобы дети наши голодали?!

Девушка, до которой дошла очередь, глотает, давится, торопится запихать в себя масло; рот у нее весь в жиру, глаза вылезают на лоб, а она все давится и глотает, глотает, — пусть хоть что-нибудь достанется ей, прежде чем жандарм отберет все. Достанется ей, впрочем, очень мало: ее стошнит, и понос ей, конечно, обеспечен.

— Следующий!

Никто не шевелится. Жандарм, который стоит нагнувшись, повторяет:

— Следующий! — Обозлившись, он выпрямляется во весь рост и встречается глазами с Вилли. — Вы следующий? — говорит он уже гораздо спокойнее.

— Я никакой, — недружелюбно отвечает Вилли.

— Что у вас под мышкой?

— Половина свиной головы, — откровенно заявляет Вилли.

— Вы обязаны ее отдать.

Вилли не: трогается с места. Жандарм колеблется и бросает взгляд на своего коллегу. Тот становится рядом, Это грубая ошибка. Видно, у них мало опыта в таких делах, они не привыкли к сопротивлению. Будь они опытнее, они сразу бы заметили, что мы — одна компания, хотя и не разговариваем друг с другом. Второму жандарму следовало бы стать сбоку и держать нас под угрозой наведенного револьвера. Правда, нас бы это не особенно обеспокоило: велика важность — револьвер! Вместо этого жандарм становится рядом с коллегой на случай, если бы Вилли вздумал погорячиться.

Последствия тактической ошибки жандармов сказываются тотчас же. Вилли отдает свиную голову. Изумленный жандарм берет ее и тем самым лишает себя возможности защищаться, так как теперь обе руки у него заняты. В то же мгновение Вилли с полным спокойствием наносит ему такой удар по зубам, что жандарм падает. Прежде чем второй успевает шевельнуться, Козоле головой ударяет его под подбородок, а Бер, подскочив сзади, так сжимает ему зоб, что жандарм широко разевает рот, и Козоле живо запихивает туда газету. Оба жандарма хрипят, глотают и плюются, но все напрасно, — рты у них заткнуты бумагой, руки скручены за спину и крепко-накрепко связаны их же собственными ремнями. Все это быстро сработано, но куда девать обоих?

Альберт знает. В пятнадцати шагах отсюда стоит уединенный домик с вырезанным в двери сердечком, — уборная. Несемся туда галопом. Втискиваем внутрь обоих жандармов. Дверь этого помещения дубовая, задвижки широкие и крепкие; пройдет не меньше часа, пока они выберутся. Козоле благороден: он даже ставит перед дверью оба жандармских велосипеда.

Окончательно оробевшие мешочники с трепетом следят за всей этой сценой.

— Разбирайте свои вещи, — с усмешкой предлагает им Фердинанд.

Вдали уже слышен паровозный свисток. Пугливо озираясь, люди не заставляют дважды повторять себе предложение Козоле. Но какая-то полоумная старуха грозят испортить все дело.

— О боже, — убивается она, — они поколотили жандармов… Какой ужас… Какой ужас…

По-видимому, ей кажется это преступлением, достойным смертной казни. Остальные тоже напуганы. Страх перед полицейским мундиром проник им в плоть и кровь.

— Не вой, матушка, — ухмыляется Вилли. — И пусть бы все правительство стояло тут, мы все равно не отдали бы им ни крошки! Вот еще: у старых служак отнимать жратву! Только этого

не хватало!

Счастье, что деревенские вокзалы расположены обычно вдали от жилищ. Никто ничего не заметил. Начальник станции только теперь выходит из станционного домика, зевает и почесывает затылок. Мы уже на перроне. Вилли держит под мышкой свиную голову.

— Чтобы я тебя да отдал… — бормочет он, нежно поглаживая ее.

Поезд трогается. Мы машем руками из окон. Начальник станции, полагая, что это относится к нему, приветливо козыряет нам в ответ. Но мы имеем в виду уборную. Вилли наполовину высовывается из окна, наблюдая за красной шапкой станционного начальника.

— Вернулся в свою будочку, — победоносно возглашает он. — Ну, теперь жандармы хорошенько попотеют, прежде чем выберутся.

Мало-помалу мешочники успокаиваются. Люди приободрились и начинают разговаривать. Женщина, вновь обретшая свой кусок сала, от благодарности смеется со слезами на глазах. Только девушка, съевшая масло, воет навзрыд: она слишком поторопилась. Вдобавок ее уже начинает тошнить. Но тут Козоле проявляет себя. Он отдает ей половину своей колбасы. Девушка затыкает колбасу за чулок.

Предосторожности ради, мы вылезаем за одну остановку до города и полями выходим на шоссе. Последний пролет мы намерены пройти пешком. Но нас нагоняет грузовик с молочными бидонами. Шофер — в солдатской шинели. Он берет нас к себе в машину. Мы мчимся, рассекая вечерний воздух. Мерцают звезды. Мы сидим рядышком. Свертки наши аппетитно пахнут свининой.

2

Главная улица погружена в вечерний туман, влажный и серебристый. Вокруг фонарей большие желтые круги. Люди ступают, как по вате. Витрины слева и справа — словно волшебные огни; Волк подплывает к нам и снова ныряет куда-то в глубину. Возле фонарей блестят черные и сырые деревья.

За мной зашел Бер Лагер. Хотя сегодня он, против обыкновения, и не жалуется, но все еще не может забыть акробатического номера, с которым выступал в Париже и Будапеште.

— Над этим надо поставить крест, Эрнст, — говорит он. — Кости трещат, ревматизм мучает. Уж я пытался, пытался, до потери сил. Все равно бесполезно.

— Что же ты собираешься предпринять, Бер? — спрашиваю я. — В сущности, государство обязано было бы платить тебе

такую же пенсию, как и офицерам в отставке.

— Ах, государство! — пренебрежительно роняет Бер. — Государство дает только тем, кто умеет драть глотку. Сейчас я разучиваю с одной танцовщицей несколько номеров. Такие, знаешь ли, эстрадные. Публике нравится, но это настоящая ерунда, и порядочному акробату стыдно заниматься такими вещами. Что поделаешь: жить-то ведь нужно…

Бер зовет меня на репетицию, и я принимаю приглашение. На углу Хомкенштрассе мимо нас проплывает в тумане черный котелок, а под ним — канареечно-желтый плащ и портфель.

— Артур! — кричу я.

Леддерхозе останавливается.

— Черт возьми, — восклицает в восторге Бер, — каким же ты франтом вырядился! — С видом знатока он щупает галстук Артура — великолепное изделие из искусственного шелка в лиловых разводах.

— Дела идут недурно, — торопливо говорит польщенный Леддерхозе.

— А ермолка-то какая, — все изумляется Бер, разглядывая черный котелок Артура.

Леддерхозе, порываясь уйти, похлопывает по портфелю:

— Дела, дела…

— А что твой табачный магазин? Ты уже простился с ним? — осведомляюсь я.

— Никак нет, — отвечает Артур. — Но у меня сейчас только оптовая торговля. Кстати, не знаете ли вы какого-нибудь помещения под контору? Заплачу любую цену.

— Помещений под контору не знаем, — отвечает Бер. — До этого нам пока далеко. А как поживает жена?

— Почему это тебя интересует? — настораживается Леддерхозе.

— В окопах, помнится, ты очень сокрушался, что она у тебя худа слишком. Ты ведь больше насчет дебелых…

Артур качает головой:

— Не припомню что-то. — Он убегает.

Бер смеется.

— До чего может измениться человек, Эрнст, верно? В окопах это был жалкий червь, а теперь вон какой делец! Как он похабничал на фронте! А сейчас и слышать об этом не хочет. Того и гляди, еще заделается председателем какого-нибудь общества «Добродетель и мораль».

— Ему, видно, чертовски хорошо живется, — задумчиво говорю я.

Мы бредем дальше. Плывет туман. Волк забавляется, скачет.

Лица то приближаются, то исчезают. Вдруг, в белом луче света, блеснула красная кожаная шляпка и под ней лицо, нежно оттененное налетом влаги, отчего глаза блестят больше обычного.

Я останавливаюсь. Сердце забилось. Адель! Вспыхнуло воспоминание о вечерах, когда мы, шестнадцатилетние мальчики, прячась в полумраке у дверей гимнастического зала, ожидали появления девочек в белых свитерах, а потом бежали за ними по улицам и, догнав, молча, едва переводя дыхание, пожирали их глазами где-нибудь под фонарем; но девочки быстро убегали от нас, и погоня возобновлялась. А иной раз, завидев их на улице, мы робко и упорно шли за ними, шага на два позади, от смущения не решаясь заговорить, и лишь в последнюю минуту, когда они скрывались в подъезде какого-нибудь дома, мы набирались храбрости, кричали им вдогонку «до свидания» и убегали.

Бер оглядывается.

— Я должен вернуться, — торопливо говорю я, — мне надо тут кое с кем поговорить. Сейчас же буду обратно.

И я бегу назад, бегу искать красную шляпку, красное сияние в тумане, дни моей юности — до солдатской шинели и окопов.

— Адель!

Она оглядывается:

— Эрнст!.. Ты вернулся?

Мы идем рядом. Туман ползет между нами, Волк с лаем прыгает вокруг нас, трамваи звенят, и мир тепел и мягок. Вернулось прежнее чувство, полнозвучное, трепетное, парящее, годы стерты, взметнулась дуга к прошлому, — это радуга, светлый мост в тумане.

Я не знаю, о чем мы говорим, да это и безразлично, важно то, что мы рядом, что снова звучит нежная, чуть слышная музыка прежних времен, эти летучие каскады предчувствий и томлений, за которыми шелком переливается зелень лугов, поет серебряный шелест тополей и темнеют мягкие очертания горизонта юности.

Долго ли мы так бродили? Не знаю. Я возвращаюсь назад один — Адель ушла, но словно большое яркое знамя веет во мне радость и надежда, полнота жизни. Я вновь вижу свою мальчишескую комнатку, зеленые башни и необъятные дали.

По дороге домой встречаю Вилли, и мы вместе отправляемся искать Бера. Мы уже почти нагнали его и видим, как он вдруг радостно бросается к какому-то незнакомому нам человеку и с размаху крепко хлопает его по плечу.

— Кукхоф, старина, ты как сюда попал? — Бер протягивает ему руку.

— Вот так встреча! Где довелось увидеться!

Кукхоф некоторое время смотрит на Бера, точно оценивая его:

— А, Лагер, не правда ли?

— Ну ясно. Вместе воевали на Сомме. Помнишь, как мы с тобой среди всей этой мерзости лопали пирожки, которые мне прислала Лили? Еще Георг принес их нам на передовые вместе с почтой? Чертовски рискованно было с его стороны, верно?

— Еще бы, конечно, — говорит Кукхоф.

Бер взволнован от нахлынувших воспоминаний.

— А Георга так-таки настигла пуля, — рассказывает он. — Тебя тогда уже не было. Пришлось ему расстаться с правой рукой. Нелегкая штука для него, — он ведь кучер. Верно, занялся чем-нибудь другим. А тебя куда потом занесло?

Кукхоф бормочет в ответ что-то невнятное. Затем говорит:

— Очень приятно встретиться. Как же вы поживаете, Лагер?

— Что? — оторопев спрашивает Бер.

— Как вы поживаете, говорю, что поделываете?

— «Вы»? — Бера словно обухом по голове хватили. С минуту он смотрит на Кукхофа, одетого в элегантное коверкотовое пальто. Потом оглядывает себя, краснеет, как рак, отходит. — Обезьяна! — только и говорит он.

Мне тяжело за Бера. Вероятно, впервые он сталкивается с мыслью о неравенстве. До сих пор мы все были солдатами. А теперь этакий вот самонадеянный малый одним-единственным «вы» вдребезги разбивает всю его непосредственность.

— Не стоит о нем думать, Бер, — говорю я. — Такие, как он, гордятся папашиным капиталом. Тоже, понимаешь, занятие.

Вилли со своей стороны прибавляет несколько крепких словечек.

— Нечего сказать — боевые товарищи! — говорит со злостью Бер. Видно, что от этой встречи у него остался тяжелый осадок.

К счастью, навстречу идет Конор. Он грязен, как половая тряпка.

— Послушай-ка, Конор, — говорит Вилли, — война-то ведь кончена, не мешало бы и помыться.

— Нет, сегодня еще не стоит, — важно отвечает Конор, — вот уж в субботу. Тогда я даже искупаюсь.

Мы поражены. Конор — и купаться? Неужели он еще не оправился от августовской контузии? Вилли с сомнением прикладывает ладонь к уху:

— Мне кажется, я ослышался. Что ты собираешься делать в субботу?

— Купаться, — гордо говорит Конор. — В субботу вечером,

видите ли, моя помолвка.

Вилли смотрит на него, точно перед ним заморский попугай. Затем он осторожно кладет свою лапищу ему на плечо и отечески спрашивает:

— Скажи, Конор, у тебя не бывает иногда колотья в затылке? И этакого странного шума в ушах?

— Только когда жрать охота, — признается Конор, — тогда у меня еще и в желудке нечто вроде ураганного огня. Препротивное ощущение. Но послушайте о моей невесте. Красивой ее назвать нельзя: обе ноги смотрят в левую сторону, и она слегка косит. Но зато сердце золотое, и папаша мясник.

Мясник! Мы начинаем смекать. Конор с готовностью дает дальнейшие объяснения:

— Она без ума от меня. Что поделаешь, нельзя упускать случая. Времена нынче тяжелые, приходится кое-чем жертвовать. Мясник последним помрет с голоду. А помолвка — ведь это еще далеко не женитьба.

Вилли слушает Конора с возрастающим интересом.

— Конор, — начинает он, — ты знаешь, мы всегда были с тобой друзьями…

— Ясно, Вилли, — перебивает его Конор, — получишь несколько колбас. И, пожалуй, еще кусок корейки. Приходи в понедельник. У нас как раз начнется «белая неделя».

— Как так? — удивляюсь я. — Разве у вас еще и бельевой магазин?

— Нет, какой там магазин! Мы, видишь ли, заколем белую кобылу.

Мы твердо обещаем прийти и бредем дальше.

Бер сворачивает к гостинице «Альтштедтер Хоф». Здесь обычно останавливаются заезжие актеры. Мы входим. За столом сидят лилипуты. На столе суп из репы. Возле каждого прибора ломоть хлеба.

— Надо надеяться, что эти-то хоть сыты своим пайковым месивом, — ворчит Вилли, — у них желудки поменьше наших.

Стены оклеены афишами и фотографиями. Рваные, ярко раскрашенные плакаты с изображениями атлетов, клоунов, укротительниц львов. От времени бумага пожелтела, — долгие годы окопы заменяли всем этим тяжеловесам, наездникам и акробатам арену. Там афиш не требовалось.

Бер показывает на одну афишу.

— Вот каким я был, — говорит он.

На афише человек геркулесовского телосложения делает сальто с трапеции, укрепленной под самым куполом. Но Бера в нем при всем желании узнать нельзя.

Танцовщица, с которой Бер собирается работать, уже ждет его. Мы проходим в малый зал ресторана. В углу стоит несколько театральных декораций к остроумному фарсу из жизни фронтовиков «Лети, моя голубка»; куплеты из этого фарса целых два года пользовались колоссальным успехом.

Бер ставит на стул граммофон и достает пластинки. Хриплая мелодия квакает и шипит в рупоре. Мелодия заиграна, но в ней еще прорывается огонь, она — словно пропитый голос истасканной, но некогда красивой женщины.

— Танго, — шепотом, с видом знатока, сообщает мне Вилли. По лицу его никак нельзя догадаться, что он только что прочел надпись на пластинке.

На Бере синие штаны и рубашка, женщина — в трико. Они разучивают танец апашей и еще какой-то эксцентрический номер, в заключение которого девушка висит вниз головой, обвив ногами шею Бера, а он вертится изо всех сил.

Оба работают молча, с серьезными лицами, лишь изредка роняя вполголоса два-три коротких слова. Мигает белый свет лампы. Тихо шипит газ. Огромные тени танцующих колышутся на декорациях к «Голубке». Вилли неуклюже, как медведь, топчется вокруг граммофона, подкручивая его.

Бер окончил. Вилли аплодирует. Бер с досадой отмахивается. Девушка переодевается, не обращая на нас никакого внимания. Стоя под газовым рожком, она медленно расшнуровывает туфли. Ее спина в выцветшем трико грациозно изогнута. Выпрямившись, девушка поднимает руки, чтобы натянуть на себя платье. На плечах ее играют свет и тени. У нее красивые стройные ноги.

Вилли рыщет по залу. Он находит где-то либретто к «Голубке». В конце помещены объявления. В одном некий кондитер предлагает для посылки на фронт шоколадные бомбы и гранаты в оригинальной упаковке. В другом какая-то саксонская фирма рекламирует ножи для вскрывания конвертов, сделанные из осколков снарядов, клозетную бумагу с изречениями великих людей о войне и две серии открыток: «Прощание солдата» и «Во тьме полнощной я стою».

Танцовщица оделась. В пальто и шляпе она совсем другая. Только что она была как гибкое животное, а теперь такая же, как все. С трудом верится, что каких-нибудь несколько тряпок могли так изменить ее. Удивительно, как даже обыкновенное платье меняет человека! Что ж сказать о солдатской шинели!

3

Вилли каждый вечер бывает у Вальдмана. Это загородный ресторан с садом, где по вечерам танцуют. Я отправляюсь туда, — Карл Дарк как-то сказал мне, что там бывает Адель. А ее мне

хочется встретить.

Все окна ресторанного зала ярко освещены. По опущенным шторам скользят тени танцующих. Стоя у буфета, ищу глазами Вилли. Все столики заняты, даже стула свободного нет. В эти первые послевоенные месяцы жажда развлечений принимает положительно чудовищные размеры.

Вдруг вижу чей-то сверкающий белизной живот и величественно развевающийся ласточкин хвост: это Вилли во фраке. Ослепленный, я не в силах отвести очарованного взора: фрак черный, жилет белый, волосы рыжие — ни дать ни взять германский флаг на двух ногах.

Вилли снисходительно принимает дань моего восхищения.

— Удивлен, а? — говорит он, поворачиваясь, как павлин. — Этот фрак я сшил в память о кайзере Вильгельме. Чего только не сделаешь из солдатской шинели! Верно? — Он хлопает меня по плечу. — Кстати, Эрнст, ты хорошо сделал, что пришел. Сегодня здесь танцевальный конкурс, и мы все собираемся принять участие. Призы первоклассные. Через полчаса начало.

Есть, следовательно, время еще потренироваться. Его дама похожа на борца. Это — крепко сколоченное существо, здоровенное, как ломовая лошадь. Вилли упражняется с ней в уанстепе, где самое главное — быстрота движений. Карл танцует с девицей из продовольственного управления; она, как лошадка в праздничной сбруе, взнуздана всякими цепочками и колечками. Он соединяет таким образом приятное с полезным. Но где же Альберт? У нашего столика его нет. Слегка смущенно он приветствует нас из дальнего угла. Он сидит там с какой-то светловолосой девушкой.

— Этот от нас отшился, — пророчески изрекает Вилли.

Я присматриваюсь к публике, выискивая для себя хорошую партнершу. Задача эта далеко не из простых: иная девица, сидя за столиком, кажется грациозной ланью, а танцует как беременная слониха. Да кроме того, хорошо танцующие дамы — нарасхват. Но мне все-таки удается сговориться с тоненькой белошвейкой.

Раздается туш. Некто с хризантемой в петлице выходит и объявляет, что прибывшие из Берлина артисты продемонстрируют сейчас новинку: фокстрот. Этого танца мы еще не знаем, только слышали о нем краем уха.

Мы с любопытством обступаем танцоров. Оркестр играет отрывистую мелодию. Под эту музыку оба танцора словно ягнята прыгают друг подле друга. Временами они расходятся, затем снова сцепляются руками и, прихрамывая, скользят по кругу. Вилли вытягивает шею и широко раскрывает глаза. Танец ему, видно, по вкусу.

Вносят стол, на котором расставлены призы, бросаемся туда. На каждый танец — уанстеп, бостон и фокстрот — имеется по три приза. Фокстрот для нас отпадает. Мы его не танцуем. Но в уанстепе и бостоне мы себя покажем — только держись!

Во всех трех случаях первый приз на выбор: десяток яиц чайки либо бутылка водки. Вилли с недоверчивой миной осведомляется, съедобны ли яйца чайки. Успокоенный, он возвращается к нам. Второй приз — полдюжины таких же яиц или шапочка из чистой шерсти. Третий приз — четыре яйца или коробка сигарет «Слава Германии».

— Уж сигарет-то мы этих ни в коем случае не возьмем, — говорит Карл, который знает толк в куреве.

Конкурс начинается. На бостон мы намечаем Карла и Альберта, на уанстеп Вилли и меня. На Вилли мы, правду сказать, мало надеемся. Он может победить лишь в том случае, если члены жюри обладают чувством юмора. Но где это видано, чтобы судьи, пусть даже присуждающие призы за танец, обладали этим бесценным качеством!

В бостоне Карл и Альберт и еще три пары выходят в последний, решающий тур. Карл идет первым. Высокий воротник его парадного мундира, его лаковые сапоги в сочетании с цепочками и колечками его лошадки создают картину такой умопомрачительной элегантности, против которой никто не может устоять. По манере держаться, по стилю танца Карл единственный в своем роде, но изяществом движений Альберт по меньшей мере не уступит ему. Члены жюри делают заметки, точно у Вальдмана происходит решительная схватка перед страшным судом. Карл выходит победителем и берет десяток яиц чайки, а не водку. Ему слишком хорошо известна ее марка: эту водку он сам поставлял сюда. Великодушно дарит он нам свою добычу, — дома у него есть вещи получше. Альберт получает второй приз. Смущенно поглядев на нас, он относит шесть яиц светловолосой девушке. Вилли многозначительно посвистывает.

В уанстепе я вихрем вылетаю в круг с моей тоненькой белошвейкой и тоже прохожу в заключительный тур. К моему удивлению, Вилли просто остался за столиком и даже не записался на уанстеп. В последнем туре я блеснул собственным особым вариантом с приседаниями и попятным движением, чего я прежде не показывал. Малютка танцевала как перышко, и мы с ней заработали второй приз, который и поделили между собой.

Гордо, с почетным серебряным значком Всегерманского союза танцевального спорта, возвращаюсь я к нашему столику.

— Эх, Вилли, голова баранья, — говорю я, — и чего ты сидел? Ну, попытался бы. Может, и получил бы бронзовую медаль!

— Да, в самом деле, Вилли, почему ты не танцевал? — присоединяется ко мне Карл.

Вилли встает, расправляет плечи, одергивает свой фрак и, глядя на нас свысока, бросает:

— Потому!

Человек с хризантемой в петлице вызывает участников конкурса на фокстрот. Выходит всего несколько пар. Вилли не идет, а можно сказать, выступает, направляясь к танцевальной площадке.

— Он ведь ни черта не смыслит в фокстроте, — прыскает Карл.

Облокотившись о спинки наших стульев, с любопытством ждем мы, что будет. Навстречу Вилли выходит укротительница львов. Широким жестом он подает ей руку. Оркестр начинает играть.

Вилли мгновенно преображается. Теперь это уже настоящий взбесившийся верблюд. Он подскакивает, прихрамывает, прыгает, кружится, далеко выбрасывает ноги и немилосердно швыряет во все стороны свою даму, потом мелкими прыжками, как галопирующая свинья, мчится через весь зал, держа цирковую наездницу не перед собой, а рядом, так что она словно карабкается по его вытянутой правой руке, он же, имея полную свободу действий с левой стороны, может выделывать все что угодно, без риска отдавить ей ноги. Он вертится на одном месте, изображая карусель, отчего фалды его фрака горизонтально распластываются в воздухе; в следующее мгновение Вилли уже несется по залу, грациозно подпрыгивая, как козел, которому подложили перцу под хвост, топочет и кружится словно одержимый и заканчивает наконец свой танец жутким пируэтом, высоко кружа в воздухе свою даму.

Никто из присутствующих не сомневается, что перед ними неизвестный дотоле мастер показывает свое искусство в сверхфокстроте. Вилли понял, в чем заключается успех, и не зевает. Победа его настолько убедительна, что после него долго никому не присуждают призов, и только спустя некоторое время кто-то получает второй приз. С триумфом подносит нам Вилли свою бутылку водки. Победа, правда, не далась ему даром: он до того вспотел, что рубашка и жилет почернели, а фрак, пожалуй, посветлел.

Конкурс кончился, но танцы продолжаются. Мы сидим у своего столика, распивая приз, полученный Вилли. В нашей компании не хватает только Альберта, Его не оторвать от светловолосой девушки.

Вилли толкает меня в бок:

— Смотри, вон Адель.

— Где? — живо спрашиваю я.

Большим пальцем Вилли указывает в самую сутолоку зала. Да, это Адель. Она танцует вальс с каким-то долговязым брюнетом.

— Давно она здесь? — Меня интересует, видела ли она наш триумф.

— Минут пять как пришла, — отвечает Вилли.

— С этим дылдой?

— С этим дылдой.

Танцуя, Адель слегка откидывает голову. Одну руку она положила на плечо своему брюнету. Когда я смотрю на нее в профиль, у меня захватывает дыхание: так она похожа в свете занавешенных ламп на образ из моих воспоминаний о тех далеких вечерах. Но если смотреть на нее прямо, видно, что она пополнела, а когда она смеется, лицо у нее совсем чужое.

Я отпиваю большой глоток из бутылки Вилли. В эту минуту мимо меня проходит в вальсе тоненькая белошвейка. Она тоньше и грациознее Адели. Тогда, на улице, в тумане, я этого не заметил, но Адель стала настоящей женщиной, с полной грудью и крепкими ногами. Я не могу вспомнить, была ли она и раньше такой; вероятно, я не обращал на это внимания.

— Налилось яблочко, а? — словно угадав мои мысли, говорит Вилли.

— Заткни глотку! — огрызаюсь я.

Вальс окончен. Адель стоит, прислонившись к двери. Я направляюсь к ней. Она здоровается со мной кивком головы, продолжая смеяться и болтать со своим брюнетом.

Я останавливаюсь и смотрю на нее. Сердце бьется, как перед каким-то важным решением.

— Что ты так смотришь на меня? — спрашивает она.

— Так, ничего, — говорю я. — Потанцуем?

— Ближайший танец — нет, а следующий — пожалуйста, — отвечает она и выходит со своим спутником в круг танцующих.

Я жду, пока они освободятся, и мы танцуем с ней бостон. Я очень стараюсь, и она улыбкой выражает свое одобрение.

— Это ты на фронте научился так хорошо танцевать?

— Пожалуй, там этому не научишься, — говорю я. — А знаешь, мы только что взяли приз.

Она метнула в меня быстрым взглядом:

— Жаль. Мы могли вдвоем с тобой взять его. А какой приз?

— Яйца чайки, шесть штук, и медаль, — отвечаю я. Меня вдруг бросает в жар. Скрипки играют так тихо, что слышно шарканье ног по паркету. — Сейчас вот мы с тобой здесь танцуем,

а помнишь, как по вечерам мы бегали друг за другом после гимнастики?

Она кивает:

— Мы тогда были еще совсем детьми. Эрнст, посмотри-ка на ту девушку в красном. Видишь? Эти блузы с напуском сейчас последний крик моды. Шикарно, а?

Мелодия переходит от скрипок к виолончели. Дрожа, как сдерживаемое рыдание, льются густо-золотые звуки.

— Когда я в первый раз заговорил с тобой, мы убежали друг от друга. Это было в июне, на городском валу, я помню, как сейчас…

Адель машет кому-то, затем поворачивается ко мне:

— Да, какие мы были глупые!.. А ты танцуешь танго? У этого брюнета оно замечательно получается.

Я не отвечаю. Оркестр умолк.

— Не хочешь ли присесть к нашему столику?

Она бросает туда взгляд:

— А кто этот стройный молодой человек в лаковых сапогах?

— Карл Дарк, — говорю я.

Она присаживается к нам. Вилли наливает, ей стакан вина и при этом отпускает остроту. Она смеется и посматривает на Карла. Временами взгляд ее скользит по его нарядной лошадке. Это и есть та самая девушка в модном платье. Я с изумлением смотрю на Адель: как она изменилась! Может быть, и здесь меня обмануло воспоминание? Может быть, оно так махрово разрослось, что заслонило собой действительность? Здесь у столика сидит чужая, несколько шумная девушка, которая много, слишком много говорит. Но не скрывается ли под этим внешним обликом другое существо, более знакомое мне? Возможна ли такая перемена в человеке оттого, что он стал старше? Может быть, действительно виновато время, думаю я. С тех пор прошло больше трех лет; ей было шестнадцать, когда мы расстались, она была ребенком, теперь ей — девятнадцать, и она взрослая женщина. И вдруг меня охватывает несказанная печаль, которую несет в себе время; оно течет и течет, и меняется, а когда оглянешься, ничего от прежнего уже не осталось. Да, прощание всегда тяжело, но возвращение иной раз еще тяжелее.

— Что у тебя за лицо, Эрнст? В животе урчит, что ли? — спрашивает Вилли.

— Он скучный, — смеется Адель, — он всегда был таким. Ну, будь же немного побойчее! Девушкам это больше нравится. Сидишь как надгробный памятник.

Ушло безвозвратно, думаю я, и это тоже ушло безвозвратно. Не потому, что Адель флиртует с брюнетом и с Карлом Дарком,

не потому, что она находит меня скучным, не потому, что она стала иной, — нет! Я попросту увидел, что все бесполезно. Я бродил и бродил кругом, я стучался во все двери моей юности, я вновь хотел проникнуть туда, я думал: почему бы ей, моей юности, не впустить меня, — ведь я еще молод, и мне так хотелось бы забыть эти страшные годы. Но она, моя юность, ускользала от меня, как фата-моргана, она беззвучно разбивалась, распадалась, как тлен, стоило мне прикоснуться к ней; я никак не мог этого постичь, мне все думалось, что хоть здесь, по крайней мере, что-нибудь да осталось, и я вновь и вновь стучался во все двери, но был жалок и смешон в своих попытках, и тоска овладевала мной; теперь я знаю, что и в мире воспоминаний свирепствовала война, неслышная, безмолвная, и что бессмысленно продолжать поиски. Время зияющей пропастью легло между мной и моей юностью, мне нет пути назад, мне остается одно: вперед, куда-нибудь, куда — не знаю, цели у меня пока еще нет.

Рука судорожно сжимает рюмку; я поднимаю глаза. Адель сидит и настойчиво расспрашивает Карла, где бы раздобыть несколько пар шелковых чулок; танцы все еще продолжаются, и оркестр играет все тот же шубертовский вальс, и сам я все так же сижу на стуле и дышу, и живу, как прежде, но разве не ударила молния, сразив меня, разве только что не рассыпался в прах целый мир, а я выжил, на этот раз безвозвратно потеряв все…

Адель встает и прощается с Карлом.

— Итак, значит, у «Майера и Никеля», — весело говорит она. — Это верно: они действительно торгуют из-под полы всякой всячиной. Завтра же зайду туда. До свидания, Эрнст.

— Я провожу тебя немного, — говорю я.

На улице она подает мне руку:

— Дальше со мной нельзя. Меня ждут.

Я отлично понимаю, что это глупо и сентиментально, но ничего не могу с собой поделать: я снимаю фуражку и кланяюсь низко-низко, будто прощаюсь навеки — не с Аделью, а со своим прошлым. С секунду она пристально смотрит на меня:

— Ты действительно иногда чудной какой-то…

И, напевая, она бегом спускается вниз по дороге.

Облака рассеялись, и ясная ночь лежит над городом. Я долго гляжу вдаль, затем возвращаюсь в ресторан.

4

Сегодня в ресторане Конерсмана, в большом зале, первая встреча наших однополчан. Приглашены решительно все. Предстоит большое торжество.

Карл, Альберт, Гард и я пришли на целый час раньше

назначенного времени. Так хочется повидать знакомые лица, что мы едва дождались этого дня.

В ожидании Вилли и всех остальных усаживаемся в кабинете, смежном с большим залом. Только что мы собрались было сыграть партию в кости, как хлопнула дверь и вошел Фердинанд Козоле. Кости выпадают у нас из рук — до того мы поражены его видом. Он — в штатском.

До сих пор он, как почти все мы, продолжал носить старую солдатскую форму, сегодня же, по случаю торжества, впервые вырядился в штатское платье и теперь красуется перед нами в синем пальто с бархатным воротником, в зеленой шляпе и в крахмальном воротничке с галстуком. Совсем другой человек.

Не успеваем мы прийти в себя от удивления, как появляется Конор. Его тоже мы в первый раз видим в штатском: полосатый пиджак, желтые полуботинки, в руках тросточка с серебряным набалдашником. Высоко подняв голову, он важно шествует по залу. Натолкнувшись на Козоле, он в удивлении останавливается. Козоле изумлен не меньше. И тот и другой иначе себе друг друга даже не представляли, как только в солдатской форме. С секунду они разглядывают друг друга, потом разражаются хохотом. В штатском они кажутся друг другу невероятно смешными.

— Послушай, Фердинанд, я всегда думал, что ты человек порядочный, — зубоскалит Конор.

— А что такое? — Козоле, сразу насторожившись, перестает смеяться.

— Да вот… — Конор тычет пальцем в пальто Фердинанда. — Сразу видно, что куплено у старьевщика.

— Осел! — свирепо шипит Козоле и отворачивается; но мне видно, как он краснеет.

Глазам своим не верю: Козоле и впрямь смущен и украдкой оглядывает свое пальто. Будь он в солдатской шинели, он никогда не обратил бы на это внимания; теперь же он потертым рукавом счищает с пальто несколько пятнышек и долго смотрит на Карла, одетого в новенький превосходный костюм. Он не замечает, что я слежу за ним. Через некоторое время он обращается ко мне:

— Скажи, кто отец Карла?

— Судья, — отвечаю я.

— Так, так… — тянет он задумчиво. — А Кайла?

— Податной инспектор.

— Боюсь, вы скоро не захотите знаться с нами — говорит он, помолчав.

— Ты с ума сошел, Фердинанд! — восклицаю я.

Он пожимает плечами. Я удивляюсь все больше и больше. Он

не только внешне изменился в этом проклятом штатском барахле, но и в самом деле стал другим. До сих пор ему наплевать было на всякую такую ерунду, теперь же он даже снимает пальто и вешает его в самый темный угол зала.

— Что-то жарко здесь, — с досадой говорит он, поймав мой взгляд. Я киваю. Помолчав, он спрашивает угрюмо:

— Ну, а твой отец кто?

— Переплетчик, — говорю я.

— В самом деле? — Козоле оживляется. — А Альберта?

— У него отец умер. Слесарем был.

— Слесарем! — радостно повторяет Козоле, как будто это по крайней мере папа римский. — Слесарь, это замечательно! А я токарь. Мы были бы коллегами.

— Совершенно верно, — подтверждаю я.

Я вижу, как кровь Козоле-солдата начинает возвращаться к Козоле-штатскому. Он словно свежеет и крепнет.

— Да, жаль, что он умер. Бедный Альберт, — говорит Козоле, и когда Конор, проходя мимо, опять корчит презрительную мину, он, ни слова не говоря и не поднимаясь с места, ловко награждает его пинком. Это опять прежний Козоле.

Дверь в большой зал хлопает все чаще. Народ понемногу собирается. Мы идем туда. Пустое помещение, украшенное гирляндами бумажных цветов, уставленное пока еще не занятыми столиками, кажется холодным и неуютным. Наши однополчане собираются группками по углам. Вон Юлиус Ведекамп в своей старой простреляннной солдатской куртке. Отодвигая стоящие на дороге стулья, быстро пробираюсь к нему.

— Как живешь, Юлиус? — спрашиваю я. — А за тобой должок, не забыл? Крест из красного дерева! Помнишь, ты обещал смастерить для меня из крышки от рояля ладный крестик? Пока что можно отложить, старина!

— Он бы мне самому пригодился, Эрнст, — печально говорит Юлиус. — У меня жена умерла.

— Черт возьми, Юлиус, а что с ней было?

Он пожимает плечами:

— Извелась, верно, постоянным стоянием в очередях зимой, тут подоспели роды, а у нее уж не хватило сил перенести их.

— А ребенок?

— И ребенок умер. — Юлиус подергивает своими искривленными плечами, словно его лихорадит. — Да, Эрнст, и Шефлер умер. Слышал?

Я отрицательно качаю головой.

— А с ним что случилось?

Ведекамп закуривает трубку:

— Он ведь в семнадцатом был ранен в голову, так? Тогда все это великолепно зажило. А месяца полтора назад у него вдруг начались такие отчаянные боли, что он головой об стенку бился. Мы вчетвером едва с ним сладили, отвезли в больницу. Воспаление там какое-то нашли или что-то в этом роде. На следующий день кончился.

Юлиус подносит спичку к погасшей трубке:

— А жене его даже и пенсию не хотят платить…

— Ну, а как Герхард Поль? — продолжаю я расспрашивать.

— Ему не на что было приехать. Фасбендеру и Фриче — тоже. Без работы сидят. Даже на жратву не хватает. А им очень хотелось поехать, беднягам.

Зал тем временем заполняется. Пришло много наших товарищей по роте, но странно: настроение почему-то не поднимается. А между тем мы давно с радостным нетерпением ждали этой встречи. Мы надеялись, что она освободит нас от какого-то чувства неуверенности и гнета, что она поможет нам разрешить наши недоумения. Возможно, что во всем виноваты штатские костюмы, вкрапленные то тут, то там в гущу солдатских курток, возможно, что клиньями уже втесались между нами разные профессии, семья, социальное неравенство, — так или иначе, а товарищеской спайки, прежней, настоящей, больше нет.

Роли переменились. Вот сидит Боссе, ротный шут. На фронте был общим посмешищем, всегда строил из себя дурачка. Ходил вечно грязный и оборванный и не раз попадал у нас под насос. А теперь на нем безупречный шевиотовый костюм, жемчужная булавка в галстуке и щегольские гетры. Это — зажиточный человек, к слову которого прислушиваются… А рядом — Адольф Бетке, который на фронте был на две головы выше Боссе, и тот бывал счастлив, если Бетке вообще с ним заговаривал. Теперь же Бетке лишь бедный маленький сапожник с крохотным крестьянским хозяйством. На Кайле Брайере вместо лейтенантской формы потертый гимназический мундир, из которого он вырос, и сдвинувшийся набок вязаный школьный галстучек. А бывший денщик Кайла покровительственно похлопывает его по плечу, — он опять владелец крупной мастерской по установке клозетов, контора его — на бойкой торговой улице, в самом центре города. У Бера под рваной и незастегнутой солдатской курткой синий в белую полоску свитер; вид самого настоящего бродяги. А что это был за солдат! Леддерхозе, гнусная морда, — до чего важно он, попыхивая английской сигаретой, развалился на стуле в своей ермолке и желтом канареечном плаще! Как все перевернулось!

Но это было бы еще сносно. Плохо то, что и тон стал совсем

другим. И всему виной эти штатские костюмы. Люди, которые прежде пискнуть не осмеливались, говорят теперь начальственным басом. Те, что в хороших костюмах, усвоили себе какой-то покровительственный тон, а кто победнее — как-то притих. Преподаватель гимназии, бывший на фронте унтер-офицером, да вдобавок плохим, с видом превосходства осведомляется у Кайла и Карла, как у них обстоит дело с выпускным экзаменом. Кайлу следовало бы вылить ему за это его же кружку пива за воротник. К счастью, Карл говорит что-то весьма пренебрежительное насчет экзаменов и образования вообще, превознося зато коммерцию и торговлю.

Я чувствую, что сейчас заболею от всей этой болтовни. Лучше бы нам совсем не встречаться: сохранили бы, по крайней мере, хорошие воспоминания. Напрасно я стараюсь представить себе этих людей в замызганных, заскорузлых шинелях, а ресторан Конерсмана — трактиром в прифронтовой полосе. Мне это не удается. Факты сильнее. Чуждое побеждает. Все, что связывало нас, потеряло силу, распалось на мелкие индивидуальные интересишки. Порой как будто и мелькнет что-то от прошлого, когда на всех нас была одинаковая одежда, но мелькнет уже неясно, смутно. Вот передо мной мои боевые товарищи, но они уже и не товарищи, и оттого так грустно. Война все разрушила, но в солдатскую дружбу мы верили. А теперь видим: чего не сделала смерть, то довершает жизнь, — она разлучает нас.

Но мы не хотим верить этому. Усаживаемся за один столик: Кайл, Альберт, Карл, Адольф, Бер, Вилли. Настроение подавленное.

— Давайте хоть мы-то будем крепко держаться друг друга, — говорит Альберт, обводя взглядом просторный зал.

Мы горячо откликаемся на слова Альберта и рукопожатиями скрепляем обещание, а в это время в другом конце зала происходит такое же объединение хороших костюмов. Мы не принимаем намечающегося здесь нового порядка отношений. Мы кладем в основу то, что другие отвергают.

— Руку, Адольф! Давай, старина! — обращаюсь я к Бетке.

Он улыбается, впервые за долгое время, и кладет свою лапищу на наши руки.

Некоторое время мы еще сидим своей компанией. Только Адольф Бетке ушел. У него был плохой вид. Я решаю непременно навестить его в ближайшие же дни.

Появляется кельнер и о чем-то шепчется с Конором. Тот отмахивается:

— Дамам здесь делать нечего.

Мы с удивлением смотрим на него. На лице у него

самодовольная улыбка. Кельнер возвращается. За ним быстрой походкой входит цветущая девушка. Конор сконфужен. Мы усмехаемся. Но Конор не теряется. Он делает широкий жест и представляет:

— Моя невеста.

На этом он ставит точку. Дальнейшие заботы сразу берет на себя Вилли. Он представляет невесте Конора всех нас, начиная с Кайла и кончая собой. Затем приглашает гостью присесть. Она садится. Вилли садится рядом и кладет руку на спинку ее стула.

— Так ваш папаша владелец знаменитого магазина конского мяса на Новом канале? — завязывает он разговор.

Девушка молча кивает. Вилли придвигается ближе. Конор не обращает на это никакого внимания. Он невозмутимо прихлебывает свое пиво. От остроумных и проникновенных речей Вилли девушка быстро тает.

— Мне так хотелось познакомиться с вами, — щебечет она. — Котик так много рассказывал мне о вас, но сколько я ни просила привести вас, он всегда отказывался.

— Что? — Вилли бросает на Конора уничтожающие взгляды. — Привести нас? Да мы с удовольствием придем; право, с превеликим удовольствием. А он, мошенник, и словечком не обмолвился.

Конор несколько обеспокоен. Козоле в свою очередь наклоняется к девушке:

— Так он часто говорил вам о нас, ваш котик? А что, собственно, он рассказывал?

— Нам пора идти, Марихен, — перебивает его Конор и встает.

Козоле силой усаживает его на место:

— Посиди, котик. Что же он рассказывал вам, фройляйн?

Марихен — само доверие. Она кокетливо поглядывает на Вилли.

— Вы ведь господин Хомайер? — Вилли раскланивается перед колбасным магазином. — Так это, значит, вас он спасал? — болтает она. Конор начинает ерзать на своем стуле, точно он сидит на муравьиной куче. — Неужели вы успели забыть?

Вилли щупает себе голову:

— У меня, знаете ли, была после этого контузия, а это ведь страшно действует на память. Я, к сожалению, многое забыл.

— Спас? — затаив дыхание, переспрашивает Козоле.

— Марихен, я пошел! Ты идешь или остаешься? — говорит Конор.

Козоле крепко держит его.

— Он такой скромный, — хихикает Марихен и при этом вся

сияет, — а ведь он один убил трех негров, когда они топорами собирались зарубить господина Хомайера. Одного — кулаком…

— Кулаком, — глухо повторяет Козоле.

— Остальных — их же собственными топорами. И после этого он на себе принес вас обратно. — Марихен взглядом оценивает сто девяносто сантиметров роста Вилли и энергично кивает своему жениху: — Не стесняйся, котик, отчего бы когда-нибудь и не вспомнить о твоем подвиге.

— В самом деле, — поддакивает Козоле, — отчего бы когда-нибудь и не вспомнить…

С минуту Вилли задумчиво смотрит Марихен в глаза:

— Да, он замечательный человек… — И он кивает Конору: — А ну-ка, выйдем на минутку.

Конор нерешительно встает. Но Вилли ничего дурного не имеет в виду. Через некоторое время они, рука об руку, возвращаются обратно. Вилли наклоняется к Марихен:

— Итак, решено, завтра вечером я у вас в гостях. Ведь я должен еще отблагодарить вашего жениха за то, что он спас меня от негров. Но и я однажды спас его, был такой случай.

— Неужели? — удивленно протягивает Марихен.

— Когда-нибудь он, может быть, вам об этом расскажет.

Вилли ухмыляется. Облегченно вздохнув, Конор отчаливает вместе со своей Марихен.

— Дело в том, что у них завтра убой, — начинает Вилли, но его никто не слушает. Мы слишком долго сдерживались и теперь ржем, как целая конюшня голодных лошадей. Фердинанда едва не рвет от хохота. Только через некоторое время Вилли удается наконец рассказать нам, какие выгодные условия выговорил он у Конора на получение конской колбасы.

— Малый теперь в моих руках, — говорит он с самодовольной улыбкой.

5

Я целый день сидел дома, пытаясь взяться за какую-нибудь работу. Но из этого так-таки ничего не вышло, и вот уже целый час я бесцельно брожу по улицам. Прохожу мимо «Голландии». «Голландия» — третий ресторан с подачей спиртных напитков, открытый за последние три недели. Точно мухоморы, на каждом шагу вырастают среди серых фасадов домов эти заведения со своими ярко раскрашенными вывесками. «Голландия» — самое большое и изысканное из них.

У освещенных стеклянных дверей стоит швейцар, похожий не то на гусарского полковника, не то на епископа, огромный детина с позолоченным жезлом в руках. Я всматриваюсь пристальней, и тут вдруг вся важная осанка епископа покидает его, он тычет мне

в живот своей булавой и смеется:

— Здорово, Эрнст, чучело гороховое! Коман са ва, как говорят французы?

Это унтер-офицер Антон Демут, наш бывший кашевар. Я по всем правилам отдаю ему честь, ибо в казарме нам вдолбили, что честь отдается мундиру, а не тому, кто его носит. Фантастическое же одеяние Демута очень высокой марки и стоит того, чтобы по меньшей мере вытянуться перед ним во фронт.

— Мое почтение, Антон, — смеюсь я. — Скажи-ка сразу, дабы не болтать о пустяках: жратва есть?

— Есть, малютка! — отвечает Антон. — Видишь ли, в этом злачном местечке работает и Франц Эльстерман. Поваром!

— Когда зайти? — спрашиваю я; последнего сообщения вполне достаточно, чтобы уяснить себе ситуацию. На всем французском фронте никто не мог так «проводить реквизицию», как Эльстерман и Демут.

— Сегодня, после часа ночи, — отвечает, подмигивая, Антон. — Через одного инспектора интендантского управления мы получили дюжину гусей. Краденый товар. Можешь не сомневаться, Франц Эльстерман подвергнет их небольшой предварительной операции. Кто может сказать, что у гусей не бывает войны, на которой они, скажем, лишаются ног?

— Никто, — соглашаюсь я и спрашиваю: — Ну, а как здесь дела?

— Каждый вечер битком набито. Желаешь взглянуть?

Он чуть-чуть отодвигает портьеру. Я заглядываю в щелку. Мягкий, теплый свет разлит над столами, синеватый сигарный дым лентами стелется в воздухе, мерцают ковры, блестит фарфор, сверкает серебро. У столиков, окруженных толпой кельнеров, сидят женщины и рядом с ними мужчины, которые не потеют, не смущаются и с завидной самоуверенностью отдают распоряжения.

— Да, брат, невредно повозиться с такой, а? — говорит Антон, игриво ткнув меня в бок.

Я не отвечаю; этот многокрасочный, в легком облаке дыма, осколок жизни странно взбудоражил меня. Мне кажется чем-то нереальным, почти сном, что я стою здесь, на темной улице, в слякоти, под мокрым снегом, и смотрю в щелку на эту картину. Я пленен ею, нисколько не забывая, что это, вероятно, просто кучка спекулянтов сорит деньгами. Но мы слишком долго валялись в окопной грязи, и в нас невольно вспыхивает порой лихорадочная, почти безумная жажда роскоши и блеска, — ведь роскошь — это беззаботная жизнь, а ее-то мы никогда и не знали.

— Ну что? — спрашивает меня Антон. — Недурны кошечки, верно? Таких бы в постельку, а?

Я чувствую, как это глупо, но в эту минуту не нахожу, что ответить. Этот тон, который сам я, не задумываясь, поддерживаю вот уже несколько лет, представляется мне вдруг грубым и отвратительным. На мое счастье, Антон неожиданно застывает, приосанившийся и важный: к ресторану подкатил автомобиль. Из машины выпорхнула стройная женская фигурка; слегка наклонившись вперед и придерживая на груди шубку, женщина направляется к двери; на блестящих волосах — плотно прилегающий золотой шлем, колени тесно сдвинуты, ножки маленькие, лицо тонкое. Легкая и гибкая, она проходит мимо меня, овеянная нежным, терпким ароматом. И вдруг меня охватывает бешеное желание пройти вместе с этим полуребенком через вращающуюся дверь, очутиться в ласкающей холеной атмосфере красок и света и двигаться беззаботно в этом мире, защищенном стеной кельнеров, лакеев и непроницаемым слоем денег, вдали от нужды и грязи, которые в течение многих лет были нашим хлебом насущным.

В эту минуту я, вероятно, похож на школьника, потому что у Антона Демута вырывается смешок и он, подмигнув, подталкивает меня в бок:

— Кругом в шелку и бархате, а в постели все едино.

— Конечно, — говорю я и отпускаю какую-то сальность, чтобы скрыть от Антона свое состояние. — Итак, до часу, Антон!

— Есть, малютка, — важно отвечает Антон, — или бон суар, как говорят французы.

Бреду дальше, глубоко засунув руки в карманы. Под ногами хлюпает мокрый снег. С раздражением разбрасываю его. Что бы я делал, очутись я на самом деле рядом с такой женщиной за столиком? Лишь молча пожирал бы ее глазами, и только. Я даже не мог бы есть от смущения. Как трудно, должно быть, провести с таким созданием целый день! Все время, все время быть начеку! А ночью… Тут я уж совсем растерялся бы. Правда, мне приходилось иметь дело с женщинами, но я учился этой науке у Гарда и Бера, а с такими дамами, наверно, совсем не то нужно…

В июне 1917 года я впервые был у женщины. Рота наша квартировала тогда в бараках. Был полдень; мы кубарем катались по лугу, играя с двумя приставшими к нам по дороге щенками. Навострив уши и поблескивая шелковистой шерстью, собаки резвились в летней высокой траве, небо синело, и война, казалось, отодвинулась далеко.

Вдруг из канцелярии примчался Гард. Собаки бросились к нему навстречу, высоко подпрыгивая. Он отпихнул их и крикнул нам:

— Получен приказ: сегодня ночью выступаем!

Мы знали, чем это пахнет. День за днем с запада доносился грохот ураганного огня; там шло большое наступление; день за днем мимо нас проходили возвращавшиеся с передовых позиций полки, и когда мы пытались расспросить какого-нибудь солдата, как там, он молча махал рукой, угрюмо глядя вперед: день за днем по утрам катились мимо нас повозки с ранеными, и день за днем мы рыли по утрам длинные ряды могил…

Мы поднялись. Бетке и Веслинг направились к своим ранцам взять почтовой бумаги. Вилли и Конор побрели к походной кухне, а Франц Вагнер и Гард принялись уговаривать меня сходить с ними в бордель.

— Послушай, Эрнст, — говорил Вагнер, — должен же ты наконец узнать, что такое женщина! Завтра, может быть, от нас ничего не останется: там, говорят, подсыпали гору артиллерийских припасов. Глупо отправляться на тот свет целомудренной девственницей.

Прифронтовой публичный дом находился в маленьком городишке, на расстоянии часа ходьбы. Мы получили пропуска, но довольно долго еще прождали, так как на передовые отправлялись еще и другие полки и всем хотелось урвать напоследок от жизни все, что можно. В маленькой тесной каморке мы сдали наши пропуска. Фельдшер освидетельствовал нас, впрыснул нам по нескольку капель протаргола, дежурный фельдфебель сообщил, что удовольствие это стоит три марки и что, ввиду большого наплыва, больше десяти минут задерживаться нельзя. Затем мы выстроились в очередь на лестнице.

Очередь подвигалась медленно. Наверху хлопали двери. Как только кто-нибудь выходил, раздавалось: «Следующий!»

— Сколько там коров? — спросил Франц Вагнер у одного сапера.

— Три, — ответил тот, — но выбирать не приходится. Если повезет тебе, получишь старушенцию.

Мне едва не сделалось дурно на этой лестнице, в накаленной, затхлой атмосфере, насыщенной испарениями изголодавшихся солдат. Я охотно удрал бы, — все мое любопытство улетучилось. Но из опасения, что меня засмеют, я остался и продолжал ждать.

Наконец подошла моя очередь. Мимо, спотыкаясь, прошел мой предшественник, и я очутился в низкой и мрачной комнате, такой убогой и так пропахшей карболкой и потом, что меня почти удивила молодая листва липы за окном, в которой играли солнце и ветер. На стуле стоял таз с розовой водой, в углу — нечто вроде походной койки, покрытой рваным одеялом. Женщина была толстая, в одной коротенькой прозрачной рубашке. Она легла,

даже не посмотрев в мою сторону. Но так как я продолжал стоять, она нетерпеливо оглянулась, и тогда на ее дряблом лице мелькнула тень понимания. Она увидела, что перед ней мальчик.

Я просто не мог, меня всего трясло, я задыхался от отвращения. Женщина сделала несколько жестов, чтобы расшевелить меня, несколько безобразных, омерзительных жестов, хотела притянуть меня к себе и даже улыбнулась приторно и манерно. Она могла внушить лишь жалость: в конце концов, она была ведь только жалкой солдатской подстилкой. Были дни, когда она принимала по двадцать — тридцать солдат за день, а то и больше. Положив деньги на стол, я быстро вышел вон и пустился бегом по лестнице.

Гард подмигнул мне:

— Ну, как?

— Вещь, скажу я тебе! — ответил я тоном заправского развратника, и мы собрались уходить. Но нам пришлось предварительно снова побывать у фельдшера и получить еще одну порцию протаргола.

И это называется любовью, думал я, потрясенный и обессиленный, собирая вещи в поход, — любовью, которой полны все мои книги дома и от которой я столько ждал в своих неясных юношеских грезах! Я скатал шинель, свернул плащ-палатку, получил патроны, и мы двинулись. Я шел молча и с грустью думал о том, что от всей моей крылатой мечты о любви и жизни не осталось ничего, кроме винтовки, жирной девки да глухих раскатов на горизонте, к которым мы медленно приближались. Потом все поглотила тьма, пришли окопы, пришла смерть; Франц Вагнер пал в ту же ночь, и кроме него мы потеряли еще двадцать три человека.

С деревьев брызжет дождь, и я поднимаю воротник пальто. Я часто теперь тоскую по нежности, по робко сказанному слову, по волнующему большому чувству; мне хочется вырваться из ужасающего однообразия последних лет. Но что было бы, если бы пришло все это, если бы вновь слились воедино былая мягкость и дали прошлого, если бы меня полюбил кто-нибудь, какая-нибудь стройная нежная женщина, как то гибкое юное создание в золотом шлеме; что было бы, если бы в самом деле беспредельное, самозабвенное упоение серебристого синего вечера увлекло нас в свой чудесный сумрак? Не всплывет ли в последний миг образ жирной девки, не загогочут ли голоса наших унтеров с казарменного плаца, орущих непристойности? Не изорвут ли, не искромсают ли чистое чувство вот такие воспоминания, обрывки разговоров, солдатские вольности? Мы почти еще девственны, но воображение наше растлено, и мы даже

не заметили, как это совершилось: прежде чем мы узнали что-либо о любви, нас уже публично всех подряд подвергали медицинскому обследованию, чтобы установить, не страдаем ли мы венерическими болезнями. А затаенное дыхание, безудержный порыв, вольный ветер, сумрак, неизведанность, все, что было, когда мы шестнадцатилетними мальчиками в мигающем, неверном свете фонарей гнались за Аделью и другими школьницами, — все это никогда не повторится, даже если бы я и не побывал у проститутки и думал, что любовь нечто совсем другое, даже если бы эта женщина не вцепилась в меня и я не изведал бы судороги желания. С тех пор я всегда был подавлен.

Тяжело дыша, ускоряю шаг. Я хочу, я должен вернуть себе утраченное. Оно должно вернуться — иначе не стоит жить…

Я иду к Кайлу Брайеру. В комнате его еще горит свет. Бросаю в окно камешки. Кайл спускается вниз и отпирает дверь.

В его комнате перед ящиком с коллекцией минералов стоит Георг Рахе. Он держит в руках небольшой горный кристалл, любуясь его игрой.

— Хорошо, что мы встретились, Эрнст, — говорит Георг, улыбаясь, — я уж и домой к тебе заходил. Завтра еду.

Он в военном.

— Георг, — голос мой прерывается, — но ты ведь не собираешься?..

— Именно. — Он кивает. — Снова в солдаты! Ты не ошибся. Все уже оформлено. Завтра уезжаю.

— Ты можешь его понять? — спрашиваю я Кайла.

— Да, — отвечает Кайл, — я понимаю Георга. Но это не выход. — Он поворачивается к Рахе: — Ты разочарован, Георг, но подумай и увидишь, что это естественно. На фронте наши нервы были напряжены до крайности, ибо дело всегда шло о жизни и смерти. А теперь они треплются, как паруса в затишье, ибо здесь дело идет лишь о мелких успехах…

— Правильно, — перебивает его Рахе, — вот как раз эта мелочная грызня вокруг кормежки, карьер и нескольких на живую нитку сшитых идеалов, она-то и вызывает во мне невыносимую тошноту, от нее-то я и хочу куда-нибудь подальше.

— Если тебе уж обязательно хочется что-то предпринять, почему ты не примкнешь к революции? — спрашиваю я Георга. — Того и гляди, еще станешь военным министром.

— Ах, эта революция! — пренебрежительно отмахивается Георг. — Ее делали держа руки по швам, ее делали секретари различных партий, которые успели уже испугаться своей собственной храбрости. Ты только посмотри, как они вцепились друг другу в волосы, все эти социал-демократы, независимые,

спартаковцы, коммунисты. Тем временем кое-кто под шумок снимает головы тем действительно ценным людям, которых у них, может быть, всего-то раз, два и обчелся, а они и не замечают ничего.

— Нет, Георг, — говорит Кайл, — это не так. В нашей революции было слишком мало ненависти, это правда, и мы с самого начала хотели во всем соблюдать справедливость, оттого все и захирело. Революция должна полыхнуть, как лесной пожар, и только после него можно начать сеять; а мы захотели обновлять, не разрушая. У нас не было сил даже для ненависти, — так утомила, так опустошила нас война. А ты прекрасно знаешь, что от усталости можно и в ураганном огне уснуть… Но, быть может, еще не поздно упорным трудом наверстать то, что упущено при нападении.

— Трудом! — презрительно говорит Георг и подставляет кристалл под лампу, отчего тот начинает играть; — Мы умеем драться, но трудиться не умеем.

— Мы должны учиться работать, — спокойным голосом говорит Кайл, забившийся в угол дивана.

— Мы слишком исковерканы для этого, — возражает Георг.

Наступает молчание. За окнами шумит ветер. Рахе большими шагами ходит взад и вперед по маленькой комнате, и кажется, что ему действительно не место в этих четырех стенах, уставленных книгами, в этой обстановке тишины и труда, что его резко очерченное лицо над серым мундиром только и можно представить себе в окопах, в битве, на войне. Опершись руками о стол, он наклоняется к Кайлу. Свет лампы падает на его погоны, за спиной у него поблескивает коллекция камней.

— Кайл, — осторожно начинает он, — что мы здесь, в сущности, делаем? Оглянись по сторонам, и ты увидишь, как все немощно и безнадежно. Мы и себе и другим в тягость. Наши идеалы потерпели крах, наши мечты разбиты, и мы движемся в этом мире добродетельных людишек и спекулянтов, точно донкихоты, попавшие в чужеземную страну.

Кайл долго смотрит на него:

— Я думаю, Георг, что мы больны. Война еще слишком глубоко сидит в нас.

Рахе кивает:

— Мы от нее никогда не избавимся.

— Избавимся, — говорит Кайл, — иначе все было бы напрасно.

Рахе выпрямляется и ударяет кулаком по столу:

— Все напрасно и было, Кайл! Вот это-то и сводит меня с ума! Вспомни, как мы шли на фронт, что это была за буря

энтузиазма! Казалось, восходит заря новой жизни, казалось, все старое, гнилое, половинчатое, разрозненное сметено. Мы были такой молодежью, какой до нас никогда не бывало!

Он сжимает в кулаке кристалл, как гранату. Руки его дрожат.

— Кайл, — продолжает он, — я много валялся по окопам, и все мы, кто в напряженном ожидании сидел вокруг жалкого огарка, когда наверху, точно землетрясение, бушевал заградительный огонь, все мы были молоды; мы, однако, не были новобранцами и знали, что нас ждет. Но, Кайл, в этих лицах в полумраке подземелья было больше, чем самообладание, чем мужество, и больше, чем готовность умереть. Воля к иному будущему жила в застывших, твердых чертах, воля эта жила в них и тогда, когда мы шли в наступление, и даже тогда, когда мы умирали! С каждым годом мы затихали все больше, многое ушло, и только одна эта воля осталась. А теперь, Кайл, где она? Разве ты не видишь, что она погрязла в трясине из порядка, долга, женщин, размеренности и черт его знает, чего еще, что они здесь называют жизнью? Нет, жили мы именно тогда, и, тверди ты мне хоть тысячу раз, что ты ненавидишь войну, я все-таки скажу: жили мы тогда, потому что были вместе, потому что в нас горел огонь, означавший больше, чем вся эта мерзость здесь, вместе взятая!

Он тяжело дышит.

— Ведь было же нечто, Кайл, ради чего все это совершалось! Однажды, на одно мгновение, когда раздался клич: «Революция!», я подумал: вот оно, наконец, — освобождение, теперь поток повернет вспять и в своем мощном движении снесет старые и выроет новые берега, и — клянусь! — я не был бы в стороне! Но поток разбился на тысячу ручьев, революция превратилась в яблоко раздора вокруг карьер и карьеришек; ее загрязнили, замарали, лишили силы все эти высокие посты, интриги, склоки, семейные и партийные дела. В этом я не желаю участвовать. Я иду туда, где снова смогу найти товарищескую среду.

Кайл встает. Лоб у него покраснел. Глаза горят. Он подходит вплотную к Рахе:

— А почему все это так, Георг, почему? Потому что нас обманули, обманули так, что мы и сейчас еще не раскусили всего этого обмана! Нас просто предали. Говорилось: отечество, а в виду имелись захватнические планы алчной индустрии; говорилось: честь, а в виду имелась жажда власти и грызня среди горсточки тщеславных дипломатов и князей; говорилось: нация, а в виду имелся зуд деятельности у господ генералов, оставшихся не у дел. — Кайл трясет Рахе за плечи: — Разве ты этого не понимаешь? Слово «патриотизм» они начинили своим

фразерством, жаждой славы, властолюбием, лживой романтикой, своей глупостью и торгашеской жадностью, а нам преподнесли его как лучезарный идеал. И мы восприняли все это как звуки фанфар, возвещающие новое, прекрасное, мощное бытие! Разве ты этого не понимаешь? Мы, сами того не ведая, вели войну против самих себя! И каждый меткий выстрел попадал в одного из нас! Так слушай, — я кричу тебе в самые уши: молодежь всего мира поднялась на борьбу и в каждой стране она верила, что борется за свободу! И в каждой стране ее обманывали и предавали, и в каждой стране она билась за чьи-то материальные интересы, а не за идеалы; и в каждой стране ее косили пули, и она собственными руками губила самое себя! Разве ты не понимаешь? Есть только один вид борьбы: это борьба против лжи, половинчатости, компромиссов, пережитков! А мы попались в сети их фраз, и вместо того, чтобы бороться против них, боролись за них. Мы думали, что воюем за будущее, а воевали против него. Наше будущее мертво, ибо молодежь, которая была его носительницей, умерла. Мы лишь уцелевшие остатки ее! Но зато живет и процветает другое — сытое, довольное, и оно еще сытее и довольнее, чем когда бы то ни было! Ибо недовольные, бунтующие, мятежные умерли за него! Подумай об этом! Целое поколение уничтожено! Целое поколение надежд, веры, воли, силы, таланта поддалось гипнозу взаимного уничтожения, хотя во всем мире у этого поколения были одни и те же цели!

Голос Кайла срывается. В горящих глазах — сдержанное рыдание. Мы все вскакиваем.

— Кайл! — говорю я, обнимая его за плечи.

Рахе берет фуражку и бросает минерал в ящик:

— До свидания, Кайл, до свидания, дружище!

Кайл стоит против него. Губы у него крепко сжаты. Скулы выдаются.

— Ты уходишь, Георг, — с усилием говорит он, — а я пока остаюсь! Я еще не сдамся!

Рахе долго смотрит на него. Потом спокойно говорит:

— Это безнадежно! — и поправляет ремень.

Я провожаю Георга вниз. Через дверные щели уже просачивается свинцовый рассвет. Наши шаги гулко отдаются на каменной лестнице. Мы выходим, словно из блиндажа. Длинная серая улица пустынна. Рахе показывает на ряды домов:

— Все это окопы, Эрнст, траншеи, а не жилища… Война продолжается, но война гнусная, в одиночку…

Мы подаем друг другу руки. Я не в состоянии слово вымолвить. Рахе улыбается:

— Что с тобой, Эрнст? Да там, на востоке, и настоящего

фронта-то нет! Голов не вешать, мы же солдаты. Не в первый раз расстаемся…

— В первый, Георг, — живо возражаю я, — мне кажется, что мы расстаемся в первый раз…

С минуту еще он стоит передо мной. Затем медленно кивает мне и уходит. Георг идет по ведущей под гору улице, не оглядываясь, стройный, спокойный, и еще долго после того, как он скрывается, я слышу его шаги.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

Относительно выпускного экзамена есть распоряжение: фронтовиков спрашивать со всей возможной снисходительностью. Распоряжение это действительно выполняется. Поэтому мы все до единого выдерживаем. Для следующей группы, куда входят Альберт и Кайл, экзамен будет через три месяца. Им придется еще торчать в школе, хотя и тот и другой написали за четырех из нас все письменные работы.

Через несколько дней после окончания нам дали назначение в окрестные деревни в качестве временных заместителей на свободные учительские должности. Я рад работе. Мне надоело бесцельно слоняться целыми днями. Безделие приводило лишь к вечному самокопанию, к тоске или к шумливой бессмысленной распущенности. Теперь я буду работать.

Уложив чемоданы, мы вместе с Вилли отправляемся к месту службы. Нам повезло: мы с ним оказались соседями. Деревни, где нам предстоит учительствовать, находятся меньше чем в часе ходьбы одна от другой.

Меня поселили в старой крестьянской усадьбе. Перед окнами — огромные дубы, из хлева доносится кроткое блеяние овец. Хозяйка усаживает меня в кресло с высокой спинкой и первым делом накрывает на стол. Она убеждена, что все горожане чуть ли не умирают с голоду, и в сущности она недалека от истины. С тихим умилением смотрю я, как на столе появляются давно забытые вещи: огромный окорок, почти метровые колбасы, белоснежный пшеничный хлеб и столь почитаемые Конором гречневые плюшки с большим глазком сала посредине. Плюшек навалена здесь такая гора, что их хватило бы на целую роту.

Я начинаю уплетать все подряд, а крестьянка, упершись руками в бока и широко улыбаясь, стоит тут же и не нарадуется, глядя на меня. Через час, охая и вздыхая, я вынужден закончить, как ни уговаривает меня тетушка Шомакер продолжать.

В эту минуту появляется Вилли, который зашел меня проведать.

— Ну, тетушка Шомакер, теперь откройте глаза, да

пошире, — говорю я, — вот это будет достойное зрелище. По сравнению с этим парнем я просто младенец.

Вилли знает, что ему, как солдату, следует делать. Он долго не размышляет, он действует сразу. После немногословного приглашения тетушки Шомакер Вилли начинает с плюшек. Когда он добирается до сыра, хозяйка, прислонившись к шкафу и широко раскрыв глаза, смотрит на Вилли, как на восьмое чудо света. В восторге тащит она на стол еще большое блюдо с пудингом; Вилли справляется и с ним.

— Так, — говорит он, отдуваясь, — а вот теперь я бы с удовольствием как следует поужинал.

Этой фразой Вилли навсегда покорил сердце тетушки Шомакер.

Смущенно и несколько неуверенно сижу я на кафедре. Передо мной сорок ребят. Это самые младшие. Точно выровненные под одну линейку, сидят они на восьми скамьях, ряд за рядом, держа в пухлых ручонках грифели и пеналы и разложив перед собой тетради и аспидные доски. Самым маленьким — семь лет, самым старшим — десять. В школе всего три классные комнаты, поэтому в каждой из них соединено по нескольку возрастов.

Деревянные башмаки шаркают по полу. В печке потрескивает торф. Многие ребята живут в двух часах ходьбы от школы и приходят закутанные в шерстяные шарфы, с кожаными ранцами на плечах. Вещи их промокли, и теперь, в перегретом, сухом воздухе класса, от них идет пар.

Круглые, как яблоки, лица малышей обращены ко мне. Несколько девочек украдкой хихикают. Белокурый мальчуган самозабвенно ковыряет в носу. Другой, спрятавшись за спину сидящего впереди товарища, засовывает в рот толстый ломоть хлеба с маслом. Но все внимательно следят за каждым моим движением.

С неприятным чувством ерзаю я на своем стуле за кафедрой. Неделю назад я еще сам сидел на школьной скамье и созерцал плавные затасканные жесты Холлермана, рассказывавшего о поэтах эпохи освободительных войн. А теперь я сам стал таким же Холлерманом. Но крайней мере для тех, кто сидит передо мной.

— Дети, — говорю я, подходя к доске, — мы сейчас напишем большое латинское «Л». Десять строчек «Л», затем пять строчек «Лина» и пять строчек «Ласточка».

Я медленно вывожу мелом буквы и слова на доске. За спиной слышу шорохи и шуршание. Я жду, что меня поднимут на смех, и оборачиваюсь. Но это ребята открыли свои тетради и приладили

аспидные доски — ничего больше. Сорок детских головок послушно склонилось над заданием. Я прямо-таки поражен.

Скрипят грифели, царапают перья. Я хожу взад и вперед между скамьями.

На стене висят распятие, чучело совы и карта Германии. За окнами без конца проносятся низкие тучи.

Карта Германии раскрашена двумя красками: зеленой и коричневой. Границы заштрихованы красным; странной зигзагообразной линией бегут они сверху вниз. Кельн — Ахен, вот и тонкие черные нити железных дорог… Гербесталь, Льеж, Брюссель, Лилль. Я становлюсь на цыпочки… Рубе… Аррас, Остенде. А где же Кеммель? Он вовсе и не обозначен… Но вот Лангемарк, Ипр, Биксшоте, Стаден… Какие они крохотные на карте, малюсенькие точки, тихие, малюсенькие точки… А как там гремело небо и сотрясалась земля тридцать первого июля при попытке большого прорыва, когда мы за один день потеряли всех наших офицеров…

Отворачиваюсь от карты и оглядываю светлые и темные головки, усердно склоненные над словами «Лина» и «Ласточка». Не странно ли: для них эти крохотные точки на карте будут лишь заданными уроками, несколькими новыми названиями местностей и несколькими новыми датами для зубрежки на уроках всеобщей истории, вроде дат Семилетней войны или битвы в Тевтобургском лесу.

Во втором ряду вскакивает карапуз и высоко поднимает над головой тетрадь. У него готовы все двадцать строчек. Я подхожу к нему и показываю, что нижний завиток буквы «Л» у него чересчур широк. Взгляд влажных детских глаз так лучезарен, что на мгновение я опускаю глаза. Быстро иду я к доске и пишу опять два слова, уже с новой заглавной буквой: «Карл» и… рука моя на секунду задерживается, но я не в силах побороть себя, словно другая, невидимая рука выводит за меня: «Кеммель».

— Что такое «Карл?» — спрашиваю я.

Поднимается лес рук.

— Человек! — кричит тот самый карапуз.

— А Кеммель? — спрашиваю я, помолчав, и тоска сжимает сердце.

Молчание. Наконец одна девочка поднимает руку.

— Это из библии, — нерешительно произносит она.

Некоторое время я не спускаю с нее глаз.

— Нет, — отвечаю я, — ты ошиблась. Ты, наверно, думала Кедрон или Ливан, не правда ли?

— Ну, тогда напишем лучше «Ливан». Это очень красивое слово.

Я опять задумчиво хожу взад и вперед между скамьями. По временам чувствую на себе пытливый взгляд, направленный из-за тетрадки. Останавливаюсь у печки и оглядываю детские лица. Большинство выражает благонравие и посредственность, некоторые плутоваты, другие глупы, но попадаются лица, в которых светится что-то яркое. Этим в жизни не все будет казаться само собой понятным, у них не все будет идти гладко…

Внезапно чувствую приступ душевной слабости. Вот завтра мы пройдем местоимения, думаю я, а на следующей неделе напишем диктант; через год вы будете знать наизусть пятьдесят вопросов из катехизиса, через четыре года начнете таблицу умножения второго десятка; вы вырастете, и жизнь возьмет вас в свои тиски; у одних она потечет глуше, у других порывистей, у одних — ровно, у других — ломая и круша; каждого из вас постигнет своя судьба, судьба та или иная, помимо вашей воли… Чем уж я могу помочь вам? Своими спряжениями или перечислением немецких рек? Сорок вас, сорок разных жизней стоят за вашими плечами и ждут вас. Если бы я мог помочь вам, с какой радостью я это сделал бы! Но разве у нас человек может поддержать человека? Разве мог я чем-нибудь помочь хотя бы Адольфу Бетке?

На фронте это было просто: там дело шло об осязаемых, конкретных вещах. А здесь? Не жду ли я помощи от вас?

Усаживаюсь на кафедре и просматриваю учебный план — серую книжонку с пожелтевшими страницами, План, очевидно, составлен добросовестным педагогом; весь учебный материал распределен на точные дозы по неделям. Медленно листаю. «Семнадцатая неделя — Тридцатилетняя война; октябрь — Семилетняя война, битвы под Росбахом, Куннерсдорфом и Лейтеном; ноябрь — освободительные войны, декабрь — поход 1864 года и осада ДГарделя; январь — война с Австрией 1866 года и победа под Кенигретцем; февраль — франко-германская война 1870–1871 года, бои под Мецем и Седаном, вступление в Париж».

Покачивая головой, открываю учебник всеобщей истории, — опять войны, бои, сражения; тут воюют сообща, там против прежних союзников; под Лейпцигом и Ватерлоо — в союзе с русскими и англичанами, в 1914 году — против них, в Семилетнюю войну и в 1866 году — против Австрии в 1914 году — в союзе с ней. Я захлопываю книжку. Это не всеобщая история, а история войн. Где имена великих мыслителей, физиков, медиков, изыскателей, ученых? Где описание великих боев, в которых мужи эти бились за благо человечества? Где изложение их мыслей, их деяний, ставивших их перед большими

опасностями, чем всех полководцев вместе взятых? Где имена тех, кто шел за свои убеждения на пытки, кого жгли на кострах и заточали в подземелья? Я тщетно ищу их. Зато всякий хотя бы самый ничтожный поход описан обстоятельно, подробно.

Однако, может быть, хрестоматия даст что-нибудь другое. Открываю наугад: стихотворения «Молитва перед боем», «Охота Лютцова», «Вечер под Лейтеном», «Барабанщик Бионвиля», «Наш кайзер — славный воин», «Скачут гусары». Читаю дальше: «День из жизни нашего монарха», «Как взяли в плен Наполеона III». Попасть в плен, думаю я, все-таки лучше, чем дезертировать… И дальше: «Как мы под Гравелотом побили француза» — юмористический рассказ очевидца. Все это перемежается с несколькими рассказами и очерками о родине, а там опять подслащенные, сентиментальные, пышно разукрашенные военные эпизоды, жизнеописания полководцев, гимн войне. Мне становится дурно от одностороннего, фальшивого толкования, в котором здесь преподносится слово «отечество» Где биографии великих поэтов, художников, музыкантов? Когда жертвы этого учебного плана окончат школу, они будут знать время царствования любых, даже самых незначительных, князьков и даты всех войн, которые те вели; детям внушат, что это чрезвычайно важные мировые факты, но о Бахе, Бетховене, Гете, Эйхендорфе, Дюрере, Роберте Кохе они вряд ли будут что-либо знать.

Я швыряю книги на кафедру. Что это за система? Что мне нужно здесь? Что мне здесь делать? Поддерживать ее?

Усердно царапают грифели и перья, сорок головок склонилось над тетрадками и аспидными досками. Открываю окно. Ветер приносит ароматы влажных лугов, лесов, весны. Жадно вдыхаю напоенный ими воздух. Все еще торопливо бегут тучи. У меня такое чувство, будто прошли целые столетия, будто пожелтевшие страницы там, на кафедре, протащили меня сквозь века ограниченности, тупой покорности и ханжества.

— Дети! — в волнении говорю я, чувствуя, как по спине у меня бежит холодок от мартовского ветра.

Сорок пар глаз смотрят на меня. Но я уже не помню, что хотел сказать. Да я и не мог бы выразить в словах все то, что меня волнует. Мне хотелось бы, чтобы дети ощутили ветер и вечную тревогу туч. Но об этом в учебном плане ничего не сказано…

Пронзительно звенит звонок. Первый урок окончен.

На следующий день мы с Вилли надеваем наши визитки — моя как раз вовремя подоспела — и отправляемся с визитом к пастору. Это входит в наши обязанности.

Пастор принимает нас любезно, но сдержанно: после нашего бунта в семинарии о нас пошла дурная слава в солидных кругах. Вечером нам еще предстоит посетить общинного старосту — это тоже входит в наши обязанности. Но со старостой мы встречаемся в трактире, который одновременно является и почтовым отделением.

Староста — хитрый крестьянин с морщинистым лицом; первым делом он предлагает нам несколько стаканов водки. Мы не отказываемся. Подмигивая, подходят еще несколько крестьян. Они кланяются, и каждый в свою очередь предлагает нам по стаканчику. Мы вежливо чокаемся. Они исподтишка подмигивают друг другу и подталкивают один другого локтем, — бедные, мол, цыплята. Мы, конечно, тотчас смекаем, что им, потехи ради, хочется нас напоить. По-видимому, они проделывали такие шутки не раз: с усмешкой рассказывают они о прежних молодых учителях, преподававших в здешней школе. Они уверены, что мы скоро сдадим; на то есть три причины: во-первых, горожане несомненно не столь выносливы; во-вторых, учителя люди образованные и потому по части выпивки ничего не стоят; в-третьих, у таких молодых парней, ясно, и опыта нет в этом деле. Возможно, что по отношению к прежним семинаристам это было так, но в данном случае они упустили из виду немаловажное обстоятельство: что мы несколько лет были солдатами и водку дули кастрюлями. Мы принимаем вызов. Крестьяне хотят лишь слегка подшутить над нами, мы же троекратно защищаем свою честь, и это усиливает нашу отвагу.

С нами за столом сидят староста, писарь и несколько дюжих крестьян. По всей вероятности, из здешних пьянчуг это самые крепкие. С легкой, по-крестьянски хитрой усмешкой они чокаются с нами. Вилли делает вид, что он уже навеселе. Смешки вокруг усиливаются.

Мы от себя ставим по круговой пива и водки. Затем, без передышки, следует еще семь круговых, от каждого из остальных. Крестьяне полагают, что тут-то нам и будет крышка. Несколько оторопело смотрят они, как мы, глазом не моргнув, осушаем стаканы. Во взглядах, которыми они окидывают нас, мелькает некоторое уважение. Вилли с невозмутимым видом заказывает еще одну круговую.

— Пива не нужно, гони горячее! — кричит он хозяину.

— Одну водку? Вот черт! — говорит староста.

— Не сидеть же нам до утра, — спокойно замечает Вилли, — от пива ведь с каждой кружкой только трезвеешь!

В глазах у старосты растет изумление. Едва ворочая языком, один из наших собутыльников признает, что мы горазды

закладывать за галстук. Двое молча встают из-за стола и исчезают. Кое-кто из наших противников пытается украдкой вылить содержимое стаканов под стол. Но Вилли следит, как бы кто не уклонился. Он требует, чтобы руки у всех лежали на столе, а стаканы опрокидывались в глотки. Смех прекратился. Мы явно выигрываем.

Через час большинство крестьян с позеленевшими лицами валяется по разным углам комнаты или, пошатываясь, бредет во двор. Группа за столом все убывает, остаются, кроме нас, только староста да писарь. Начинается поединок между этой парой и нами. Правда, и у нас двоится в глазах, но те уже давно лопочут что-то нечленораздельное. Это придает нам свежих сил.

Еще через полчаса, когда лица у нас уже стали багрово-синими, Вилли наносит главный удар.

— Четыре чайных стакана коньяку! — кричит он трактирщику.

Староста отшатывается. Приносят коньяк. Вилли всовывает стаканы им в руки:

— Ваше здоровье!

Они только таращат на нас глаза.

— Вылакать! — орет Вилли. Огненная шевелюра его полыхает. — Ну, единым духом! — Писарь пытается уклониться, но Вилли не отстает.

— В четыре глотка! — смиренно молит староста.

— Нет! Единым духом! — настаивает Вилли. Он встает и чокается с писарем. Я тоже вскакиваю.

— Пей! Ваше здоровье! Ваше драгоценнейшее! — ревем мы ошеломленным крестьянам.

Как телята, ведомые на заклание, они смотрят на нас и отпивают глоток.

— До дна! Не сметь жульничать! — рявкает Вилли. — Встать!

Шатаясь, те встают и пьют. Они всячески пытаются не допить, но мы, крякая, показываем на свои стаканы:

— Ваше здоровье! Допить остатки! Досуха!

И они проглатывают все до дна. С остекленевшими глазами, медленно, но верно соскальзывают они на пол. Мы победили; при медленных темпах они, верно, уложили бы нас, но в быстром опрокидывании рюмок у нас большой опыт. Мы хорошо сделали, навязав им свой темп.

Плохо держась на ногах, но с гордым сознанием победы, оглядываем мы поле битвы. Лежат все, кроме нас. Почтальон, он же хозяин трактира, опустив голову на стойку, плачет по жене, которая умерла от родов, когда он был на фронте.

— Марта, Марта… — всхлипывает он неестественно высоким

голосом.

— В этот час он всегда такой, — рассказывает служанка.

Вой хозяина неприятно режет слух. Да и пора уже идти.

Вилли сгребает старосту, я обхватываю более легкого писаря, и мы тащим их по домам. Это венец нашего триумфа. Писаря мы укладываем у крыльца и стучим, пока в окне не показывается свет. Старосту ждут. Жена его стоит в дверях.

— Господи Исусе, — визжит она, — да это наши новые учителя! Такие молодые и такие пропойцы! Что же дальше будет!

Вилли пытается объяснить ей, что это было делом чести, но запутывается.

— Куда его девать? — спрашиваю я наконец.

— Положите вы этого пьянчугу пока сюда, — решительно говорит она. Мы валим его на диван. Улыбаясь как-то совсем по-детски, Вилли просит у хозяйки кофе. Та смотрит на него, как на готтентота.

— Ведь мы вам доставили вашего супруга, — говорит он, весь сияя.

Перед таким невероятным, но беззлобным нахальством капитулирует даже эта суровая старуха. Покачивая головой и читая нам длинные нравоучения, она наливает две большие чашки кофе. На все ее речи мы неизменно отвечаем: «да», что в такой момент самое правильное.

С этого дня мы слывем в деревне настоящими мужчинами и при встрече с нами крестьяне кланяются с особым почтением.

2

Однообразно и размеренно идут дни за днями. Четыре часа школьных занятий утром, два часа — после обеда; а в промежутках бесконечно длинные часы сидений или хождений наедине с собой и со своими думами.

Хуже всего воскресные дни. Если не сидишь в трактире, то дни эти прямо-таки невыносимы. Старший учитель — кроме меня есть еще и такой — живет здесь тридцать лет. За это время он стал прекрасным свиноводом, за что получил несколько премий. Кроме свиноводства, с ним ни о чем нельзя говорить. Когда я смотрю на него, мне хочется немедленно удрать отсюда: одна мысль о возможности превратиться в нечто подобное приводит меня в содрогание. Есть еще и учительница — немолодое добродетельное создание; она вздрагивает, если при ней скажешь: «к чертовой матери». Тоже не очень весело.

Вилли приспособился лучше меня. Его зовут в качестве почетного гостя на все свадьбы и крестины. Когда у кого-нибудь заболевает лошадь или не может отелиться корова, Вилли помогает словом и делом. А по вечерам сидит с крестьянами в

трактире и режется в скат, сдирая со своих партнеров по три шкуры.

А мне наскучили пивнушки, и я предпочитаю оставаться у себя в комнате. Но в одиночестве время тянется невыносимо медленно, и часто, когда сидишь один, из углов выползают странные мысли; как бледные безжизненные руки, машут они и грозят. Это тени призрачного вчерашнего дня, причудливо преображенные, снова всплывающие воспоминания, серые, бесплотные лица, жалобы и обвинения…

В одно ненастное воскресенье я поднялся рано, оделся и пошел на станцию. Мне захотелось навестить Адольфа Бетке. Это хорошая идея: я хоть немного побуду с близким, по-настоящему близким человеком, а когда приеду обратно, томительный воскресный день будет кончен.

К Адольфу попадаю во вторую половину дня. Скрипит калитка. В конуре лает собака. Быстро прохожу по фруктовой аллее. Адольф дома. И жена тут же. Когда я вхожу и протягиваю ему руку, она выходит. Сажусь. Помолчав, Адольф спрашивает:

— Ты удивлен, Эрнст, а?

— Чем, Адольф?

— Тем, что она здесь.

— Нисколько. Тебе виднее.

Он подвигает ко мне блюдо с фруктами:

— Яблок хочешь?

Выбираю себе яблоко и протягиваю Адольфу сигару. Он откусывает кончик и говорит:

— Видишь ли, Эрнст, я все сидел здесь и сидел, и чуть с ума не спятил от этого сидения. Одному в таком доме прямо пытка. Проходишь по комнатам — тут висит ее кофточка, там — корзинка с иголками и нитками, тут стул, на котором она всегда сидела, когда шила; а ночами — эта белая кровать рядом, пустая; каждую минуту глядишь туда, и ворочаешься, и не можешь уснуть… В такие минуты, Эрнст, многое передумаешь…

— Представляю себе, Адольф!

— А потом выбегаешь из дому и напиваешься и творишь всякую чепуху…

Я киваю. Часы тикают. В печке потрескивают дрова. Женщина неслышно входит, ставит на стол хлеб и масло и снова выходит. Бетке разглаживает скатерть:

— Да, Эрнст, и она, конечно, тоже так мучилась, тоже так сидела да сидела все эти годы… Ложась спать, все чего-то боялась, пугалась неизвестности, без конца обо всем раздумывала, к каждому шороху прислушивалась. Так, в конце

концов, это и случилось. Я уверен, что сначала она вовсе не хотела, а когда уж случилось, не сумела справиться с собой. Так и пошло.

Женщина приносит кофе. Я хочу с ней поздороваться, но она не смотрит на меня.

— Почему ты не ставишь чашку для себя? — спрашивает ее Адольф.

— Мне еще на кухне нужно кой-чего поделать, — говорит она. Голос у нее тихий и глубокий.

— Я сидел здесь и говорил себе: ты охранял свою честь и выгнал свою жену. Но от этой чести тебе ни тепло, ни холодно, ты одинок, и с честью или без чести так и так тебе не легче. И я сказал ей: оставайся. Кому, в самом деле, нужна вся эта дребедень, ведь устал до черта и живешь, в конце концов, какой-нибудь десяток-другой лет, а если бы я не узнал того, что было, все оставалось бы по-старому. Кто знает, что стали бы делать люди, если бы они всегда все знали.

Адольф нервно постукивает по спинке стула:

— Пей кофе, Эрнст, и масло бери.

Я наливаю себе и ему по чашке, и мы пьем.

— Ты понимаешь, Эрнст, — тихо говорит Бетке, — вам легче: у вас есть ваши книги, ваше образование и всякое такое, а у меня ничего и никого в целом свете, кроме жены.

Я не отвечаю, — он меня все равно не поймет сейчас: он не тот, что на фронте, да и я изменился.

— А что она говорит? — спрашиваю я, помолчав.

Адольф беспомощно роняет руку:

— Она говорит мало, от нее трудно чего-нибудь добиться, она все только сидит, молчит и смотрит на меня. Разве что заплачет. — Он отставляет свою чашку. — Иногда она говорит, будто все это случилось потому, что ей хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. А в другой раз говорит, что она сама себя не понимает, она не думала, что причиняет мне зло, ей будто бы казалось, что это я и был. Не очень-то понятно все это, Эрнст; в таких вещах надо уметь разобраться. А вообще-то она рассудительная.

Я задумываюсь.

— Может быть, Адольф, она хочет сказать, что все эти годы была словно сама не своя, жила как во сне?

— Может быть, — отвечает Адольф, — но я этого не понимаю. Да все, верно, не так долго и продолжалось.

— А того она теперь, верно, и знать не хочет? — спрашиваю я.

— Она говорит, что ее дом здесь.

Я опять задумываюсь. О чем еще расспрашивать?

— Так ведь тебе лучше, Адольф?

Он смотрит на меня:

— Не сказал бы, Эрнст! Пока нет. Но, думаю, наладится. А по-твоему?

Вид у него такой, точно он не очень в этом уверен.

— Конечно, наладится, — говорю я и кладу на стол несколько сигар, которые припас для него. Некоторое время мы разговариваем. Наконец я собираюсь домой. В сенях сталкиваюсь с Марией. Она норовит незаметно проскользнуть мимо.

— До свидания, фрау Бетке, — говорю я, протягивая ей руку.

— До свидания, — произносит она, отвернувшись, и пожимает мне руку.

Адольф идет со мной на станцию. Завывает ветер. Я искоса поглядываю на Адольфа и вспоминаю его улыбку, когда мы в окопах заговаривали, бывало, о мире. К чему все это свелось!

Поезд трогается.

— Адольф, — поспешно говорю я из окна, — Адольф, поверь мне, я тебя очень хорошо понимаю, ты даже не знаешь, как хорошо…

Одиноко бредет он по полю домой.

Десять часов. Звонок на большую перемену. Я только что окончил урок в старшем классе. И вот четырнадцатилетние ребята стремительно бегут мимо меня на волю. Я наблюдаю за ними из окна. В течение нескольких секунд они совершенно преображаются, стряхивают с себя гнет школы и вновь обретают свежесть и непосредственность, свойственные их возрасту.

Когда они сидят передо мной на своих скамьях, они не настоящие. Это или тихони и подлизы, или лицемеры, или бунтари. Такими сделали их семь лет школы. Они пришли сюда неиспорченные, искренние, ни о чем не ведающие, прямо от своих лугов, игр, грез. Ими управлял еще простой закон всего живого: самый живой, самый сильный становился у них вожаком, вел за собой остальных. Но недельные порции образования постепенно прививали им другой, искусственный закон: того, кто выхлебывал их аккуратнее всех, удостаивали отличия, объявляли лучшим. Его товарищам рекомендовали брать с него пример. Неудивительно, что самые живые дети сопротивлялись. Но они вынуждены были покориться, ибо хороший ученик — это раз навсегда идеал школы. Но что это за жалкий идеал! Во что превращаются с годами хорошие ученики! В оранжерейной атмосфере школы они цвели коротким цветением пустоцвета и тем вернее погрязали в болоте посредственности и

раболепствующей бездарности. Своим движением вперед мир обязан лишь плохим ученикам.

Я смотрю на играющих. Верховодит сильный и ловкий мальчик, кудрявый Дамхольт; своей энергией он держит в руках всю площадку. Глаза искрятся воинственным задором и удовольствием, все мускулы напряжены, и ребята беспрекословно подчиняются ему. А через десять минут на школьной скамье этот самый мальчуган превратится в упрямого, строптивого ученика, никогда не знающего, заданных уроков, и весной его наверное оставят на второй год. Когда я взгляну на него, он сделает постное лицо, а как только отвернусь, скорчит гримасу; он без запинки соврет, если спросишь, переписал ли он сочинение, и при первом удобном случае плюнет мне на брюки или вставит булавку в сиденье стула. А первый ученик (на воле весьма жалкая фигура) здесь, в классной комнате, сразу вырастает; когда Дамхольт не сумеет ответить и, ожесточенный, скрепя сердце будет ждать обычной своей двойки, первый ученик самоуверенно поднимет руку. Первый ученик все знает, знает он и это. Но Дамхольт, которого, собственно, следовало бы наказать, мне в тысячу раз милей бледненького образцового ученика.

Я пожимаю плечами. Разве на встрече полка в ресторане Конерсмана не было того же самого? Разве там человек не потерял вдруг своего значения, а профессия не поднялась надо всем, хотя раньше все было наоборот? Я качаю головой. Что же это за мир, в который мы вернулись?

Голос Дамхольта звенит на всю площадку. А что если бы учителю подойти к ученику по-товарищески, думаю я, может быть, это дало бы лучшие результаты? Не знаю, не знаю… Такой подход, возможно, улучшил бы отношения, позволил бы избежать того или иного. Но, по существу, это был бы самообман. Я по собственному опыту знаю: молодежь проницательна и неподкупна. Она держится сплоченно, она образует единый фронт против взрослых. Она не знает сентиментальности; к ней можно приблизиться, но влиться в ее ряды нельзя. Изгнанный из рая в рай не вернется. Существует закон возрастов. Зоркий Дамхольт хладнокровно принял бы товарищеское отношение учителя и извлек бы из него выгоду. Не исключено, что он и привязался бы к учителю, но это не помешало бы ему использовать выгодность своего положения. Наставники, которым кажется, что они понимают молодежь, — чистейшие мечтатели. Юность вовсе не хочет быть понятой, она хочет одного: оставаться самой собой. Взрослый, слишком упорно навязывающий ей свою дружбу, так же смешон в ее глазах, как если бы он нацепил на

себя детское платьице. Мы можем чувствовать заодно с молодежью, но молодежь заодно с нами не чувствует. В этом ее спасение.

Звонок. Перемена кончилась. Дамхольт нехотя становится с кем-то в пару перед дверью класса.

Я бреду через деревню в степь; Волк бежит впереди. Вдруг из какого-то двора пулей вылетает собака и кидается на Волка. Волк не заметил ее приближения, поэтому ей удается при первом натиске свалить его. В следующее мгновение по земле катается с глухим рычанием клубок из пыли и сцепившихся тел.

Со двора с дубинкой в руках выбегает крестьянин и еще издали кричит:

— Ради бога, учитель, кликните вашу собаку! Плутон растерзает ее в клочья!

Я отмахиваюсь.

— Плутон, Плутон, ах ты стервец, ах ты проклятый, сюда! — взволнованно кричит крестьянин; запыхавшись, подбегает он к собакам и пытается разнять их. Но вихри пыли с отчаянным лаем уносятся метров на сто дальше и снова свиваются в клубок.

— Погиб ваш пес, — стонет крестьянин и опускает руку с дубинкой. — Но я заявляю вам наперед: платить за него я не стану. Вы могли позвать его.

— Кто погиб? — переспрашиваю я.

— Ваш пес, — упавшим голосом повторяет крестьянин. — Треклятый дог прикончил уже с дюжину собак.

— Ну, что касается Волка, то мы еще посмотрим, — говорю я. — Это не просто овчарка, любезный; это фронтовой пес, старый солдат, понятно?

Столб пыли рассеивается. Собаки выкатились на луг. Я вижу, как Плутон норовит насесть на Волка и укусить его в спину. Если это ему удастся, собака моя погибла, — дог раздавит ей позвонки. Но овчарка, увертливая как уж, на расстоянии сантиметра ускользает от своего противника и, перекувырнувшись, опять набрасывается на дога. Тот рычит и тявкает. Волк же нападает беззвучно.

— Ах, черт! — бормочет крестьянин.

Дог отряхивается, подскакивает, хватает воздух, яростно поворачивается, снова подскакивает — опять мимо, и кажется, будто дог там один, так незаметна овчарка. Как кошка, прыгает она, почти вровень с землей (навык связной собаки), проскальзывает у дога между ног, хватает его снизу, кружит вокруг него, гонится за ним, вдруг впивается зубами ему в живот и крепко, не выпуская, держит.

С бешеным воем припадает дог к земле, пытаясь таким же образом схватить Волка. Но, воспользовавшись этим, овчарка уже отпустила своего противника и, мелькнув как тень, рывком впивается догу в глотку. И лишь теперь, когда Волк крепко держит дога, который отчаянно бьется и катается по земле, я в первый раз за время этой схватки слышу глухое, злобное рычание своей собаки.

— Ради бога, учитель, — кричит крестьянин, — позовите своего пса! Он растерзает Плутона в клочья!

— Я могу звать его сколько угодно, он теперь все равно не подойдет, — говорю я. — И вполне правильно поступит. Пусть сначала справится с этим паршивым Плутоном.

Дог скулит и повизгивает. Крестьянин поднимает дубину, чтобы отогнать Волка. Я вырываю ее у него из рук, хватаю его за грудь и реву:

— Не сметь! Ваш ублюдок первый начал!

Я готов избить его.

К счастью, мне видно, как Волк внезапно оставляет бульдога и мчится к нам: ему показалось, что на меня нападают. Мне удается перехватить его, иначе крестьянин остался бы по меньшей мере без куртки.

Плутон между тем незаметно скрылся. Я похлопываю Волка по шее, успокаивая его.

— Да это сущий дьявол! — бормочет перепуганный крестьянин.

— Правильно, — с гордостью говорю я, — это старый солдат. Такого задирать нельзя.

Мы двинулись дальше. За деревней идут сначала луга, а потом начинается степь, покрытая можжевельником и курганами. На опушке березовой рощицы пасется стадо овец. В лучах заходящего солнца их пушистые спины отливают блеклым золотом.

Вдруг Волк, вытянувшись в струнку, скачками несется к стаду. Боясь, что он еще разъярен после стычки с догом, бегу за ним, чтобы предотвратить кровавую бойню.

— Берегись! Следи за собакой! — кричу я пастуху.

Пастух смеется:

— Да ведь это овчарка, она не тронет овец.

— Нет, нет, вы не знаете, — волнуюсь я, — она таких вещей не понимает. Это фронтовая собака!

— Да чего там толковать, — говорит пастух, — овчарка что фронтовая, что не фронтовая, — все равно. Она ничего им не сделает. Вот глядите, ну, глядите же! Хорошо, псина, молодчага!

Лови их, лови!

Я не верю глазам своим. Волк, Волк, который в жизни своей овцы не видел, сгоняет в кучу стадо, будто никогда ничем другим не занимался. Большими прыжками носится он с лаем за двумя ягнятами, отбившимися от стада, и загоняет их назад. Всякий раз, как какая-нибудь овечка отбегает или останавливается, он загораживает ей дорогу и щиплет за ноги, так что она волей-неволей бежит к стаду.

— Пес что надо! — восхищается пастух. — Видите, он только пощипывает их. Ах, молодчина!

Собаки не узнать. Глаза сверкают, разорванное ухо болтается. Она бдительно обегает стадо, и я вижу, как она необыкновенно возбуждена.

— Куплю вашу собаку без торга, — говорит пастух. — Она справляется со стадом не хуже моей. Вы смотрите, как она гонит овец к деревне! Ее и обучать не надо.

Я не знаю, что со мной происходит.

— Волк, — зову я, — Волк! — и чувствую, что сейчас зареву, глядя на него. Ведь вот он тоже вырос под пулями, а теперь, хотя никто никогда не учил его, он все-таки сразу находит свое призвание.

— Сто марок наличными и в придачу овцу заколю, — предлагает пастух.

Я мотаю головой:

— Ни за какие миллионы. Понял?

Пастух недоуменно пожимает плечами.

Жесткие метелки вереска щекочут лицо. Я отгибаю их и кладу голову на руки. Собака спокойно дышит, улегшись рядом. Покой и тишина. И только издалека доносится слабое позванивание колокольцев: где-то пасутся стада.

По вечернему небу медленно плывут облака. Солнце заходит. Темная зелень можжевельника становится густо-коричневой, и я чувствую, как в дальних лесах рождается ночной ветер. Через час он зашумит и тут, в березовой рощице. Солдатам природа так же близка, как крестьянам и жителям лесов, — солдаты живут под открытым небом, знают пору разных ветров и густой червонный аромат дымчатых вечеров, им знакомы тени, бегущие над землей, когда облака похищают свет, им известны пути светлого месяца…

Однажды, во Фландрии, после бешеной артиллерийской атаки, одному раненому пришлось долго ждать, пока подоспела помощь. Мы извели на него все свои перевязочные пакеты, перевязали его всем, чем могли, но рана по-прежнему кровоточила, он попросту истекал кровью. А за ним, на вечернем

небе, неподвижно стояло громадное облако, одно-единственное облако, но это была целая горная цепь из белизны, золота и пурпурного блеска. Оно стояло над растерзанной бурой землей, стояло неподвижно, излучая свет, а умирающий лежал неподвижно, истекая кровью; между ними было что-то родственное, и мне казалась непостижимой такая безучастная красота на небе, когда умирает человек.

Последние лучи солнца окрашивают степь зловещим алым отблеском. С жалобным криком взлетают чибисы. Кричит выпь на озерах. Я гляжу на широкий пурпурно-золотистый простор… В одном месте под Хотхольстом росло столько мака, что луга были сплошь алыми. Мы называли их кровавыми, потому что в грозу они приобретали тусклый оттенок только что пролитой, еще свежей крови… Там сошел с ума Келер, когда мы однажды, светлой ночью, измученные и усталые проходили мимо. В неверном свете луны луга показались ему озерами крови, и он все рвался броситься туда…

Меня знобит, и я поднимаю глаза. Что это значит? Почему эти воспоминания стали так часто возвращаться? И какие-то они странные, на самом деле все было иначе… Не оттого ли это, что я слишком часто бываю один?

Волк шевелится и лает во сне визгливо и глухо. Может быть, ему снится стадо? Я долго смотрю на него. Потом бужу, и мы медленно бредем обратно.

Сегодня суббота. Я зашел к Вилли спросить, не поедет ли он со мной на воскресный день в город. Но Вилли и слышать не хочет.

— Завтра у нас фаршированный гусь, — говорит он, — этого я никак не могу пропустить. А тебе в город зачем?

— Мне невмоготу эти воскресные дни здесь… — говорю я.

— Совершенно не понимаю тебя. При таких харчах!

Я еду один. Вечером, с какой-то неопределенной надеждой, иду к Вальдману. Там веселье горой. Некоторое время слоняюсь с места на место и присматриваюсь к публике. Много совсем молодых парней, которых война не успела задеть, носятся по залу. Они самоуверенны и знают, чего хотят. Все для них с самого начала ясно, и цель у них одна: успех. Практичности у этих парней гораздо больше, чем у нас, хотя они и намного моложе.

Среди танцующих замечаю грациозную фигурку тоненькой белошвейки, с которой я получил приз за уанстеп. Приглашаю ее на вальс и уже не расстаюсь с ней. На днях я получил жалованье, поэтому заказываю несколько бутылок сладкого красного вина. Мы медленно распиваем его, и чем больше я пью, тем сильнее

овладевает мною какая-то странная грусть. Как это говорил тогда Альберт? Нужно иметь близкого человека, — так, кажется?

Задумчиво прислушиваюсь к болтовне девушки; она щебечет, как ласточка, — о товарках, о поштучной оплате за белье, которое она шьет, о новых танцах и еще о тысяче всяких пустяков. Если бы за штуку белья платили на двадцать пфеннигов больше, она могла бы обедать в ресторане и была бы вполне довольна. Я завидую ясности и несложности ее существования и все расспрашиваю ее и расспрашиваю. Мне хотелось бы каждого, кто здесь смеется и веселится, расспросить о его жизни. Может быть, я узнал бы что-нибудь такое, что помогло бы мне жить.

Потом я провожаю мою ласточку домой. Она живет под самой крышей серого, густо населенного дома. У подъезда мы останавливаемся. В своей ладони я ощущаю тепло ее руки. Смутно белеет во мраке ее лицо. Человеческое лицо, рука, таящая в себе тепло и жизнь…

— Позволь мне пойти с тобой, — говорю я горячо, — позволь.

Мы осторожно крадемся по скрипучей лестнице наверх. Я зажигаю спичку, но девушка тотчас задувает ее, берет меня за руку и ведет за собой.

Узенькая комнатка. Стол, коричневый диван, кровать, несколько картинок на стенах, в углу швейная машина, камышовый манекен и корзина с недошитым бельем.

Малютка проворно достает спиртовку и приготовляет чай из яблочной кожуры и уже с десяток раз заваренных и высушенных чаинок. Две чашки, смеющееся, чуть плутоватое личико, трогательно-голубое платьице, приветливая бедность комнаты, ласточка, единственное достояние которой — ее юность… Сажусь на диван. Неужели так начинается любовь? Так легко, словно это игра? Для этого нужно, пожалуй, перескочить через самого себя.

Ласточка мила, и, верно, так уж водится в ее маленькой жизни, что кто-нибудь приходит, берет ее в объятия и уходит; швейная машина жужжит, приходит другой, ласточка смеется, ласточка плачет, и все шьет и шьет… Она набрасывает на машину маленькую пеструю покрышку, и машина из рабочего стального животного превращается в горку красных и синих шелковых цветов. Ласточка не хочет, чтобы хоть что-нибудь напоминало ей день. Она сворачивается клубочком у меня на груди и болтает, и мурлычет, и лепечет, и поет; в своем легком платьице она так худа и бледна, — голод, видно, здесь нередкий гость; она так легка, что ее можно на руках перенести на кровать, на железную походную койку; лицо ее так трогательно, когда она, отдаваясь, крепко обвивает мою шею руками и вздыхает и улыбается, дитя с закрытыми глазами, и вновь вздыхает, и дрожит, и лепечет что-

то, и дышит глубоко, и слегка вскрикивает; я не отрываясь смотрю на нее, я бы хотел быть таким же, и я молча спрашиваю себя: «То ли это, то ли это?..» А потом ласточка осыпает меня множеством ласковых имен и со стыдливой нежностью льнет ко мне, а когда я ухожу и спрашиваю: «Ты счастлива, ласточка?» — она целует меня много-много раз, и корчит гримаску, и машет мне, и кивает, кивает, кивает…

А я спускаюсь с лестницы бесконечно изумленный. Она счастлива; как мало ей нужно! Этого я не могу понять. А может быть, она, как и до нашей встречи, существо недоступное мне, жизнь в себе, в которую я не могу проникнуть? И разве она не осталась бы такой же, даже если бы я пламенно любил ее? Ах, любовь — факел, летящий в бездну, и только в это мгновение озаряющий всю глубину ее!

Я миную улицу за улицей, направляюсь к вокзалу. Нет, все это не то, не то. Чувствуешь себя еще более одиноким…

3

Круг света, падающий от лампы, освещает стол. Передо мной пачка синих тетрадей. Рядом — пузырек с красными чернилами. Я просматриваю тетрадь, подчеркиваю ошибки, вкладываю промокательную бумагу и беру следующую.

Потом встаю из-за стола. И это жизнь? Вот эта монотонная смена дней и часов? Как мало, в сущности, она заполняет мой мозг. Слишком много времени остается для раздумий. Я надеялся, что однообразие успокоит меня. Но от него только тревожней. Как бесконечно тянутся здесь вечера!

Я прохожу через сени. В полумраке фыркают и постукивают копытами коровы. Рядом, собираясь доить, согнулись на низеньких табуретках служанки. Каждая сидит как бы в отдельной клетушке, стены которой образуют темные пятнистые тела животных. В теплых испарениях коровника мигают слабые огоньки, тонкими струйками брызжет в ведра молоко, и груди девушек под голубыми ситцевыми платьями подпрыгивают в такт. Доярки поднимают головы, улыбаются, вздыхают, показывая свои здоровые белые зубы. Глаза их блестят в полумраке. Пахнет сеном и скотиной.

Постояв немного у двери, поворачиваюсь и иду к себе. Синие тетради лежат под лампой. Они всегда будут так лежать. Неужели и я всегда буду сидеть здесь, и незаметно надвинется старость, а там и смерть? Меня разбирает сон.

Медленно плывет над крышей сарая красный диск луны, бросая на пол тень от оконной рамы — косой четырехугольник с крестом посредине; луна поднимается выше, и крест постепенно передвигается; через час тень вползет на кровать и покроет мне

грудь.

Я лежу на большой крестьянской перине в синих и красных клетках и тщетно силюсь уснуть. Порой веки мои смыкаются, и я мгновенно проваливаюсь в какую-то бездну, но в последний миг вздрагиваю от внезапного страха, просыпаюсь и опять слышу, как бьют часы на церковной башне, и жду, жду, и непрестанно ворочаюсь.

Кончается тем, что я встаю, одеваюсь, вскакиваю на подоконник, втаскиваю за собой собаку, прыгаю на землю и бегом пускаюсь в степь. Луна светит, свистит в ушах воздух, и широко стелется впереди равнина. Темнеет полотно железной дороги.

Сажусь под кустом можжевельника. Немного погодя на линии вспыхивает цепь сигнальных огней. Подходит ночной поезд. Тихим металлическим звоном гудят рельсы. Фары локомотива, блеснув на горизонте, гонят перед собой волну света. Поезд мчится мимо, все окна освещены, и на мгновение купе с заключенными в них чемоданами и человеческими судьбами пролетают совсем близко от меня, и вот их уже относит все дальше, дальше, опять поблескивают в ночной сырости рельсы, и только вдали, как огненный глаз, зловеще светит, не мигая, красный фонарь на последнем вагоне.

Луна желтеет и светит все ярче, я бегу сквозь голубой сумрак березовой рощи, с ветвей на затылок мне брызжут дождевые капли, я спотыкаюсь о корни и камни; когда я возвращаюсь, уже брезжит свинцовый рассвет. Лампа все еще горит. Я с отчаянием оглядываю комнату. Нет, этого мне не вынести. Будь я лет на двадцать старше, я, может быть, смирился бы и свыкся, но сейчас…

Усталый и обессиленный, безуспешно пытаюсь раздеться. Сон валит меня с ног. И, засыпая, я все еще сжимаю кулаки, — нет я не сдамся, я еще не сдамся…

И опять проваливаюсь куда-то в бездну… и осторожно пробираюсь вперед. Медленно — сантиметр за сантиметром. Солнце горит на желтеющих склонах, цветет дрок, зной и тишина в воздухе, на горизонте аэростаты и белые облачка — разрывы зенитных снарядов. На уровне моего шлема колышутся красные лепестки мака.

Слабый, едва различимый шорох доносится из-за кустарника с противоположной стороны. И опять — тихо. Я жду. Жучок с золотисто-зелеными крылышками ползет по стеблю ромашки. Щупальцами перебирает он зубчатые лепестки. И снова в тишине полдня — чуть слышный шелест. Вот из-за кустарника вынырнул край шлема. Под ним лоб, светлые глаза, твердо очерченный рот; глаза внимательно оглядывают местность и возвращаются к

белому листку блокнота. Не подозревая опасности, человек делает набросок фермы, находящейся напротив.

Я вытаскиваю гранату. Медленно, очень медленно. Наконец она возле меня. Левой рукой срываю кольцо, беззвучно считаю и мечу гранату туда, в кусты ежевики. Граната описывает плоскую дугу, а я соскальзываю обратно в яму, плотно прижимаюсь к земле, зарываюсь лицом в траву и открываю рот.

Грохот взрыва рвет воздух, вихрем кружатся осколки, взметнулся крик, протяжный, безумный, полный ужаса. В руке у меня приготовлена вторая граната, и я наблюдаю из-за прикрытия. Англичанин лежит на открытом месте, обе голени у него снесены, кровь так и хлещет. Размотавшись, свисают длинные обмотки, как распущенные ленты; он лежит ничком, руками словно гребет по траве, рот его широко раскрыт в крике.

Англичанин мечется из стороны в сторону и вдруг замечает меня. Упираясь руками в землю и вздыбившись, как тюлень, он кричит мне что-то и истекает, истекает кровью… Потом багровое лицо его бледнеет и словно западает, взгляд меркнет, глаза и рот превращаются в темные провалы мертвеющего человеческого лица, оно медленно склоняется к земле и падает в ромашки. Конец.

Я отодвигаюсь, хочу поползти назад к нашим окопам, но оглядываюсь еще раз. Что это? Покойник ожил, он встает, собирается бежать за мной… Я вытаскиваю вторую гранату и бросаю ему наперерез. Граната падает в метре от него, откатывается в сторону, лежит… я считаю, считаю… Почему она не взрывается? Покойник стоит, обнажив в страшной улыбке десны, я бросаю еще одну гранату… Опять нет взрыва… А тот уже сделал несколько шагов, он бежит на своих обрубках, ухмыляется, тянет ко мне руки… Я бросаю последнюю гранату… Она попадает ему в грудь, но он смахивает ее… Я вскакиваю, хочу бежать… но колени размякли, как масло, не слушаются, я волоку ноги бесконечно медленно, они точно прилипают к земле, я отрываю их, бросаюсь вперед, уже слышу за собой тяжелое дыхание преследователя, руками обхватываю подкашивающиеся ноги… Но сзади уже вцепились мне в шею две руки, прижимая меня к земле, покойник коленями становится мне на грудь, подбирает волочащиеся обмотки, наматывает их мне на шею. Я верчу головой, напрягаю все мускулы, я бросаюсь вправо, стараясь избегнуть петли… Толчок, тупая душащая боль в горле, покойник тащит меня прямо к известковой яме, он толкает меня вниз, я теряю равновесие, но пытаюсь удержаться, я скольжу, падаю, кричу, падаю долго, бесконечно долго, кричу, бьюсь, кричу…

Глыбами раскалывается мрак под моими скребущими

руками, что-то с треском падает около меня, я натыкаюсь на камни, выступы, железо. Безудержно рвется из груди моей крик, дикий, пронзительный, я не могу остановить себя, в крик мой вплетаются какие-то возгласы, кто-то стискивает мне руки, я кого-то отталкиваю, кто-то наступает на меня, мне удается схватить винтовку, я нащупываю прикрытие, хватаю врага за плечи, пригибаю к земле и кричу, кричу; потом — точно острый нож сверкнул и разрубил узел: Биркхольц! И опять: Биркхольц!.. Я вскакиваю; подоспела помощь, я должен пробиться во что бы то ни стало, я вырываюсь, бегу, получаю удар по коленям, проваливаюсь в мягкую яму, на свет, яркий трепетный свет… Биркхольц! Биркхольц! Только крик мой все еще гулко отдается в пространстве… Но вот оборвался и он…

Около меня стоят хозяин и хозяйка. Я лежу поперек кровати, ноги свесились на пол, работник крепко держит меня, я судорожно сжимаю в руке трость, словно винтовку; должно быть, я в крови; нет, это собака лижет мне руку.

— Учитель, — дрожа говорит хозяйка, — что с вами?

Я ничего не понимаю.

— Как я попал сюда? — хрипло говорю я.

— Учитель, послушайте, учитель! Проснитесь же! Вам что-то приснилось.

— Приснилось? — говорю я. — По-вашему, все это мне приснилось? — Я начинаю хохотать, хохотать так, что меня всего трясет, так, что мне становится больно. Я хохочу, хохочу безостановочно.

И вдруг смех мой сразу иссякает.

— Это был английский капитан, — шепчу я, — тот самый, который тогда…

Работник потирает оцарапанную руку.

— Вам что-то приснилось, учитель, и вы упали с кровати, — говорит он. — Вы ничего не слышали и чуть меня не убили…

Я не понимаю, о чем он говорит, чувствую бесконечную слабость и полное изнеможение. Вдруг замечаю, что трость все еще у меня в руках. Отставляю ее и сажусь на достели. Собака прижимается к моим ногам.

— Дайте мне стакан воды, тетушка Шомакер, и ступайте, ложитесь спать.

Но сам я не ложусь больше, а закутываюсь в одеяло и усаживаюсь у стола. Огня я не гашу.

Так я сижу долго-долго, неподвижно и с отсутствующим взглядом, — только солдаты могут так сидеть, когда они одни. Постепенно начинаю ощущать какое-то беспокойство, словно в комнате кто-то есть. Я чувствую, как медленно, без малейшего

усилия с моей стороны, ко мне возвращается способность смотреть и видеть. Слегка приоткрываю глаза и вижу, что сижу прямо против зеркала, висящего над умывальником. Из неровного стекла глядит на меня лицо, все в тенях, с темными впадинами глаз. Мое лицо…

Я встаю, снимаю зеркало с крюка и ставлю его в угол стеклом к стене.

Наступает утро. Я иду к себе в класс. Там, чинно сложив руки, уже сидят малыши. В их больших глазах еще живет робкое удивление детства. Они глядят на меня так доверчиво, с такой верой, что меня словно ударяет что-то в сердце…

Вот стою я перед вами, один из сотен тысяч банкротов, чью веру и силы разрушила война… Вот стою я перед вами и чувствую, насколько больше в вас жизни, насколько больше нитей связывает вас с нею… Вот стою я перед вами, ваш учитель и наставник. Чему же мне учить вас? Рассказать вам, что в двадцать лет вы превратитесь в калек с опустошенными душами, что все ваши свободные устремления будут безжалостно вытравлять, пока вас не доведут до уровня серой посредственности? Рассказать вам, что все образование, вся культура, вся наука — не что иное, как жестокая насмешка, пока люди именем господа бога и человечности будут истреблять друг друга ядовитыми газами, железом, порохом и огнем? Чему же мне учить вас, маленькие создания, вас, которые только и остались чистыми в эти ужасные годы?

Чему я могу научить вас? Показать вам, как срывают кольцо с ручной гранаты и мечут ее в человека? Показать вам, как закалывают человека штыком, убивают прикладом или саперной лопатой? Показать, как направляют дуло винтовки на такое непостижимое чудо, как дышащая грудь, пульсирующие легкие, бьющееся сердце? Рассказать, что такое столбняк, вскрытый спинной мозг, сорванный череп? Описать вам, как выглядят разбрызганный мозг, размозженные кости, вылезающие наружу внутренности? Изобразить, как стонут, когда пуля попадает в живот, как хрипят, когда прострелены легкие, и какой свист вырывается из горла у раненных в голову? Кроме этого я ничего не знаю! Кроме этого я ничему не научился!

Или подвести мне вас к зелено-серой географической карте, провести по ней пальцем и сказать, что здесь была убита любовь? Объяснить вам, что книги, которые вы держите в руках, — это сети, которыми улавливают ваши доверчивые души в густые заросли фраз, в колючую проволоку фальшивых понятий?

Вот стою я перед вами, запятнанный, виновный, и не учить, а

молить вас хотелось бы мне: оставайтесь такими, какие вы есть, и не позволяйте раздувать теплое сияние вашего детства в острое пламя ненависти! Ваше чело еще овеяно дыханием непорочности — мне ли учить вас! За мной еще гонятся кровавые тени прошлого — смею ли я даже приблизиться к вам? Не должен ли сам я сначала вновь стать человеком?

Я чувствую, как сжимаюсь весь, превращаюсь в камень, готовый рассыпаться в песок. Медленно опускаюсь на стул и ясно сознаю: я больше не могу здесь оставаться. Пытаюсь собраться с мыслями, но тщетно. Лишь через несколько минут оцепенение проходит. Я встаю.

— Дети, — с трудом говорю я, — дети, вы можете идти. Сегодня занятий не будет.

Малыши смотрят на меня: не шучу ли?

— Да, да, дети, это правда… Идите играть… Вы можете играть сегодня целый день… Бегите в лес или играйте дома со своими собаками и кошками… В школу придете только завтра…

И дети с шумом бросают свои пеналы в ранцы и теснятся к выходу, щебеча и не помня себя от радости.

Я иду к себе, укладываю чемодан и отправляюсь в соседнюю деревню, проститься с Вилли. Он сидит у окна без куртки и разучивает на скрипке пьесу: «Все обновляет чудный май». На столе — обильный завтрак.

— Это сегодня третий, — с удовлетворением сообщает Вилли. — Я заметил, что могу есть про запас, как верблюд.

Говорю ему, что собираюсь сегодня вечером уехать. Вилли не из тех, кто много расспрашивает.

— Знаешь, Эрнст, что я тебе скажу, — задумчиво произносит он, — скучно здесь, это верно, но пока так кормят, — он показывает на накрытый стол, — меня из этой песталоццциевой конюшни и десятком лошадей не вытащить.

Он лезет под диван и достает оттуда ящик с пивом.

— Ток высокого напряжения, — улыбается он, держа этикетку на свету.

Я долго смотрю на Вилли.

— Эх, брат, хотел бы я быть таким, как ты! — говорю я.

— Ну еще бы! — Он ухмыляется и с треском откупоривает бутылку.

Когда я выхожу из дому, чтобы идти на вокзал, из соседнего двора выбегает несколько девочек с вымазанными мордочками и торчащими в косичках бантиками. Они только что похоронили в саду крота и помолились за него, Делая книксен, они суют мне на прощание руки:

— До свидания, господин учитель!

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

— Эрнст, мне надо поговорить с тобой, — обращается ко мне отец.

Легко представить себе, что за этим последует. Уже несколько дней он ходит вокруг меня с озабоченным лицом, роняя многозначительные намеки. Но до сих пор мне удавалось увиливать от разговора, — я мало бываю дома.

Мы проходим в мою комнату. Отец усаживается на диван и внимательно рассматривает обивку.

— Нас беспокоит твое будущее, Эрнст.

Я снимаю с книжной полки ящик сигар и предлагаю ему закурить. Лицо у него несколько проясняется: сигары хорошей марки, мне дал их Карл, а Карл букового листа не курит.

— Ты действительно отказался от места учителя? — спрашивает отец.

Я киваю.

— Почему же ты это сделал?

Я пожимаю плечами. Как объяснить ему? Мы с ним совершенно разные люди, и у нас только потому сохранились хорошие отношения, что вообще никаких отношений не было.

— Что же будет дальше? — продолжает он допытываться.

— Что-нибудь да будет, — говорю я, — ведь это так безразлично.

Он испуганно смотрит на меня и начинает говорить о хорошей, достойной профессии, о продвижении вперед на избранном поприще, о месте в жизни. Я слушаю его с чувством умиления и скуки и думаю: как странно, что этот вот человек — мой отец, который некогда распоряжался моей жизнью. Но защитить меня от ужасов войны он не мог, он даже не мог помочь мне в казарме, где любой унтер был сильнее его. Мне пришлось самому все преодолевать, и было совершенно безразлично, есть у меня отец или нет.

Отец кончил. Я наливаю ему рюмку коньяку.

— Видишь ли, отец, — говорю я, садясь рядом с ним на диван, — ты, может быть, и прав. Но я научился жить в пещере, вырытой под землей, и довольствоваться коркой хлеба с пустой похлебкой. Мне нужно было только, чтобы не стреляли, и я уже был доволен. Какой-нибудь полуразвалившийся барак казался мне дворцом, а мешок, набитый соломой, — райским ложем. Пойми! Одно то, что я жив и вокруг нет стрельбы, меня пока что вполне удовлетворяет. На скромный кусок хлеба я как-нибудь заработаю, а для всего остального — целая жизнь впереди.

— Да, но ведь это не жизнь, — возражает отец, — такое

бесцельное существование.

— Как на чей взгляд, — говорю я. — А вот, по-моему, не жизнь, если в итоге только и можешь сказать, что ты тридцать лет подряд, изо дня в день, входил в одну и ту же классную комнату или в одну и ту же контору.

С удивлением выслушав меня, отец говорит:

— Однако я, например, двадцать лет хожу на картонажную фабрику и добился, как видишь, того, что стал самостоятельным мастером.

— А я ничего не хочу добиваться, отец, я просто хочу жить.

— И я прожил свою жизнь правильно и честно, — говорит он не без гордости, — недаром же меня выбрали в правление союза ремесленников.

— Радуйся, что жизнь твоя прошла так гладко, — отвечаю я.

— Но ведь что-нибудь ты должен делать, — настаивает отец.

— Сейчас я могу поступить на службу к одному моему товарищу по фронту, он предложил мне работать у него, — говорю я, чтобы успокоить отца. — На самое необходимое я заработаю.

Он укоризненно покачивает головой:

— И ради этого ты отказываешься от прекрасного казенного места?

— Мне уже не раз приходилось кой от чего отказываться, отец.

Он грустно попыхивает сигарой:

— А к старости ты бы имел право на пенсию.

— Ах, — говорю я, — кто из нас, солдат, доживет до шестидесяти лет? В наших костях засело столько всякой всячины, что это непременно даст себя когда-нибудь почувствовать. Мы наверняка окочуримся раньше.

При всем желании, не могу себе представить, что доживу до шестидесятилетнего возраста. Я слишком часто видел, как умирают в двадцать лет.

В задумчивости, покуривая сигару, смотрю на отца. Я понимаю, что он мой отец, но сейчас передо мной просто славный пожилой человек, осторожный и педантичный, и его взгляды не значат для меня ровно ничего. Я легко могу вообразить себе его на фронте: за ним всегда нужен был бы глаз да глаз, и в унтер-офицеры его, конечно, никогда бы не произвели.

После обеда я захожу к Кайлу. Он сидит за ворохом всяких брошюр и книг. Мне хочется поговорить с ним о многом, что меня гнетет, мне кажется, что он поможет мне найти какой-то путь. Но сегодня он сам какой-то неспокойный, взволнованный. Мы

болтаем некоторое время о том о сем.

— Я собираюсь сейчас к врачу… — говорит Кайл.

— Неужели все еще дизентерия? — спрашиваю я.

— Да нет… Тут другое…

— Что же, Кайл? — удивленно говорю я.

Он молчит. Губы у него дрожат.

— Не знаю, — произносит он наконец.

— Я провожу тебя, можно? Мне все равно делать нечего…

Он ищет фуражку:

— Ладно. Пойдем.

По дороге Кайл украдкой поглядывает на меня. Он как-то необычно подавлен и молчалив. Сворачиваем на Линденштрассе и подходим к дому, перед которым в маленьком унылом палисаднике торчит несколько кустов. На двери, на белой эмалевой дощечке, читаю: «Доктор Фридрих Шульц — кожные, мочеполовые и венерические болезни». Останавливаюсь пораженный.

— Что случилось, Кайл?

Он смотрит на меня невидящими глазами:

— Пока ничего, Эрнст. Был какой-то нарыв, прошел, а теперь опять.

— Пустяки, — говорю я с облегчением. — У меня каких только фурункулов не выскакивало: величиной прямо с детскую головку. Это все от суррогатов, которыми нас пичкали.

Мы звоним. Отворяет сестра — вся в белом. Оба мы страшно смущены и, красные до ушей, входим в приемную. Слава тебе господи, — мы одни. На столе пачка журналов. Это «Ди Вохе». Начинаем перелистывать. Номера довольно старые. Они возвращают нас к Брест-Литовскому миру.

Появляется врач. Очки его поблескивают. Дверь в кабинет полуоткрыта. Видно металлическое, обтянутое кожей кресло, подавляюще солидное и мрачное.

Смешная есть черта у врачей: обращаться с пациентами, как с маленькими детьми. У зубодеров это так уж и принято, в программу их курса вошло, но, по-видимому, это и здесь практикуется.

— Ну, господин Брайер, — начинает, балагуря, очковая змея, — придется нам с вами покороче познакомиться.

Кайл стоит как неживой. У него перехватывает дыхание:

— Так это?..

Врач сочувственно кивает:

— Да, анализ крови готов. Результат положительный. Ну-с, а теперь мы хорошенько примемся за этих маленьких негодяев.

— Положительный… — запинается Кайл. — Так, значит…

— Да, — говорит врач, — придется пройти небольшой курс лечения.

— Так, значит, у меня сифилис?

— Да.

Большая муха, жужжа, проносится по комнате и ударяется о стекло. Время остановилось. Воздух между этими стенами становится мучительно липким. Мир изменил свое лицо. Ужасное опасение сменилось ужасной уверенностью.

— Может быть, ошибка? — говорит Кайл. — Нельзя ли повторить исследование?

Врач качает головой:

— Лучше сразу приняться за лечение. У вас рецидив.

Кайл глотает слюну:

— Это излечимо?

Врач оживляется. Лицо его прямо-таки расцветает надеждой:

— Безусловно. Прежде всего мы полгодика повпрыскиваем вот из этих ампулок, а там посмотрим. Возможно, ничего больше и не понадобится. Люэс теперь излечим.

Люэс — какое отвратительное слово: будто длинная черная змея.

— На фронте подхватили? — спрашивает врач.

Кайл кивает.

— Почему же вы сразу не начали лечиться?

— Я не знал, что я болен. Нам раньше никогда ведь о таких вещах не говорили. Сразу не заметил, думал — пустяки. Потом все как-то само собой прошло.

Врач покачивает головой.

— Да, вот она, оборотная сторона медали, — небрежно роняет он.

С каким удовольствием я треснул бы его стулом по башке. Откуда знать этому эскулапу, что значит получить трехдневный отпуск в Брюссель и, вырвавшись из воронок, блевотины, грязи и крови, приехать вечерним поездом в город с улицами, фонарями, светом, магазинами и женщинами; в город, где есть настоящие гостиницы с белыми ваннами, в которых можно плескаться, можно смыть с себя всю грязь; в город с вкрадчивой музыкой, кафе на террасах и прохладным крепким вином, откуда знать ему о чарах, таящихся в одной только голубой дымке сумерек в это узкое мгновение между ужасом и ужасом; оно как лазурь в прорыве туч, как исступленный вскрик жизни в короткий промежуток между смертью и смертью. Кто знает, не повиснешь ли завтра с размозженными костями на колючей проволоке, ревя как зверь, издыхая; отпить еще глоток крепкого вина, вдохнуть еще раз этот воздух, взглянуть на этот сказочный мир переливчатых красок, грез, женщин, волнующего шепота, слов, от которых кровь вздымается черным фонтаном, от которых годы грязи, животной злобы и безнадежности тают, переходя в сладостный поющий вихрь воспоминаний и надежд. Завтра опять смерть запляшет вокруг тебя, завтра — опять вой снарядов, ручные гранаты, огнеметы, кровь и уничтожение; но сегодня еще хоть раз ощутить нежную кожу, которая благоухает и манит, как сама жизнь, манит неуловимо… Дурманящие тени на затылке, мягкие руки, все ломается и сверкает, низвергается и клокочет, небо горит… Кто же в такие минуты станет думать, что в этом

шепоте, в этом манящем зове, в этом аромате, в этой коже затаилось еще и другое, подстерегая, прячась, подкрадываясь и выжидая, — люэс; кто знает это, кто об этом хочет знать, кто вообще думает дальше сегодняшнего дня… Завтра все может быть кончено… Проклятая война, она научила нас брать и видеть лишь настоящее мгновенье.

— Что же теперь делать? — спрашивает Кайл.

— Как можно скорей начать лечение.

— Тогда давайте сейчас, — уже спокойно говорит Кайл. Он проходит с врачом в кабинет.

Я остаюсь в приемной и рву в клочки несколько номеров «Ди Вохе», в которых так и пестрит парадами, победами и пышными речами пасторов, славящих войну.

Кайл возвращается. Я шепчу ему:

— Пойди к другому врачу. Этот наверняка ничего не понимает. Ни бельмеса не смыслит.

Он устало машет рукой, и мы молча спускаемся с лестницы. Внизу он вдруг говорит, отвернувшись от меня:

— Ну, Эрнст, прощай, значит…

Я поднимаю глаза. Он стоит, прислонившись к перилам, и судорожно сжимает руки в карманах.

— Что с тобой? — испуганно спрашиваю я.

— Я должен уйти, — отвечает он.

— Так дай по крайней мере лапу, — говорю я, удивленно глядя на него.

Дрожащими губами он бормочет:

— Тебе, наверное, противно прикоснуться ко мне…

Растерянный, жалкий, худой стоит он у перил в той же позе, в какой обычно стоял, прислонясь к насыпи окопа, и лицо у него такое же грустное, и глаза так же опущены.

— Ах, Кайл, Кайл, что они только с нами делают… Мне противно прикоснуться к тебе? Ах ты дуралей, оболтус ты, вот я прикасаюсь к тебе, я сотни раз прикоснусь к тебе… — Слова вырываются у меня из груди какими-то толчками, я сам плачу, — черт меня возьми, осел я этакий, — и, обняв Кайла за плечи, прижимаю его к себе и чувствую, как он дрожит. — Ну, Кайл, все ведь это чепуха, может быть, и у меня то же самое, ну успокойся же, эта очковая змея наверняка все уладит.

А Кайл дрожит и дрожит, и я крепко прижимаю его к себе.

2

На сегодня после полудня в городе назначена демонстрация. Уже несколько месяцев, как цены непрерывно растут, и нужда сейчас больше, чем во время войны. Заработной платы не хватает на самое необходимое, но, даже имея деньги, не всегда найдешь,

что нужно. Зато количество дансингов и ресторанов с горячительными напитками с каждым днем увеличивается, и махрово цветут спекуляция и жульничество.

По улицам проходят отдельные группы бастующих рабочих. То тут, то там собираются толпы. Носятся слухи, будто войска стянуты к казармам. Но солдат пока нигде не видно.

Слышны крики «Долой!» и «Да здравствует!». На перекрестке выступает оратор. И вдруг все смолкает.

Медленно приближаются колонны демонстрантов в выцветших солдатских шинелях. Идут по четыре человека в ряд. Впереди — большие белые плакаты с надписями: «Где же благодарность отечества?» и «Инвалиды войны голодают!»

Плакаты несут однорукие. Они идут, то и дело оглядываясь, не отстают ли от них остальные демонстранты, — те не могут идти так быстро.

За однорукими следуют слепые с овчарками на коротких ремнях. На ошейниках собак — красный крест. С сосредоточенным видом шагает собака рядом с хозяином, Если шествие останавливается, собака мгновенно садится, и слепой останавливается. Иногда бегущие по улице собаки, виляя хвостом и подымая лай, бросаются к овчаркам-поводырям, чтобы поиграть и повозиться с ними. Но те лишь отворачивают головы, никак не реагируя на обнюхивание и лай. И хотя овчарки идут, чутко насторожив уши, и хотя глаза их полны жизни, но движутся они так, точно навеки зареклись бегать и резвиться, точно они понимают свое назначение. Они отличаются от своих собратьев, как сестры милосердия от веселых продавщиц. Пришлые собаки недолго заигрывают с поводырями; после нескольких неудачных попыток они поспешно убегают, как будто спасаются бегством. Только какой-то огромный дворовый пес стоит, широко расставив лапы, и лает упорно и жалобно, пока шествие не исчезает из виду…

Как странно: у этих слепцов, потерявших зрение на войне, движения другие, чем у слепорожденных, — стремительнее и в то же время осторожнее, эти люди еще не приобрели уверенности долгих темных лет. В них еще живет воспоминание о красках неба, земле и сумерках. Они держат себя еще как зрячие и, когда кто-нибудь обращается к ним, невольно поворачивают голову, словно хотят взглянуть на говорящего. У некоторых на глазах черные повязки, но большинство повязок не носит, словно без них глаза ближе к свету и краскам. За опущенными головами слепых горит бледный закат. В витринах магазинов вспыхивают первые огни. А эти люди едва ощущают у себя на лбу мягкий и нежный вечерний воздух. В тяжелых сапогах медленно бредут они сквозь

вечную тьму, которая тучей обволокла их, и мысли их упорно и уныло вязнут в убогих цифрах, которые для них должны, но не могут, быть хлебом, кровом и жизнью. Медленно встают в потускневших клеточках мозга призраки голода и нужды. Беспомощные, полные глухого страха, чувствуют слепые их приближение, но не видят их и не могут сделать ничего другого, как только, сплотившись, медленно шагать по улицам, поднимая из тьмы к свету мертвенно-бледные лица, с немой мольбой устремленные к тем, кто еще может видеть: когда же вы увидите?!

За слепыми следуют одноглазые, раненные в голову, плывут изуродованные лица без носов и челюстей, перекошенные бугристые рты, сплошные красные рубцы с отверстиями на месте носа и рта. А над этим опустошением светятся тихие, вопрошающие печальные человеческие глаза.

Дальше движутся длинные ряды калек с ампутированными ногами. Многие уже носят протезы, которые как-то торопливо стучат все вкось-вкось, со звоном ударяясь о мостовую, словно весь человек искусственный — железный и на шарнирах.

За ними идут контуженные. Их руки, их головы, их платье, все существо их трясется, словно они все еще дрожат от страха. Они не в силах овладеть этой дрожью, воля их сражена, их мускулы и нервы восстали против мозга, в глазах — отупение и бессилие.

Одноглазые и однорукие катят в плетеных колясках с клеенчатыми фартуками инвалидов, которые отныне могут жить только в кресле, на колесах. В этой же колонне несколько человек толкают плоскую ручную тележку, похожую на те, которыми пользуются столяры для перевозки кроватей и гробов. На тележке человеческий обрубок. Ног нет совсем. Это только верхняя половина тела рослого человека. Плотный затылок, широкое славное лицо с густыми усами. Такие лица бывают у упаковщиков мебели. Около калеки высится плакат, на котором он сам, вероятно, вывел косым почерком: «И я бы хотел ходить, братцы!» Взгляд у него сосредоточен и строг. Иногда, опираясь на руки, он чуть-чуть приподнимается на своей тележке, чтобы переменить положение.

Шествие медленно тянется по улицам. Там, где оно показывается, сразу все смолкает. На углу Хакенштрассе происходит длительная заминка: тут строится новый ресторан с дансингом и вся улица запружена кучами песку, возами с цементом и лесами. Между лесами, над будущим входом, уже светятся красные огни вывески: «Астория. Дансинг и бар». Тележка с безногим останавливается как раз напротив. Он ждет, пока не уберут с дороги несколько железных брусьев. Темные

волны багряно-красных лучей падают на фигуру калеки и зловещей краской заливают его молчаливо поднятое к ним лицо; оно словно набухает дикой страстью и вот-вот разорвется в страшном вопле.

Шествие двигается дальше, и над тележкой опять лицо упаковщика мебели, бледное от долгого лежания в госпитале и от бледного вечернего света; сейчас он благодарно улыбается товарищу, сунувшему ему в рот сигарету. Тихо движутся колонны по улицам, — ни криков, ни возмущения; просить идут они, а не требовать; они знают: кто лишен возможности стрелять, тому на многое рассчитывать не приходится. Они пойдут к ратуше, там постоят, какой-нибудь секретаришка скажет им несколько слов; потом они разойдутся, и каждый вернется домой, в свое тесное жилище, к своим бледным детям и седой нужде; вернется без каких-либо надежд — невольник судьбы, которую ему уготовили другие.

Чем ближе к вечеру, тем в городе неспокойнее. Я брожу с Альбертом по улицам. На каждом углу — группки людей. Носятся всякие слухи. Говорят, что где-то произошло столкновение между войсками рейхсвера и рабочей демонстрацией.

Вдруг со стороны церкви св. Марии раздается несколько выстрелов: сначала — одиночные, потом сразу — залп. Альберт и я смотрим друг на друга и тотчас же, не говоря ни слова, бросаемся туда, откуда доносятся выстрелы.

Навстречу нам попадается все больше и больше народу.

— Добывайте оружие! Эта сволочь стреляет! — кричат в толпе.

Мы прибавляем шагу. Проталкиваемся сквозь толпу, и вот уже мчимся бегом; жестокое, опасное волнение влечет нас туда. Мы задыхаемся. Трескотня усиливается.

— Кайл!

Он бежит рядом. Губы его плотно сжаты, скулы выдаются, глаза холодны, и взгляд их напряжен — у него опять лицо окопа. И у Альберта такое же. И у меня. Ружейные выстрелы притягивают нас, как жуткий тревожный сигнал.

Толпа впереди с криком отпрянула назад. Мы прорываемся вперед. Женщины, прикрывая фартуками лица, бросаются в разные стороны. Толпа ревет. Выносят раненого.

Мы подбегаем к рыночной площади. Перед зданием ратуши укрепились войска рейхсвера. Тускло поблескивают стальные шлемы. У подъезда установлен пулемет. Он заряжен. На площади пусто, по улицам, прилегающим к ней, толпится народ. Идти дальше — безумие. Пулемет властвует над площадью.

Но вот из толпы отделяется человек и выходит вперед. За ним, в ущельях улиц, клокочет, бурлит и жмется к домам черная плотная масса.

Человек уже далеко. На середине площади он выходит из тени, отбрасываемой церковью, в полосу лунного света. Ясный, резкий голос останавливает его:

— Назад!

Человек поднимает руки. Луна так ярко светит, что, когда он начинает говорить, в темном отверстии рта сверкает белый оскал зубов.

— Братья!

Все смолкает.

И только один голос между церковью, массивом ратуши и тенью реет над площадью — одинокий голубь.

— Бросайте оружие, друзья! Неужели вы будете стрелять в ваших братьев? Бросайте оружие и идите к нам!

Никогда еще луна не светила так ярко. Солдатские шинели у подъезда ратуши — точно меловые. Мерцают стекла окон. Освещенная половина колокольни — зеркало из зеленого шелка. В лунном свете каменные рыцари на воротах в шлемах с забралами отделяются от темной стены.

— Назад! Буду стрелять! — раздается тот же властный, холодный голос. Я оглядываюсь на Кайла и Альберта. Это голос командира нашей роты! Это голос Хееля! Я застываю в невыносимом напряжении, точно присутствую при казни. Я знаю: Хеель ни перед чем не остановится — он велит стрелять.

Темная человеческая масса шевелится в тени домов, она колышется и ропщет. Проходит целая вечность. От ратуши отделяются два солдата с ружьями наперевес и идут на одинокого человека, стоящего посреди площади. Кажется, будто они движутся бесконечно медленно, они словно топчутся на месте в серой трясине — блестящие куклы с ружьями наизготовку. Человек спокойно ждет их приближения. Когда они подходят вплотную, он снова начинает:

— Братья!..

Они хватают его под руки и тащат. Человек не защищается. Они так быстро волокут его, что он чуть не падает. Сзади раздаются крики, масса приходит в движение, медленно, беспорядочно выдвигается на площадь.

Ясный голос командует:

— Скорей ведите его! Открываю огонь!

Воздух оглашается предупреждающим залпом. Человек внезапно вырывается из рук солдат, но он не спасается бегством, а бежит наперерез, прямо на пулемет:

— Не стреляйте, братцы!

Еще ничего не случилось, но, видя, что безоружный человек бросился вперед, толпа устремляется за ним. Вот она уже бушует в узком проходе около церкви. В следующий миг над площадью проносится команда, с громом рвется «так-так-так» пулемета, повторенное многократным эхом от домов, и пули со свистом и звоном шлепаются о мостовую.

С быстротой молнии бросаемся мы за выступ дома. На одно мгновение меня охватывает парализующий, подлый страх — совсем иной, чем на фронте. И тотчас же он переходит в ярость. Я видел, как одинокий человек на площади зашатался и упал лицом вперед. Осторожно выглядываю из-за угла. Как раз в это время он пытается встать, но это ему не удается. Медленно подгибаются руки, запрокидывается голова, и, точно в беспредельной усталости, вытягивается на площади человеческое тело. Ком, сдавливавший горло, отпускает меня.

— Нет! — вырывается у меня. — Нет!

И крик мой пронзительным воплем повисает между стенами домов.

Я чувствую вдруг, как меня кто-то отталкивает. Кайл Брайер выходит на площадь и идет к темной глыбе смерти.

— Кайл! — кричу я.

Но Кайл идет вперед, вперед… Я с ужасом гляжу ему вслед.

— Назад! — опять раздается команда.

Кайл на мгновение останавливается.

— Стреляйте, стреляйте, обер-лейтенант Хеель! — кричит он в сторону ратуши и, подойдя к лежащему на земле человеку, нагибается над ним.

Мы видим, как с лестницы ратуши спускается офицер. Не помня как, оказываемся мы возле Кайла и ждем приближающегося к нам человека, в руках у которого трость — единственное его оружие. Человек этот ни минуты не колеблется, хотя нас теперь трое и при желании мы легко могли бы его схватить, — солдаты, из опасения попасть в него, не отважились бы открыть стрельбу.

Кайл выпрямляется:

— Поздравляю вас, обер-лейтенант Хеель, этот человек мертв.

Струйка крови бежит из-под солдатской куртки убитого и стекает в выбоины мостовой. Около выскользнувшей из рукава правой руки, тонкой и желтой, кровь собирается в лужу, черным зеркалом поблескивающую в лунном свете.

— Брайер! — восклицает Хеель.

— Вы знаете, кто это? — спрашивает Кайл.

Хеель смотрит на него и качает головой.

— Макс Вайль!

— Я хотел спасти его, — помолчав, почти задумчиво говорит Хеель.

— Он мертв, — отвечает Кайл.

Хеель пожимает плечами.

— Он был нашим товарищем, — продолжает Кайл.

Хеель молчит.

Кайл холодно смотрит на него:

— Чистая работа!

Хеель словно просыпается.

— Не это важно, — спокойно говорит он, — важна цель: спокойствие и порядок.

— Цель! — презрительно бросает Кайл. — С каких это пор вы ищете оправдания для ваших действий? Цель! Вы просто нашли себе занятие, вот и все. Уведите ваших солдат. Надо прекратить стрельбу.

Хеель делает нетерпеливое движение:

— Мои солдаты останутся. Если они сегодня отступят, завтра против них выступит в десять раз более сильный отряд. Вы сами это отлично знаете. Через пять минут я займу входы в улицы. Воспользуйтесь этим сроком и унесите убитого.

— Берите его! — обращается к нам Кайл. Потом еще раз поворачивается к Хеелю: — Если вы сейчас отступите, вас никто не тронет. Если вы останетесь, будут новые жертвы. По вашей вине. Вам это ясно?

— Мне это ясно, — холодно отвечает Хеель.

С минуту мы еще стоим друг против друга. Хеель оглядывает нас всех по очереди. Напряженное, странное мгновение. Словно что-то разбилось.

Мы поднимаем мертвое покорное тело Макса Вайля и уносим его. Улицы снова запружены народом. Когда мы приближаемся, толпа расступается, образуя широкий проход. Несутся крики:

— Свора Носке! Кровавая полиция! Убийцы!

Из спины Макса Вайля течет кровь.

Мы вносим его в ближайший дом. Это, оказывается, «Голландия». Там уже работают санитары, перевязывая двух раненых, положенных прямо на навощенный паркет. Женщина в забрызганном кровью фартуке стонет и рвется домой. Санитарам стоит больших усилий удержать ее, пока принесут носилки и придет врач. Она ранена в живот. Рядом с ней лежит мужчина, еще не успевший расстаться со старой солдатской курткой. У него прострелены оба колена. Жена его, опустившись около него на пол, причитает:

— Ведь он ничего не сделал! Он просто шел мимо! Я только что принесла ему обед, — она показывает на серую эмалированную кастрюлю с ручкой, — обед принесла.

Дамы, танцевавшие в «Голландии», жмутся в углу. Управляющий растерянно мечется, спрашивая у всех, нельзя ли перевести раненых куда-нибудь в другое место. Дела его пойдут прахом, если в городе узнают об этой истории. Никто не пойдет сюда танцевать. Антон Демут, не снимая своей раззолоченной ливреи, притащил бутылку коньяку и подносит ее ко рту раненого. Управляющий в ужасе смотрит на Антона и делает ему знаки. Тот не обращает внимания.

— Как ты думаешь, мне не отнимут ног? — спрашивает раненый. — Я шофер, понимаешь?

Приносят носилки. На улице опять трещат выстрелы. Мы вскакиваем. Крики, вопли, звон стекол. Мы выбегаем на улицу.

— Разворачивай мостовую! — кричит кто-то, всаживая кирку под камни.

Из окон летят матрацы, стулья, детская коляска. С площади стреляют. Но теперь уже и отсюда, с крыш, стреляют по площади.

— Фонари гаси!

Из толпы кто-то выскакивает и запускает кирпичом в фонарь. Сразу становится темно.

— Козоле!

Это Альберт кричит. С ним Бер. Все прибежали на выстрелы, словно водоворотом притянули они нас.

— Вперед, Эрнст, Кайл, Альберт! — ревет Козоле. — Эти скоты стреляют в женщин!

Мы залегли в воротах какого-то дома. Хлещут пули, люди кричат, мы захвачены потоком, увлечены им, опустошены, в нас клокочут ненависть, кровь брызжет на мостовую, мы снова солдаты, прошлое настигло нас, война, грохоча и беснуясь, бушует над нами, между нами, в нас. Все пошло прахом, — товарищеское единение изрешечено пулеметом, солдаты стреляют в солдат, товарищи в товарищей, все кончено, все кончено…

3

Адольф Бетке продал свой дом и переехал в город.

Первое время после того, как жена вернулась к нему, все шло хорошо. Адольф занимался своим делом, жена — своим, и казалось, жизнь налаживается, входит в свою колею.

Но по деревне сплетничали и шушукались. Стоило жене Адольфа показаться на улице, как вдогонку ей неслись всякие шуточки; встречные парни нахально смеялись в лицо; женщины, проходя мимо, выразительным жестом подбирали юбки. Она

ничего не рассказывала Адольфу, а сама мучилась и с каждым днем бледнела все больше.

Адольфу тоже приходилось несладко. Не успевал он переступить порог трактира, как разговоры смолкали; зайдет к кому-нибудь в гости, и его встречает смущенное молчание хозяев. Кое-кто отваживался даже на двусмысленный вопрос. Если Адольф выпивал где-нибудь в компании, сейчас же начинались идиотские намеки, и частенько за его спиной раздавался насмешливый хохот. Он не знал, как ему бороться. Он думал: с какой стати давать деревне отчет о том, что касается только его одного, когда даже пастор не желает ничего понять? При встрече он с осуждением взглядывал на Адольфа поверх своих золотых очков. Тяжело было все это терпеть, но и Адольф молчал, ничего не говорил жене.

Так вот и жили они друг подле друга, пока однажды, воскресным вечером, свора преследователей не обнаглела до того, что в присутствии Адольфа жене его крикнули какую-то непристойность. Адольф вспылил. Но жена положила ему руку на плечо.

— Не надо, Адольф, — сказала она, — они так часто это делают, что я уже не слышу их.

— Часто?

Теперь ему стала понятна ее постоянная молчаливость. В ярости бросился он за обнаглевшим парнем, но тот спрятался за сомкнувшиеся спины товарищей.

Бетке пошли домой и молча легли в постель. Адольф лежал, неподвижно уставившись в пространство. Вдруг до слуха его донеслось слабое, подавленное всхлипывание: жена, уткнувшись в одеяло, плакала. Не раз, верно, она так лежала и плакала, когда он спал…

— Успокойся, Мария, — тихо сказал он, — ну их, пусть болтают…

Но она продолжала плакать.

Адольф чувствовал себя беспомощным и одиноким. За окнами враждебно сгустилась тьма, и деревья шептались, как старые сплетницы. Он осторожно обнял жену за плечи. Она подняла к нему заплаканное лицо:

— Адольф, знаешь, я лучше уйду… Они тогда перестанут…

Она встала, свеча еще горела; огромная — во всю комнату — тень качнулась, скользнула по стенам, и по сравнению с ней женщина казалась маленькой и беспомощной. Присев на край кровати, она протянула руку за чулками и кофточкой. Точно немая судьба, прорвавшись через окна из мрака, тень тоже протянула огромную руку и, гримасничая, кривляясь, хихикая,

повторяла все движения женщины; казалось, она вот-вот бросится на свою добычу и утащит ее в воющую тьму.

Адольф вскочил и задернул белые кисейные шторы на окнах, словно загораживая низенькую комнатку от ночи, глядевшей жадными совиными глазами через эти четырехугольные зияющие просветы.

Жена, натянув чулки, взялась за лифчик. Адольф подошел к ней:

— Брось, Мария!..

Она взглянула на него и опустила руки. Лифчик упал на пол. Тоска глядела из глаз женщины, тоска загнанного существа, тоска побитого животного — вся беспредельная тоска тех, кто не в силах защитить себя. Адольф увидел эту тоску. Он обнял жену, он ощутил ее всю — мягкую, теплую. И как только можно бросать в нее камнями? Разве они помирились не по доброй воле? Почему же ее так безжалостно травят, так жестоко преследуют? Он притянул ее к себе, и она прильнула к нему, обвила руками его шею и положила голову к нему на грудь. Так стояли они, дрожа от холода, в одних ночных рубашках, прильнув друг к другу, и каждый желал согреться теплом другого. Потом они присели на край кровати, сгорбившись, изредка роняя слово-другое, и когда тени их опять заколебались на стене, потому что фитиль на свечке накренился набок и огонек начал, мигая, угасать, Адольф ласковым движением притянул жену в постель, и это означало: мы останемся вместе, мы попытаемся снова наладить нашу жизнь. И он сказал:

— Мы уедем отсюда, Мария.

Это был единственный выход.

— Да, да, Адольф, давай уедем!

Она бросилась к нему и только теперь громко разрыдалась. Крепко обнимая ее, он беспрестанно повторял:

— Завтра же поищем покупателя, завтра же…

Пламя надежд и ярости, горечи и отчаяния вспыхнуло в нем страстью, и жар ее заставил женщину умолкнуть, всхлипывания становились все тише, как у ребенка, и наконец замерли, перейдя в изнеможение и мирное дыхание.

Свеча погасла, тени исчезли, жена уснула, но Адольф долго еще лежал без сна и думал, и думал. Поздно ночью жена проснулась и почувствовала на себе чулки, которые она надела, когда хотела уходить. Она сняла их и, расправив, положила на стул у кровати.

Спустя два дня Адольф Бетке продал дом и мастерскую. Вскоре он нашел квартиру в городе. Погрузили мебель. Собаку пришлось оставить. Но тяжелей всего было расставаться с садом.

Нелегко далось Адольфу прощание. Он знал, что ждет его впереди. А жена была покорна и тиха.

Городской дом оказался сырым и тесным. Лестница грязная, стоит запах прачечных, воздух густ от соседской ненависти и непроветренных комнат. Работы у Адольфа мало, и слишком много времени остается для всяких мыслей. Обоим по-прежнему тяжело, словно все то, от чего они бежали, нагнало их и здесь.

Адольф часами просиживает на кухне и силится понять, почему они не могут зажить по-иному. Когда вечерами они сидят друг против друга, когда газета прочитана и ужин убран со стола, их обступает все та же томительная пустота. Адольф чувствует, что задыхается от вечного вслушивания, от бесконечных раздумий. Жена берется за какую-нибудь работу, старательно чистит плиту. И когда он говорит: «Поди сюда, Мария», она откладывает тряпку и наждак и подходит, он притягивает ее к себе на колени и, жалкий в своем одиночестве, шепчет: «Мы как-нибудь одолеем это», она кивает, все так же молча, а ему хочется видеть ее веселой. Он не понимает, что это зависит не только от нее, но и от него, что за четыре года разлуки они отвыкли друг от друга и теперь действуют друг на друга угнетающе. «Да скажи же, наконец, что-нибудь!» — раздражается Адольф. Она пугается и покорно начинает что-то говорить. Но о чем ей говорить? Что особенного происходит здесь, в этом доме или у нее на кухне? И если между двумя близкими людьми доходит до того, что они должны обязательно о чем-нибудь разговаривать, то, сколько бы они ни говорили, они никогда ни до чего не договорятся. Говорить хорошо, когда за словами счастье, когда слова льются легко и свободно. А когда человек несчастлив, могут ли помочь ему такие неверные, ненадежные вещи, как слова? От них только тяжелее.

Адольф следит за каждым движением жены и представляет себе другую — молодую, веселую женщину, которая жила в его воспоминаниях и которую он не может забыть. В нем вспыхивает досада, и он раздраженно бросает ей:

— Верно, все о нем думаешь, а?

И оттого, что она смотрит на него широко открытыми глазами и он сознает свою несправедливость, он сверлит все глубже:

— Должно быть, так и есть. Ты ведь раньше такой не была! Зачем ты вернулась ко мне? Могла у него остаться!

Каждое слово ему самому причиняет страдание, но кого это остановит! Он продолжает говорить, и женщина, забившись в угол возле крана, куда не достигает свет, плачет и плачет, как

заблудившееся дитя. Ах, все мы дети, заблудившиеся, глупые дети, и ночь всегда подстерегает наш дом.

Ему становится невмоготу, он уходит и бесцельно бродит по улицам, останавливается, ничего не видя, у витрин магазинов и бежит туда, где светло. Звенят трамваи, проносятся автомобили, прохожие толкают его, и в желтом свете фонарей стоят проститутки. Вихляя здоровенными бедрами, они смеются и задирают друг дружку.

— Ты веселая? — спрашивает он и идет с ними, довольный уж тем, что слышит и видит что-то такое, что может отвлечь его от самого себя.

Потом он снова слоняется без цели, домой идти не хочет, и вместе с тем домой его тянет. Он переходит из пивной в пивную и напивается до бесчувствия.

В таком состоянии я встретил его, и он все мне рассказал. Я смотрю на него: он сидит в каком-то оцепенении, глаза мутные, слова он точно выдавливает из себя и все время пьет. Я смотрю на Адольфа Бетке, самого находчивого, самого стойкого солдата, самого верного товарища, который многим помог и многих спас. Мне он был защитой и утешением, матерью и братом, там, на фронте, когда вспыхивали световые ракеты и нервы не выдерживали атак и смерти. Бок о бок спали мы с ним в сырых окопах, и он укутывал меня, когда я заболевал; он все умел, он всегда знал, как выйти из беды, а здесь запутался в колючей проволоке и раздирает себе лицо и руки, и глаза у него уже помутнели…

— Эх, брат Эрнст, — говорит он голосом, полным безнадежности, — лучше бы нам не возвращаться с фронта, там, по крайней мере, мы были вместе…

Я не отвечаю, я смотрю на свой рукав, на замытые бурые пятна. Это кровь Макса Вайля, убитого по приказу Хееля. Вот к чему мы пришли. Снова война, но товарищества уже больше нет.

4

Конор празднует свою свадьбу с колбасным заведением. Торговля конским мясом разрослась, стала золотым дном, и по мере того, как она разрасталась, росла склонность Конора к Марихен.

Утром жених с невестой в черной лакированной карете, обитой изнутри белым шелком, отправляются в мэрию и в церковь; карета, конечно, запряжена четверкой, как оно и подобает дельцу, нажившемуся на конском мясе. Свидетелями приглашены Вилли и Козоле. Вилли для сего торжественного случая купил себе пару белых, чистобумажных, перчаток. Стоило это немалых усилий. Карлу пришлось достать для него с

полдюжины ордеров, и, несмотря на это, поиски перчаток продолжались целых два дня, — ни в одном магазине не оказалось нужного размера. Но, надо сказать, труды даром не пропали. Белые, как известка, мешки, которые Вилли наконец раздобыл, в значительной мере оживляют его заново выкрашенный фрак. Конор также во фраке, Марихен в подвенечном платье со шлейфом и в миртовом веночке.

Перед самым отбытием в мэрию происходит заминка. Козоле, увидев Конора во фраке, начинает хохотать так, что с ним делаются колики. Стоит ему поглядеть в ту сторону, где оттопыренные уши Конора светятся над высоким крахмальным воротничком, как он, не успев прийти в себя от первого приступа, снова разражается хохотом. Дело плохо: он ведь и в церкви может так прыснуть, что испортит всю процедуру. Поэтому в самый последний момент мне приходится заменить Козоле.

Колбасное заведение торжественно убрано. У входа — цветы в горшках и молодые березки; даже на дверях помещения, где производят убой, гирлянды из еловых веток; Вилли, под громкое одобрение окружающих, прикрепляет к ним щит с надписью: «Добро пожаловать!»

Само собой разумеется, к столу не подается ни кусочка конины. На блюдах дымится первосортная свинина, а посреди стола стоит огромное блюдо телячьего жаркого, нарезанного ломтиками.

После жаркого Конор снимает фрак и воротничок. Это дает возможность Козоле энергичней приняться за дело, ибо до сих пор он не мог повернуть головы, боясь подавиться от смеха. Мы следуем примеру Конора, и сразу становится уютнее.

После обеда тесть Конора зачитывает документ, в котором зять объявляется совладельцем мясной. Мы поздравляем Конора; Вилли в белых перчатках торжественно подносит наш свадебный дар: медный поднос и двенадцать граненых рюмок. В качестве приложения к сервизу три бутылки коньяка из запасов Карла.

Вечером ненадолго появляется Кайл. По настойчивой просьбе Конора он надел военную форму — Конор хочет показать своим, что в числе его друзей имеется настоящий лейтенант. Но Кайл очень скоро уходит. Мы же сидим до тех пор, пока на столе ничего не остается, кроме костей и пустых бутылок.

Когда мы, наконец, выходим на улицу, бьет полночь. Альберт предлагает еще зайти в кафе Грегера.

— Там уже давно все заперто, — говорит Вилли.

— Можно пройти со двора, — настаивает Альберт. — Карл знает там все ходы и выходы.

Ни у кого из нас нет особенного желания идти. Но Альберт так уговаривает, что мы уступаем. Меня удивляет Альберт, — обычно его всегда первого тянет домой.

С улицы кажется, что у Грегера темно и тихо, однако, войдя со двора, мы попадаем в самый разгар ресторанной жизни. Грегеровский ресторан — излюбленное место встречи спекулянтов; здесь каждый день кутеж до утра.

Часть помещения отведена под маленькие ложи, занавешенные красными плюшевыми портьерами. Большая часть портьер задернута. Из-за портьер доносятся взвизгивание и смех. Вилли ухмыляется во весь рот:

— Грегеровские персональные бордельчики!

Мы занимаем столик в глубине ресторана. Все переполнено. Справа столы проституток. Где процветают делишки, там цветет и радость жизни. Значит двенадцать женщин, которые сидят здесь за столиками, — это не так уж много. Впрочем, у них есть и конкурентки. Карл указывает нам на фрау Никель, пышную черноволосую особу. Муж ее — мелкий спекулянт, и без нее он пропал бы с голоду. Ее помощь выражается в том, что она часок-другой ведет с его клиентами предварительные переговоры у себя дома, без посторонних свидетелей.

У всех столиков — возбужденное движение, перешептывание, шушуканье, сутолока. Мужчин в английских костюмах и новых шляпах зазывают в уголок людишки в куртках без воротничков и галстуков, из карманов таинственно вытаскиваются пакетики с образцами товаров, все это осматривается и ощупывается, отвергается и снова предлагается, на столах появляются записные книжки, карандаши приходят в движение, время от времени кто-нибудь бросается к телефону или на улицу, и кругом так и жужжит: вагоны, килограммы, масло, сельди, сало, ампулы, доллары, гульдены, акции и цифры, цифры, цифры…

Около нас с особой горячностью ведутся дебаты о каком-то вагоне угля. Но Карл пренебрежительно машет рукой.

— Все это, — говорит он, — дутые дела. Один где-то что-то слышал, другой передает услышанное еще кому-то, третий заинтересовывает четвертого, все суетятся и напускают на себя важность, но за такой суетой почти всегда — пустое место. Вся эта публика — лишь посредники, которым хочется урвать немного комиссионных. Настоящий же король спекуляции действует через одного, самое большее — через двух человек, хорошо ему известных. Вон тот толстяк, который сидит против нас, закупил вчера в Польше два вагона яиц. Сейчас они будто бы отправлены в Голландию, а в дороге получат новый адрес, прибудут сюда как свежие голландские яйца, и он продаст их

втридорога. Те вон, что сидят впереди нас, — торговцы кокаином. Зарабатывают колоссальные деньги. Слева — Дидерихс. Он торгует только салом. Тоже выгодно.

— Из-за этих скотов нам приходится животы подтягивать, — ворчит Вилли.

— Что с ними, что без них — один черт, — возражает Карл. — На прошлой неделе с государственного склада продали десять бочек испорченного масла, — прогоркло от долгого стояния. То же самое и с хлебом. Бартшер недавно за безделицу купил несколько вагонов казенного зерна; в развалившемся сарае оно отсырело и проросло грибком.

— Как фамилия, ты сказал? — спрашивает Альберт.

— Бартшер. Юлиус Бартшер.

— Часто он здесь бывает? — интересуется Альберт.

— Кажется, довольно часто, — говорит Карл. — А на что он тебе? Хочешь дела завязать с ним?

Альберт отрицательно качает головой.

— А денег у него много?

— Куры не клюют, — с оттенком почтительности отзывается Карл.

— Глядите, вон Артур! — смеясь, восклицает Вилли.

Из дверей, выходящих во двор, выплывает канареечно-желтый плащ. Несколько человек встают и бросаются к Леддерхозе. Он отстраняет их, кой-кому покровительственно кивает и проходит между столиками, словно генерал какой-нибудь. Я с удивлением смотрю на незнакомое нам жесткое, неприятное выражение его лица; выражение это даже улыбка не смягчает.

Он здоровается с нами чуть ли не свысока.

— Присядь, Артур, — ухмыляется Вилли.

Леддерхозе колеблется, но не может устоять перед соблазном показать нам, какая он здесь, в своей сфере, персона.

— Пожалуй, но на одну минутку, — говорит он и садится на стул Альберта.

Альберт между тем бродит по кафе, разыскивая кого-то. Я хотел пойти вслед за ним, но раздумал, решив, что он ищет туалет. Леддерхозе заказывает водку и начинает переговоры: десять тысяч пар сапог военного образца, двадцать вагонов сырья; у его собеседника пальцы так и сверкают бриллиантами. Время от времени Леддерхозе взглядом проверяет, прислушиваемся ли мы к их разговору.

Альберт идет вдоль ряда лож. Ему что-то наговорили, чему он не может поверить, но что, вместе с тем, весь день сегодня не дает ему покоя. Заглянув через щелку в предпоследнюю ложу, он останавливается: его словно обухом по голове хватили.

Зашатавшись, он отдергивает портьеру.

На столе бокалы с шампанским, цветы, скатерть наполовину сдвинута и свисает на пол. За столом, в кресле, свернувшись клубочком, сидит светловолосая девушка. Платье соскользнуло к ногам, волосы растрепаны, и грудь ее обнажена. Девушка сидит спиной к Альберту, напевает модную песенку и, глядясь в карманное зеркальце, поправляет прическу.

— Люси! — хрипло произносит Альберт.

Вздрогнув, она быстро поворачивается и смотрит на Альберта, точно перед ней привидение. Судорожно пробует она улыбнуться, но лицо ее каменеет, когда она замечает взгляд Альберта, устремленный на ее голую грудь. Лгать уже не приходится. В страхе жмется она к спинке кресла.

— Альберт, я не виновата… Это он все… — запинается она и вдруг быстро-быстро начинает лопотать: — Он напоил меня, Альберт, я этого совсем не хотела, он все подливал мне, я уже ничего не понимала, клянусь тебе…

Альберт молчит.

— Что здесь происходит? — раздается голос за его спиной.

Бартшер вернулся из туалета и стоит у портьеры, покачиваясь из стороны в сторону. Дым своей сигары он пускает прямо в лицо Альберту:

— Захотелось маленько на чужой счет поживиться, а? Марш отсюда! Отчаливай!

Мгновение Альберт, точно оглушенный, стоит перед ним, С невероятной четкостью отпечатываются в его мозгу округлый живот, клетчатый рисунок коричневого костюма, золотая цепочка от часов и широкое, красное лицо.

В этот миг Вилли, случайно взглянув в ту сторону, вскакивает и, опрокинув на пути двух-трех человек, мчится через весь зал. Но поздно. Альберт уже вытащил револьвер и стреляет. Мы все бросаемся туда.

Бартшер попытался загородиться стулом, но успел поднять его только на уровень глаз. А пуля Альберта попадает двумя сантиметрами выше, в лоб. Он почти не целился, — он всегда считался лучшим стрелком в роте и всегда стреляет из своего револьвера только наверняка. Бартшер падает. Ноги у него подергиваются. Выстрел оказался смертельным. Девушка визжит.

— Прочь! — кричит Вилли, сдерживая натиск публики. Мы хватаем Альберта, который стоит неподвижно и не спускает глаз с девушки, тащим его за руки и бежим через двор, на улицу, сворачиваем за угол и еще раз за угол и оказываемся на неосвещенной площади, где стоят два мебельных фургона. Вилли прибегает вслед за нами.

— Ты немедленно должен скрыться. Этой же ночью, — запыхавшись говорит он.

Альберт смотрит на него, будто только что проснулся. Потом высвобождается из наших рук.

— Брось, Вилли, — с трудом произносит он, — я знаю, что мне теперь делать.

— Ты с ума сошел! — рявкает на него Козоле.

Альберт слегка покачнулся. Мы поддерживаем его. Он снова отстраняет нас.

— Нет, Фердинанд, — тихо говорит он, словно он до смерти устал, — кто идет на одно, должен идти и на другое.

И, повернувшись, Альберт медленно уходит от нас.

Вилли бежит за ним, уговаривает его. Но Альберт только качает головой и, дойдя до Мюлленштрассе, сворачивает за угол. Вилли идет следом за ним.

— Его нужно силой увести, он способен пойти в полицию! — волнуется Козоле.

— Все это, по-моему, ни к чему, Фердинанд, — грустно говорит Карл. — Я знаю Альберта.

— Но ведь тот все равно не воскреснет! — кричит Фердинанд. — Какой ему от этого толк? Альберт должен скрыться!

Мы молча стоим в ожидании Вилли.

— И как только он мог это сделать? — через минуту говорит Козоле.

— Он очень любил эту девушку, — говорю я.

Вилли возвращается один. Козоле подскакивает к нему:

— Скрылся?

Вилли отворачивается:

— Пошел в полицию. Ничего нельзя было сделать. Чуть в меня не выстрелил, когда я хотел увести его.

— Ах, черт! — Козоле кладет голову на оглобли фургона. Вилли бросается на траву. Мы с Карлом прислоняемся к стенкам фургона.

Козоле, Фердинанд Козоле, всхлипывает как малое дитя.

5

Грянул выстрел, упал камень, чья-то темная рука легла между нами. Мы убегали от неведомой тени, но мы кружили на месте, и тень настигла нас.

Мы метались и искали, мы ожесточались и покорно шли на все, мы прятались и подвергались нападению, мы блуждали и шли дальше, и всегда, что бы мы ни делали, мы чувствовали за собой тень, от которой мы спасались, Мы думали, что она гонится за нами, и не знали, что тащим ее за собой, что там, где мы,

безмолвно присутствует и она, что она была не за нами, а внутри нас, в нас самих.

Мы хотели возводить здания, мы томились по садам и террасам, мы хотели видеть море и ощущать ветер. Но мы забыли, что дома нуждаются в фундаменте. Мы походили на покинутые, изрытые воронками поля Франции: в них та же тишина, что и на пашнях вокруг, но они хранят в себе еще много невзорвавшихся мин, и плуг там до тех пор будет таить в себе опасность, пока все мины не выроют и не уберут.

Мы все еще солдаты, хотя и не осознали это. Если бы юность Альберта протекала мирно, без надлома, у него было бы многое, что доверчиво и тепло росло бы вместе с ним, поддерживало и охраняло его. Придя с войны, он ничего не нашел: все было разбито, ничего не осталось у него в жизни, и вся его загнанная юность, все его подавленные желания, жажда ласки и тоска по теплу родины — все слепо устремилось на одно это существо, которое, казалось ему, он полюбил. И когда все рухнуло, он сумел только выстрелить, — ничему другому он не научился. Если бы он не был столько лет солдатом, он нашел бы много иных путей. А так — у него и не дрогнула рука, — он давно привык метко попадать в цель. В Альберте, в этом мечтательном юноше, в Альберте, в этом робком влюбленном, все еще жил Альберт-солдат.

Подавленная горем старая женщина никак не может осмыслить свершившегося…

— И как только мог он это сделать? Он всегда был таким тихим ребенком…

Ленты на старушечьей шляпе дрожат, платочек дрожит, черная мантилья дрожит, вся женщина — один трепещущий клубок страдания.

— Может быть, это случилось потому, что он рос без отца. Ему было всего четыре года, когда умер отец. Но ведь он всегда был таким тихим, славным ребенком…

— Он и сейчас такой же, фрау Роули, — говорю я.

Она цепляется за мои слова и начинает рассказывать о детстве Альберта. Она должна говорить, ей больше невмоготу, соседи приходили, знакомые, даже двое учителей заходили, никто не может понять, как это случилось…

— Им бы следовало держать язык за зубами, — говорю я, — все они виноваты.

Она смотрит на меня непонимающими глазами и опять рассказывает, как Альберт начинал ходить, как он никогда не шалил, — не то что другие дети, он, можно сказать, был даже

слишком смирным для мальчика. И теперь вот такое! Как только он мог это сделать?

С удивлением смотрю я на нее. Она ничего не знает об Альберте. Так же, как и моя мать обо мне. Матери, должно быть, могут только любить, — в этом все их понимание своих детей.

— Не забудьте, фрау Роули, — осторожно говорю я, — что Альберт был на войне.

— Да, — отвечает она, — да… да…

Но связи не улавливает.

— Бартшер этот, верно, был очень плохим человеком? — помолчав, тихо спрашивает она.

— Форменный негодяй, — подтверждаю я без обиняков: мне это ничего не стоит.

Не переставая плакать, она кивает:

— Я так и думала. Иначе и быть не могло. Альберт в жизни своей мухи не обидел. Ганс — тот всегда обдирал им крылышки, а Альберт — никогда. Что теперь с ним сделают?

— Большого наказания ему не присудят, — успокаиваю я ее, — он был в сильном возбуждении, а это почти то же, что самооборона.

— Слава богу, — вздыхает она, — а вот портной, который живет над нами, говорит, что его казнят.

— Портной ваш, наверное, спятил, — говорю я.

— И потом он сказал еще, будто Альберт убийца… — Рыдания не дают ей говорить. — Какой же он убийца?.. Не был он убийцей, никогда… никогда…

— С портным этим я как-нибудь посчитаюсь, — в бешенстве говорю я.

— Я даже боюсь теперь выходить из дому, — всхлипывает она, — он всегда стоит у подъезда.

— Я провожу вас, тетушка Роули.

Мы подходим к ее дому.

— Вот он опять стоит там, — боязливо шепчет старушка, указывая на подъезд.

Я выпрямляюсь. Если он сейчас пикнет, я его в порошок изотру, хотя бы меня потом на десять лет укатали. Но, как только мы подходим, он и две женщины, шушукавшиеся с ним, испаряются.

Мы поднимаемся наверх. Мать Альберта показывает мне снимки Ганса и Альберта подростками. При этом она снова начинает плакать, но, будто чем-то пристыженная, сразу перестает. Старики в этом отношении как дети: слезы у них всегда наготове, но высыхают они тоже очень быстро. В коридоре она спрашивает меня:

— А еды-то у него там достаточно, как вы думаете?

— Конечно, достаточно. Во всяком случае, Карл Дарк позаботится на этот счет. Он может достать все, что нужно.

— У меня еще осталось несколько сладких пирожков. Альберт их очень любит. Как вы думаете, позволят мне передать их?

— Попробуйте, — отвечаю я. — И если вам удастся повидать Альберта, скажите ему только одно: Альберт, я знаю, что ты невиновен. Больше ничего.

Она кивает.

— Может быть, я недостаточно заботилась о нем. Но ведь Ганс без ног.

Я успокаиваю ее.

— Бедный мой мальчик… Сидит там теперь один-одинешенек…

Прощаясь, протягиваю старушке руку:

— А с портным я сейчас потолкую. Он вас больше беспокоить не будет.

Портной все еще стоит у подъезда. Плоская физиономия, глупая, обывательская. Он злобно таращит на меня глаза; по морде видно: как только я повернусь спиной, он сейчас же начнет сплетничать. Я дергаю его за полу пиджака.

— Слушай, козел паршивый, если ты еще хоть слово скажешь вон той старушке, — я показываю наверх, — я изуродую тебя, заруби это себе на носу, кукла тряпичная, сплетница старая, — при этом я трясу его, как мешок с тряпьем, я толкаю его так, что он ударяется поясницей о ручку двери, — я еще приду, я изломаю тебе все кости, вшивое отродье, гладильная доска, скотина проклятая!

Для вящей убедительности я отвешиваю ему по здоровенной пощечине справа и слева.

Я успеваю отойти на большое расстояние, когда он разражается визгом:

— Я на вас в суд подам! Это вам обойдется в добрую сотню марок.

Я поворачиваюсь и иду обратно. Он исчезает.

Георг Рахе, грязный, измученный бессонницей, сидит у Кайла.

Он прочел об истории с Альбертом в газетах и тотчас же примчался.

— Мы должны вызволить его оттуда, — говорит он.

Кайл поднимает глаза.

— Если бы нам с полдюжины дельных ребят и автомобиль, — продолжает Рахе, — мы бы это дело сделали. Самый

благоприятный момент — когда его поведут в зал суда. Прорываем цепь конвоя, поднимаем суматоху, и двое из нас бегут с Альбертом к машине.

Кайл выслушивает его, с минуту молчит, потом, покачивая головой, возражает:

— Нет, Георг, мы только повредим Альберту, если побег не удастся. Так по крайней мере у него есть надежда выпутаться. Но дело не только в этом. Я-то сам, ни минуты не колеблясь, принял бы участие в организации побега. Но Альберт не захочет бежать.

— Тогда его надо взять силой, — помолчав, заявляет Рахе, — его нужно освободить, чего бы это ни стоило…

Кайл молчит.

— Я тоже думаю, Георг, что все это ни к чему не приведет, — говорю я. — Если мы даже его уведем, он все равно вернется назад. Он чуть не выстрелил в Вилли, когда тот хотел его увести.

Рахе опускает голову на руки. Кайл как-то весь посерел и осунулся.

— Похоже, ребята, что мы все погибшие люди, — безнадежно говорит он.

Никто не отвечает. Мертвой тяжестью повисли между этими стенами молчание и тревога…

Рахе уходит, а я еще долго сижу у Кайла. Он подпер голову руками.

— Все наши усилия напрасны, Эрнст. Мы люди конченые, а жизнь идет вперед, словно войны и не было. Пройдет немного времени, и наша смена на школьных скамьях будет жадно, с горящими глазами, слушать рассказы о войне, мальчики будут рваться прочь от школьной скуки и жалеть, что они не были участниками героических подвигов. Уже сейчас они бегут в добровольческие отряды; молокососы, которым едва исполнилось семнадцать лет, совершают политические убийства. Я так устал, Эрнст…

— Кайл… — Я сажусь рядом с ним и кладу руку на его узкие плечи.

На лице у него безутешная улыбка. Он тихо говорит:

— Когда-то, до войны, у меня была такая, знаешь, ученическая любовь. Несколько недель назад я встретил эту девушку. Мне показалось, что она стала еще красивее. В ней вдруг словно ожило для меня все наше прошлое. Мы стали часто встречаться, и вдруг я почувствовал… — Кайл кладет голову на стол. Когда он поднимает ее, глаза его кажутся помертвевшими от муки. — Все это не для меня теперь, Эрнст… Ведь я болен…

Он встает и открывает окно. Там, за окном, темная ночь и

множество звезд. Подавленный, не отрываясь, я смотрю в одну точку. Кайл долго глядит вдаль. Потом поворачивается ко мне:

— А помнишь, Эрнст, как мы с томиком Эйхендорфа целыми ночами бродили по лесам?

— Да, Кайл, — живо отзываюсь я, обрадованный тем, что мысли его приняли другое направление, — это было поздним летом. А помнишь, как мы поймали ежа?

Лицо у Кайла разглаживается:

— А потом мечтали о всяких приключениях… Помнишь, почтовые кареты, охотничьи рога, звезды… Мы еще хотели бежать в Италию.

— Да, но почтовая карета, которая должна была забрать нас, не пришла, а на поезд у нас не было денег.

Лицо у Кайла проясняется, оно даже как-то загадочно светится радостью.

— А потом мы читали «Вертера»… — говорит он.

— И пили вино, — подхватываю я.

Он улыбается:

— И еще читали «Зеленого Генриха»… Помнишь, как мы спорили о Юдифи?

Я киваю:

— Но потом ты больше всего любил Гельдерлина.

Кайл как-то странно спокоен и умиротворен. Речь его тиха и мягка.

— Каких мы только планов не строили, какими благородными людьми хотели мы стать! А стали просто жалкими псами, Эрнст…

— Да, — отвечаю я задумчиво, — куда все это девалось?

Мы стоим рядом, облокотившись о подоконник, и смотрим в окно. Ветер запутался в вишневых деревьях. Они тихо шумят. Звезда падает. Бьет полночь.

— Надо спать, Эрнст. — Кайл протягивает мне руку. — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, Кайл!

Поздно ночью вдруг раздается сильный стук в дверь. Я вскакиваю в испуге:

— Кто там?

— Я — Карл. Открой!

Я вмиг на ногах.

Карл врывается в комнату:

— Кайл…

Я хватаю его за плечи:

— Что с Кайлом?

— Умер…

Комната завертелась у меня перед глазами. Я сажусь на кровать.

— Доктора!

Карл ударяет стулом о пол, так что стул разлетается в щепки.

— Он умер, Эрнст… Вскрыл себе вены…

Не помню, как я оделся. Не помню, как я попал туда. Внезапно передо мной — комната, яркий свет, кровь, невыносимое поблескивание и сверкание кварцев и камней, а перед ними в кресле — бесконечно усталая, тонкая, сгорбившаяся фигура, ужасающе бледное, заострившееся лицо и полузакрытые потухшие глаза…

Я не понимаю, что происходит. Здесь его мать, здесь Карл, какой-то шум, кто-то громко о чем-то говорит; да, да, понял, мне надо остаться здесь, они хотят кого-то привести, я молча киваю, опускаюсь на диван, двери хлопают, я не в состоянии шевельнуться, не в состоянии слова вымолвить, я вдруг оказываюсь один на один с Кайлом и смотрю на него…

Последним у Кайла был Карл. Кайл был как-то странно тих и почти радостен. Когда Карл ушел, Кайл привел свои немногочисленные вещи в порядок и некоторое время писал. Потом придвинул кресло к окну и поставил на стол миску с теплой водой. Он запер дверь на ключ, сел в кресло и, опустив руки в воду, вскрыл вены. Боль ощущалась слабо. Он смотрел, как вытекает кровь — картина, которую он часто себе рисовал: из жил его выливается вся эта ненавистная, отравленная кровь.

В комнате все вдруг приняло необычайно отчетливые очертания. Он видел каждую книжку, каждый гвоздь, каждый блик на камнях коллекции, видел пестроту, краски, он чувствовал — это его комната. Она проникла в него, она вошла в его дыхание, она срослась с ним. Потом стала отодвигаться. Заволоклась туманом. Мелькнули видения юности. Эйхендорф, леса, тоска по родине. Примирение, без страдания. За лесами возникла колючая проволока, белые облачка шрапнели, взрывы тяжелых снарядов. Но теперь страха не было. Взрывы — словно заглушенный звон колоколов. Звон усилился, но леса не исчезали. Звон становился все сильней и сильней, словно в голове стоял этот звон, и голова, казалось, вот-вот расколется. Потом потемнело в глазах. Колокола начали затихать, и вечер вошел в окно, подплыли облака, расстилаясь у самых ног. Он всегда мечтал увидеть когда-нибудь фламинго — теперь он знал: это фламинго с розово-серыми широкими крыльями, много их — целый клин… Не так ли летели когда-то дикие гуси, клином

летели на красный диск луны, красный, как мак во Фландрии?.. Пейзаж все ширился, леса опускались ниже, ниже, сверкнули серебром реки и острова, розово-серые крылья поднимались все выше, и все светлел и ширился горизонт. А вот и море… Но вдруг, горячо распирая горло, рванулся ввысь черный крик, последняя мысль хлынула в уходящее сознание — страх… Спастись, перевязать руки! Он попробовал встать, быстро поднять руку… Пошатнулся. Тело содрогнулось в последнем усилии, но он уже был слишком слаб. В глазах что-то кружило и кружило, потом уплыло, и огромная птица очень тихо, медленными взмахами опускалась ниже, ниже, и наконец бесшумно сомкнула над ним свои темные крылья.

Чья-то рука отстраняет меня. Опять пришли люди, они наклоняются к Кайлу; я кого-то отшвыриваю: никто не смеет прикасаться к нему… Но тут я вдруг вижу его лицо, холодное, ясное, неузнаваемое, строгое, чужое — я не узнаю его и, шатаясь, отхожу прочь.

Не помню, как я пришел домой. В голове пустота, бессильно лежат руки на спинке стула.

Кайл, я больше не могу. Я тоже больше не могу. Что мне здесь делать? Мы все здесь чужие. Оторванные от корней, сожженные, бесконечно усталые… Почему ты ушел один?

Я встаю. Руки — как в огне. Глаза горят. Чувствую, что меня лихорадит. Мысли путаются. Я не помню, что делаю.

— Возьмите же и меня, — шепчу я, — меня тоже.

Зуб на зуб не попадает от озноба. Руки влажны. С трудом делаю несколько шагов. Перед глазами плывут большие черные круги.

И вдруг я застываю на месте. Открылась дверь? Стукнуло окно? Дрожь пробегает по мне. В открытую дверь я вижу в прихожей на стене, освещенной луной, подле скрипки, мою старую солдатскую куртку. На цыпочках, чтобы она не заметила меня, осторожно выхожу туда, подкрадываюсь к этой серой куртке, которая все разбила — нашу юность, нашу жизнь, срываю ее с вешалки, хочу швырнуть прочь, но неожиданно натягиваю на себя, надеваю ее, чувствую, как она сквозь кожу овладевает мной, дрожу от нестерпимого холода, сердце бешено бьется… Внезапно что-то со звоном рвет тишину, я вздрагиваю, оборачиваюсь и в ужасе жмусь к стене…

В дверях, тускло освещенная, стоит тень. Она колышется и зыблется, она приближается и кивает, принимает формы человека, лицо с темными провалами глазниц, с зияющей

широкой щелью на месте рта, беззвучно шепчущего что-то… Постой, не он ли это?

— Вальтер, — шепчу я, — Вальтер Вилленброк, убит в августе семнадцатого года под Пашенделем… Что это? Безумие? Бред? Горячка?

Но за первой тенью протискивается вторая — бледная, уродливая, согбенная — Фридрих Томберге, ему под Суассоном осколком раздробило спину, когда он сидел на ступеньках блиндажа. И вот здесь уже целый рой теней с мертвыми глазами; серые и призрачные, они теснятся тут, они вернулись, они наполняют мою комнату… Вот Франц Кеммерих, восемнадцатилетний юноша, скончавшийся через три дня после ампутации, и Станислав Катчинский — он волочит ноги, и голова у него опущена, а из нее, темнея, льется тоненькая струйка… И Герхардт Фельдкамп, которого миной разорвало под Ипром, и Пауль Боймер, убитый в октябре тысяча девятьсот восемнадцатого года, и Генрих Веслинг, Антон Хайнцман, Хайе Вестхус, Отто Маттес, Франц Вагнер… Тени, тени, целое шествие, бесконечные ряды… Они врываются, они взбираются на подоконник, садятся на книги, заполняют всю комнату…

Но вдруг ужас и оцепенение, овладевшие мной, отхлынули, ибо медленно вырастает более мощная тень. Она вползает в раскрытую дверь, опираясь на руки, она оживает, обрастает костяком, принимает образ человека, мелом белеют в черноте лица зубы. Вот в глазницах блеснули глаза, — вздыбившись, как тюлень, он ползет ко мне… это он, английский капитан, за ним, шурша, тянутся его обмотки. Мягко оттолкнувшись, он делает прыжок и, растопырив скрюченные пальцы, протягивает ко мне руки…

— Кайл, Кайл! — кричу я. — Помоги, Кайл!

Я хватаю книги и швыряю их в эти вытянутые руки…

— Гранату, Кайл! — со стоном кричу я и швыряю аквариум в дверь, и он со звоном разбивается, но тень только оскаливает зубы и подбирается все ближе, ближе; за аквариумом летит коллекция бабочек, скрипка, я хватаю стул и замахиваюсь, хочу ударить им по этому оскаленному рту и все кричу: «Кайл! Кайл!» Бросаюсь на эту проклятую тень, выскакиваю за дверь и бегу, мне вдогонку несутся испуганные крики — все явственнее, все ближе тяжелое дыхание, тень гонится за мной, я стремглав слетаю с лестницы. Тень грузно скатывается за мной, я выбегаю на улицу, я чувствую на затылке прерывистое дыхание, я мчусь, дома шатаются. «Помогите! Помогите!» Площади, деревья, чьи-то когти вонзились мне в плечо, тень настигла меня, я реву, вою, спотыкаюсь, какие-то мундиры, кулаки, топот, молнии и глухой

гром мягких топоров, бьющих меня по голове, пока я не сваливаюсь наземь…

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1

Годы ли прошли? Или только дни? Словно туман, словно отдаленная гроза тучей повисло на горизонте прошлое. Я долго был болен, и всякий раз, как сознание возвращалось ко мне, я неизменно видел над собой озабоченное лицо матери. А потом пришла большая усталость и стерла, сгладила все. Это сон наяву, когда нет никаких мыслей, когда только изнеможенно отдаешься слабой пульсации крови и солнечному теплу…

Луга светятся в блеске позднего лета. Лежишь на лугу, голова утонула в высокой траве, травинки клонятся из стороны в сторону, они весь мир, ничего больше не существует, кроме легкого их покачивания в ритме ветра. Там, где одна трава, ветер пробегает по ней, тихо звеня, точно коса вдали, а если среди травы растет щавель, звук ветра темнее и глубже. Нужно долго лежать и слушать, пока уловишь его.

Но тогда тишина оживает. Крохотные мушки с черными крылышками в красных точках густо осыпали султаны щавеля и покачиваются вместе с ними. Шмели, как маленькие аэропланы, гудят над клевером. Божья коровка одиноко и упорно взбирается на самый кончик высокой травинки.

Муравей добрался до моей куртки и скрылся в туннеле рукава. Он тащит за собою сухую былинку, она гораздо больше его самого. Ощущаю легкое щекотанье на коже и не знаю, муравей ли то или былинка тянут хрупкую полоску жизни по моей руке, вызывая легкую дрожь. Но вдруг в рукав дунул ветерок, и я чувствую: самое нежное прикосновение любви должно показаться грубым по сравнению с этим ласкающим кожу дыханием.

Прилетают, покачиваясь, бабочки, настолько послушные ветру, что кажется — они плывут на нем, белые и золотые паруса в нежном воздухе. Они опускаются на цветы, и вдруг, открыв глаза, я вижу двух бабочек, неподвижно сидящих у меня на груди, — одна словно желтый лепесток в красных точках, другая распростерла бархатные темно-коричневые крылышки с павлиньими фиолетовыми глазками. Ордена лета! Дышу очень тихо и замедленно, и все же дыхание мое шевелит их крылышки, но бабочки не улетают. Светлое небо парит над изумрудом трав, и стрекоза, с сухим потрескиванием прозрачных крылышек, останавливается прямо над моими ботинками.

В воздухе реют серебряные паутины — сверкающие нити бабьего лета. Они повисают на стеблях и листочках, ветер

приносит их ко мне, они опускаются на руки, на одежду, ложатся на лицо, на глаза, укрывают меня всего. Мое тело, только что принадлежавшее мне, превращается в луг. Очертания тела сливаются с землей, оно уже не живет отдельной жизнью, оно растворилось в солнечном свете, его больше нет.

Сквозь обувь, сквозь поры одежды проникает дыхание трав, дыхание земли, волосы мои овевает движущееся небо — ветер. И кровь бьется о стенки моей кожи, она поднимается навстречу вторгшимся пришельцам, кончики нервов выпрямляются и трепещут, вот я ощущаю уже лапки бабочек у себя на груди, и ход муравья эхом повторяется в кровеносных сосудах… Потом волна поднимается выше, последнее сопротивление тает, и я лишь холм без имени, луг, земля…

Бесшумно свершают свой круг соки земли — вверх, вниз, а вместе с ними свершает круг и моя кровь; они несут ее на себе, она стала их частью. В теплом сумраке земли течет она, сливаясь с голосами кристаллов и кварцев, она — в таинственном звуке тяжелых капель, стекающих к корням цветов и трав, а капли эти, собираясь в тонкие нити ручейков, ищут своих путей к родникам. И вместе с ними она, моя кровь, вырывается из земли, она — в ручьях и реках, в блеске берегов, в морском просторе и влажном серебре испарений, которые солнце снова поднимает к облакам; она кружит и кружит, унося мою плоть, размывая ее в земле и в подземных потоках, медленно и безболезненно исчезает мое тело, — его уже нет, остались одни ткани и оболочки, оно превратилось в журчание подземных источников, в говор трав, в веющий ветер, в шумящую листву, в беззвучно звенящее небо. Луг вошел в меня, цветы прорастают насквозь, их венчики покачиваются сверху, я поглощен, забыт, я несусь в потоке под маками и желтыми кувшинками, а над ними реют бабочки и стрекозы…

Еле-еле заметное движение, затаенное содрогание… Что это? Последняя дрожь перед концом? Или это колышутся маки и травы? Или только ручейки журчат между корнями деревьев?

Но движение усиливается. Оно становится ровнее, переходит в дыхание, в биение пульса; волна за волной возвращается назад — назад из рек, деревьев, листвы и земли… Круговорот начинается сызнова, но он уже не опустошает меня; наоборот, он приносит с собою нечто, что наполняет меня и остается во мне, он становится трепетанием, ощущением, чувством, руками, телом… Пустые оболочки наливаются жизнью; зыбко, легко и окрыленно хлынула она от земли. Я открываю глаза…

Где я? Что со мной? Спал я? Я еще чувствую загадочную связь с природой, прислушиваюсь и не решаюсь пошевелиться. Но связь

не рвется, во мне растет чувство счастья, легкости, парящее, лучезарное чувство, я лежу на лугу, бабочки упорхнули, они улетают все дальше и дальше, колышется щавель, божья коровка взобралась на вершину своей травинки, серебристая паутина облепила мою одежду, окрыленность не покидает меня, она подступила к сердцу, она в глазах, я шевелю руками… Какое счастье! Я приподнимаю колени, сажусь, лицо мое влажно, и тут только я замечаю, что плачу, безудержно плачу, точно что-то ушло безвозвратно…

Некоторое время я еще неподвижно лежу, отдыхая. Потом встаю и направляюсь к кладбищу. Я еще не был там. Со дня смерти Кайла мне сегодня в первый раз разрешено выйти одному.

Старушка показывает мне дорогу к могиле Кайла. Могила обнесена буковой изгородью и обсажена вечнозеленым барвинком. Земля еще не слежалась, и на свежем холмике вянет несколько венков. Золотые надписи на лентах стерлись, и слов уже не разобрать.

Мне было страшновато идти сюда. Но тишина здесь не пугает. Ветерок проносится над могилами, за крестами — золотое сентябрьское небо, и в платановой аллее поет дрозд.

Ах, Кайл, я сегодня в первый раз смутно почувствовал родину и мир, а тебя уже нет со мной. Я еще не решаюсь поверить в это чувство и думаю, что это только усталость и слабость. Но, может быть, оно вырастет в безграничную самоотверженность, может быть, нам нужно лишь выждать, молча выжидать, и оно придет само собой. Может быть, единственное, что не изменило нам, это плоть наша и земля, и, может быть, нам нужно только одно: прислушиваясь, следовать за ними.

Ах, Кайл, мы все искали и искали, мы блуждали и срывались, мы ставили себе множество целей и, стремясь к ним, спотыкались о самих себя, мы не нашли того, что искали, и это сломило тебя; а теперь — неужели одно лишь дыхание ветра над травами или трель дрозда в час заката, проникнув в самое сердце, могут возвратить нас к самим себе? Неужели в облаке на горизонте или в зеленой листве деревьев больше силы, чем во всех наших желаниях и устремлениях?

Не знаю, Кайл, не знаю… Мне пока трудно в это поверить, ибо я давно уже живу без каких-либо надежд. Но мы ведь никогда не знали, что такое самоотверженность. Мы не знали ее силы. Мы знали только насилие.

Но если это и путь, Кайл, то что мне в нем без тебя?..

Из-за деревьев медленно надвигается вечер. Он снова несет с собою тревогу и печаль. Я не в силах отвести глаза от могилы.

Чьи-то шаги скрипят по гравию. Поднимаю глаза. Это Георг Рахе. Он озабоченно смотрит на меня и уговаривает пойти домой.

— Я давно не видел тебя, Георг, — говорю я. — Где ты был все это время?

Он как-то неопределенно машет рукой:

— Несколько профессий испробовал…

— Разве ты ушел из армии?

— Да, — коротко отрезает он.

Две женщины в трауре идут по платановой аллее. В руках у них маленькие зеленые лейки. Остановившись у старой могилы, женщины поливают цветы. Сладко веет ароматом желтофиоли и резеды.

Рахе поднимает глаза:

— Я думал, Эрнст, что найду там остатки солдатской дружбы. Но нашел лишь слепое чувство стадности, карикатурный призрак войны. Эти люди вообразили, что, припрятав две-три дюжины винтовок, они спасут отечество; нищие офицеры, не нашедшие себе иного занятия, кроме усмирения всяких беспорядков; вечные наемники, потерявшие всякую связь с жизнью и просто пугающиеся мысли о возвращении в мирную обстановку; последний, самый твердый шлак войны — вот что представляла собой эта армия. В этой массе — два-три идеалиста и кучка любопытных мальчуганов, жаждущих приключений. И все это — загнанное, обозленное, отчаявшееся и все вокруг себя подозревающее. Да, а потом еще…

С минуту он молчит, уставясь куда-то в пространство. Я украдкой смотрю на него. Нервное, издерганное лицо, под глазами залегли глубокие тени. Рахе делает над собой усилие и продолжает:

— В конце концов, почему бы мне не сказать тебе, Эрнст?.. Не сказать того, о чем я немало думал и передумывал? Однажды нам пришлось выступить. Лозунг был: поход против коммунистов. И вот, когда я увидел убитых рабочих, большинство из которых не успело еще снять свои старые солдатские куртки и сапоги, когда я увидел наших прежних фронтовых товарищей, во мне что-то надломилось. На фронте я однажды уничтожил с аэроплана добрую половину роты англичан, и мне это ничего не стоило, — на войне, как на войне. Но эти убитые наши товарищи, здесь — в Германии, павшие от пуль своих же прежних товарищей, — это конец, Эрнст!

Я вспоминаю о Вайле и Хееле и молча киваю в ответ.

Над нами запел зяблик. Солнце садится, сгущая золото своих лучей. Рахе покусывает сигарету:

— Да, а потом еще: у нас вдруг исчезло двое солдат. Они якобы собирались разгласить местонахождение одного из складов оружия. И вот их же товарищи, не расследовав дела, убили их ночью, в лесу, прикладами. Это называлось: «тайное судилище». Один из убитых был у меня на фронте унтер-офицером. Душа парень! После этой истории я все послал к черту. — Рахе смотрит на меня. — Вот что осталось от прежнего, Эрнст… А тогда — тогда, вспомни, как мы шли воевать, вспомни, что это был за порыв, что за буря! — Он бросает сигарету на землю. — Черт возьми, куда все девалось?

Немного погодя он тихо прибавляет:

— Хотелось бы мне знать, Эрнст, как могло все это так выродиться?

Мы встаем и идем по платановой аллее к выходу. Солнце играет в листве и зайчиками пробегает по нашим лицам. Мне вдруг кажется все чем-то нереальным: и наш разговор с Георгом, и мягкий теплый воздух позднего лета, и дрозды, и холодное дыхание воспоминаний.

— Что ж ты теперь делаешь, Георг? — спрашиваю я.

Георг тросточкой сбивает на ходу шерстистые головки репейника.

— Знаешь, Эрнст, я ко всему присматривался, — к разным профессиям, идеалам, политике, и я убедился, что не гожусь для этого базара. Что можно там найти? Всюду спекуляция, взаимное недоверие, полнейшее равнодушие и безграничный эгоизм…

Меня немного утомила ходьба, и там, наверху, на Клостерберге, мы садимся на скамейку.

Поблескивают зеленые городские башни, над крышами стоит легкий туман, из труб поднимается дым и, серебрясь, уходит в небо. Георг показывает вниз:

— Точно пауки, сидят они там в своих конторах, магазинах, кабинетах, и каждый только и ждет минуты, когда можно будет высосать кровь соседа. И что только не тяготеет над всеми: семья, всякого рода общества и объединения, весь аппарат власти, законы, государство! Паутина над паутиной, сеть над сетью! Конечно, это тоже можно назвать жизнью и гордиться тем, что проползал сорок лет под всей этой благодатью. Но фронт научил меня, что время не мерило для жизни. Чего же ради буду я сорок лет медленно спускаться со ступеньки на ступеньку? Годами ставил я на карту все — жизнь свою целиком. Так не могу же я теперь играть на гроши в ожидании мелких удач.

— Ты, Георг, последний год провел уже не в окопах, — говорю я, — а для летчиков, несомненно, война была не тем, что для нас. Месяцами не видели мы врага, мы были пушечным

мясом, и только. Для нас не существовало ставок; существовало одно — ожидание; мы могли лишь ждать, пока пуля не найдет нас.

— Я не о войне говорю, Эрнст, я говорю о нашей молодости и о чувстве товарищества…

— Да, ничего этого больше нет, — говорю я.

— Мы жили раньше словно в оранжерее, — задумчиво говорит Георг. — Теперь мы старики. Но хорошо, когда во всем ясность. Я ни о чем не жалею. Я только подвожу итог. Все пути мне заказаны. Остается только жалкое прозябание. А я прозябать не хочу. Я не хочу никаких оков.

— Ах, Георг, — восклицаю я, — то, что ты говоришь, — это — конец! Но и для нас, в чем-то, где-то, существует начало! Сегодня я это ясно почувствовал. Кайл знал, где его искать, но он был очень болен…

Георг обнимает меня за плечи:

— Да, да, Эрнст, постарайся быть полезным…

Я придвигаюсь к нему:

— В твоих устах это звучит безобразно, елейно, Георг. Я не сомневаюсь, что есть среда, где чувство товарищества живо, но мы просто не знаем о ней пока.

Мне очень хотелось бы рассказать Георгу о том, что я только что пережил на лугу. Но я не в силах выразить это словами.

Мы молча сидим друг подле друга.

— Что ж ты теперь собираешься делать, Георг? — помолчав, снова спрашиваю я.

Он задумчиво улыбается:

— Я, Эрнст? Я ведь только по недоразумению не убит… Это делает меня немножко смешным.

Я отталкиваю его руку и испуганно смотрю на него. Но он успокаивает меня:

— Прежде всего я хочу немного поездить.

Георг поигрывает тростью и долго смотрит вдаль:

— Ты помнишь, что сказал как-то Гизекке? Там, в больнице? Ему хотелось побывать во Флери… Опять во Флери, понимаешь? Ему казалось, что это излечит его…

Я киваю.

— Он все еще в больнице. Карл недавно был у него…

Поднялся легкий ветер. Мы глядим на город и на длинные ряды тополей, под которыми мы когда-то строили палатки и играли в индейцев. Георг всегда был предводителем, и я любил его, как могут любить только мальчишки, ничего не ведающие о любви.

Взгляды наши встречаются.

— Брат мой «Сломанная рука», — улыбаясь, тихо говорит он.

— «Победитель», — отвечаю я так же тихо.

2

Чем ближе день, на который назначено слушание дела, тем чаще я думаю об Альберте. И как-то раз я вдруг ясно увидел перед собой глинобитную стену, бойницу, винтовку с оптическим прицелом и прильнувшее к ней холодное, настороженное лицо — лицо Бруно Мюкенхаупта, лучшего снайпера батальона, никогда не дававшего промаха.

Я вскакиваю, — я должен знать, что с ним, как он вышел из этой переделки.

Высокий дом со множеством квартир. Лестница истекает влагой. Сегодня суббота, и повсюду ведра, щетки и женщины с подоткнутыми юбками.

Резкий звонок, слишком пронзительный для этой двери. Открывают не сразу. Спрашиваю Бруно. Женщина просит войти. Мюкенхаупт сидит на полу без пиджака и играет со своей дочкой, девочкой лет пяти с большим голубым бантом в светло-русых волосах. На ковре речка из серебряной бумаги и бумажные кораблики. В некоторые наложена вата — это пароходы: важно восседают в них маленькие целлулоидные куколки. Бруно благодушно покуривает небольшую фарфоровую трубку, на которой изображен солдат, стреляющий с колена; рисунок обведен двустишием: «Навостри глаз, набей руку и отдай отечеству свою науку!»

— Эрнст! Какими судьбами? — восклицает Бруно и, дав девочке легкий шлепок, поднимается с ковра, предоставляя ей играть самой. Мы проходим в гостиную. Диван и кресла обиты красным плюшем, на спинках — вязаные салфеточки, а пол так натерт, что я даже поскользнулся. Все сверкает чистотой, все стоит на своих местах; на комоде — бесчисленное количество ракушек, статуэток, фотографий, а между ними, в самом центре, на красном бархате под стеклом — орден Бруно.

Мы вспоминаем прежние времена.

— А у тебя сохранился твой список попаданий?

— И ты еще спрашиваешь! — чуть не обижается Бруно. — Да он у меня хранится в самом почетном месте.

Мюкенхаупт достает из комода тетрадку и с наслаждением перелистывает ее:

— Лето для меня было, конечно, самым благоприятным сезоном — темнеет поздно. Вот, гляди-ка сюда. Июнь. 18-го — четыре попадания в голову; 19-го — три; 20-го — одно; 21-го — два; 22-го — одно; 23-го — ни одного противника не оказалось. Почуяли кое-что, собаки, и стали осторожны. Но зато вот здесь,

погляди: 26-го (в этот день у противника пришла новая смена, которая еще не подозревала о существовании Бруно) — девять попаданий в голову! А! Что скажешь? — Он смотрит на меня сияющими глазами. — В каких-нибудь два часа! Просто смешно было смотреть; они выскакивали из окопов как козлы — по самую грудь; не знаю, отчего это происходило; вероятно, потому, что я бил по ним снизу и попадал в подбородок. А теперь гляди сюда: 29 июня, 22 часа 2 минуты — попадание в голову. Я не шучу, Эрнст; ты видишь, у меня были свидетели. Вот тебе, здесь так и значится: «Подтверждаю. Вице-фельдфебель Шлие»; 10 часов вечера — почти в темноте. Здорово, а? Эх, брат, вот времечко было!

— Действительно здорово, — говорю я. — Но скажи, Бруно, теперь тебе никогда не бывает жаль этих малых?

— Что? — растерянно спрашивает Бруно.

Я повторяю свой вопрос.

— Тогда мы кипели в этом котле, Бруно. Ну, а сейчас ведь все по-другому.

Бруно отодвигает свой стул:

— Уж не стал ли ты большевиком? Да ведь это был наш долг, мы выполняли приказ! Вот тоже придумал…

Обиженно заворачивает он свою драгоценную тетрадку в папиросную бумагу и прячет ее в ящик комода.

Я успокаиваю его хорошей сигарой. Он затягивается в знак примирения и рассказывает о своем клубе стрелков, члены которого собираются каждую субботу.

— Недавно мы устроили бал. Высокий класс, скажу я тебе! А в ближайшем будущем у нас кегельный конкурс. Заходи непременно, Эрнст. Пиво в нашем ресторане замечательное, я редко пивал что-либо подобное. И кружка на десять пфеннигов дешевле, чем всюду. Это кое-что значит, если посидеть вечерок, правда? А как там уютно! И вместе с тем шикарно! Вот, — Бруно показывает позолоченную цепочку, — провозглашен королем стрелков! Бруно Первый! Каково?

Входит его дочурка. У нее сломался пароходик. Бруно тщательно исправляет его и гладит девочку по головке. Голубой бант шуршит у него под рукой.

Затем Бруно подводит меня к буфету, который, как и комод, уставлен бесконечным количеством всяких вещичек. Это все он выиграл на ярмарках, стреляя в тире. Три выстрела стоят несколько пфеннигов, а кто собьет известное число колец, имеет право на выигрыш. Целыми днями Бруно нельзя было оторвать от этих тиров. Он настрелял себе кучу плюшевых медвежат, хрустальных вазочек, бокалов, пивных кружек, кофейников,

пепельниц и даже два соломенных кресла.

— В конце концов, меня уж ни к одному тиру не хотели подпускать. — Он самодовольно хохочет. — Вся эта банда боялась, что я ее разорю. Да, дело мастера боится!

Я бреду по темной улице. Из подъездов струится свет, и бежит вода, — моют лестницы. Проводив меня, Бруно, наверное, опять играет со своей дочкой. Потом жена позовет их ужинать. Потом он пойдет пить пиво. В воскресенье совершит семейную прогулку. Он добропорядочный муж, хороший отец, уважаемый бюргер. Ничего не возразишь…

А Альберт? А мы все?..

Уже за час до начала судебного разбирательства мы собрались в здании суда. Наконец вызывают свидетелей. С бьющимся сердцем входим в зал. Альберт, бледный, сидит на скамье подсудимых, прислонясь к спинке, и смотрит в пространство. Глазами хотели бы мы сказать ему: «Мужайся, Альберт, мы не бросим тебя на произвол судьбы!» Но Альберт даже не смотрит в нашу сторону.

Зачитывают наши имена. Затем нам предлагают покинуть зал. Выходя, мы замечаем в первых рядах скамей, отведенных для публики, Конора и Бера. Они подмигивают нам.

Поодиночке впускают свидетелей. Вилли задерживается особенно долго. Затем очередь доходит до меня. Быстрый взгляд на Бера: он едва заметно покачивает головой. Альберт, значит, все еще отказывается давать показания. Так я и думал. Он сидит с отсутствующим видом. Рядом защитник. Вилли красен как кумач. Бдительно, точно гончая, следит он за каждым движением прокурора. Между ними, очевидно, уже произошла стычка.

Меня приводят к присяге. Затем председатель начинает допрос. Он спрашивает, не говорил ли нам Альберт раньше, что он не прочь всадить в Бартшера пулю? Я отвечаю: нет. Председатель заявляет, что многим свидетелям бросились в глаза удивительное спокойствие и рассудительность Альберта.

— Он всегда такой, — говорю я.

— Рассудительный? — отрывисто вставляет прокурор.

— Спокойный, — отвечаю я.

Председатель наклоняется вперед:

— Даже при подобных обстоятельствах?

— Конечно, — говорю я. — Он и не при таких обстоятельствах сохранял спокойствие.

— При каких же именно? — спрашивает прокурор, быстро поднимая палец.

— Под ураганным огнем.

Палец прячется. Вилли удовлетворенно хмыкает. Прокурор бросает на него свирепый взгляд.

— Он, стало быть, был спокоен? — переспрашивает председатель.

— Так же спокоен, как сейчас, — со злостью говорю я. — Разве вы не видите, что при всем его внешнем спокойствии в нем все кипит и бурлит. Ведь он был солдатом! Он научился в критические моменты не метаться и не воздевать в отчаянии руки к небу. Кстати сказать, вряд ли они тогда уцелели бы у него.

Защитник что-то записывает. Председатель с минуту смотрит на меня.

— Но почему надо было так вот сразу и стрелять? — спрашивает он. — Не вижу ничего страшного в том, что девушка разок пошла в кафе с другим знакомым.

— А для него это было страшнее пули в живот, — говорю я.

— Почему?

— Потому что у него ничего не было на свете, кроме этой девушки.

— Но ведь у него есть мать, — вмешивается прокурор.

— На матери он жениться не может, — возражаю я.

— А почему непременно жениться? — говорит председатель. — Разве для женитьбы он не слишком молод?

— Его не сочли слишком молодым, когда посылали на фронт, — парирую я. — А жениться он хотел потому, что после войны он не мог найти себя, потому что он боялся самого себя и своих воспоминаний, потому что он искал какой-нибудь опоры. Этой опорой и была для него девушка.

Председатель обращается к Альберту:

— Подсудимый, не желаете ли вы наконец высказаться? Верно ли то, что говорит свидетель?

Альберт колеблется. Вилли и я пожираем его глазами.

— Да, — нехотя говорит он.

— Не скажете ли вы нам также, зачем вы носили при себе револьвер?

Альберт молчит.

— Револьвер всегда при нем, — говорю я.

— Всегда? — переспрашивает председатель.

— Ну да, — говорю я, — так же как носовой платок и часы.

Председатель смотрит на меня с удивлением:

— Револьвер и носовой платок как будто не одно и то же?

— Верно, — говорю я. — Без носового платка он легко мог обойтись. Кстати, платка часто у него и вовсе не было.

— А револьвер…

— Спас ему разок-другой жизнь, — перебиваю я. — Вот уже

три года, как он с ним не расстается. Это уже фронтовая привычка.

— Но теперь-то револьвер ему не нужен. Ведь сейчас-то мир.

Я пожимаю плечами:

— До нашего сознания это как-то еще не дошло.

Председатель опять обращается к Альберту:

— Подсудимый, не желаете ли вы наконец облегчить свою совесть? Вы не раскаиваетесь в своем поступке?

— Нет, — глухо отвечает Альберт.

Наступает тишина. Присяжные настораживаются. Прокурор всем корпусом подается вперед. У Вилли такой вид, точно он сейчас бросится на Альберта. Я тоже с отчаянием смотрю на него.

— Но ведь вы убили человека! — отчеканивая каждое слово, говорит председатель.

— Я убивал немало людей, — равнодушно говорит Альберт.

Прокурор вскакивает. Присяжный, сидящий возле двери, перестает грызть ногти.

— Повторите — что вы делали? — прерывающимся голосом спрашивает председатель.

— На войне убивал, — быстро вмешиваюсь я.

— Ну, это совсем другое дело… — разочарованно тянет прокурор.

Альберт поднимает голову:

— Почему же?

Прокурор встает:

— Вы еще осмеливаетесь сравнивать ваше преступление с делом защиты отечества?

— Нет, — возражает Альберт. — Люди, которых я там убивал, не причинили мне никакого зла…

— Возмутительно! — восклицает прокурор и обращается к председателю: — Я вынужден просить…

Но председатель сдержаннее его.

— К чему бы мы пришли, если бы все солдаты рассуждали подобно вам? — говорит он.

— Верно, — вмешиваюсь я, — но за это мы не несем ответственности. Если бы его, — указываю я на Альберта, — не научили стрелять в людей, он бы и сейчас этого не сделал.

Прокурор красен как индюк:

— Но это недопустимо, чтобы свидетели, когда их не спрашивают, сами…

Председатель успокаивает его:

— Я полагаю, что в данном случае мы можем отступить от правила.

Меня на время отпускают и на допрос вызывают девушку.

Альберт вздрагивает и стискивает зубы. На девушке черное шелковое платье, прическа — только что от парикмахера. Она выступает крайне самоуверенно. Заметно, что она чувствует себя центральной фигурой.

Судья спрашивает ее об отношениях с Альбертом и Бартшером. Альберта она рисует как человека неуживчивого, а Бартшер, наоборот, был очень милым. Она, мол, никогда и не помышляла о браке с Альбертом, с Бартшером же была, можно сказать, помолвлена.

— Господин Роули слишком молод, чтобы жениться, — говорит она, покачивая бедрами.

У Альберта градом катится пот со лба, но он не шевелится. Вилли сжимает кулаки. Мы едва сдерживаемся.

Председатель спрашивает, какого рода отношения были у нее с Альбертом.

— Совершенно невинные, — говорит она, — мы были просто знакомы.

— В вечер убийства подсудимый находился в состоянии возбуждения?

— Конечно, — не задумываясь, отвечает она. Видимо, это ей льстит.

— Почему же?

— Да, видите ли… — Она улыбается и чуть выпячивает грудь. — Он был в меня так влюблен…

Вилли глухо стонет. Прокурор пристально смотрит на него сквозь пенсне.

— Потаскуха! — раздается вдруг на весь зал.

В публике сильное движение.

— Кто это крикнул? — спрашивает председатель.

Конор гордо встает.

Его приговаривают к пятидесяти маркам штрафа за нарушение порядка.

— Недорого, — говорит он и вытаскивает бумажник. — Платить сейчас?

В ответ на это он получает еще пятьдесят марок штрафа. Ему приказывают покинуть зал.

Девица стала заметно скромнее.

— Что же происходило в вечер убийства между вами и Бартшером? — продолжает допрос председатель.

— Ничего особенного, — неуверенно говорит она. — Мы просто сидели и болтали.

Судья обращается к Альберту:

— Имеете ли вы что-нибудь сказать по этому поводу?

Я сверлю Альберта глазами. Но он тихо произносит:

— Нет.

— Показания свидетельницы, следовательно, соответствуют действительности?

Альберт горько улыбается, лицо его стало серым. Девушка неподвижно уставилась на распятие, висящее над головой председателя.

— Возможно, что они и соответствуют действительности, но я слышу все это сегодня в первый раз. В таком случае, я ошибался.

Девушка облегченно вздыхает. Вилли не выдерживает.

— Ложь! — кричит он. — Она подло лжет! Развратничала она с этим молодчиком… Она выскочила из ложи почти голая.

Шум и смятение. Прокурор негодует. Председатель делает Вилли замечание. Но его уже никакая сила не может удержать, даже полный отчаяния взгляд Альберта.

— Хоть бы ты на колени сейчас передо мной бросился, я все равно скажу это во всеуслышание! — кричит он Альберту. — Развратничала она, да, да, и когда Альберт очутился с ней лицом к лицу и она ему наговорила, будто Бартшер напоил ее, он света невзвидел и выстрелил. Он сам мне все это рассказал по дороге в полицию!

Защитник торопливо записывает, девушка в отчаянии визжит:

— И правда, напоил, напоил!

Прокурор размахивает руками:

— Престиж суда требует…

Словно разъяренный бык, поворачивается к нему Вилли:

— Не заноситесь вы, параграфная глиста! Или вы думаете, что, глядя на вашу обезьянью мантию, мы заткнем глотки? Попробуйте-ка вышвырнуть нас отсюда! Что вы вообще знаете о нас? Этот мальчик был тихим и кротким — спросите у его матери! А теперь он стреляет так же легко и просто, как когда-то бросал камешки. Раскаяние! Раскаяние! Да как ему чувствовать это самое раскаяние, если он четыре года подряд мог безнаказанно отщелкивать головы ни в чем не повинным людям, а тут он лишь прикончил человека, который вдребезги разбил ему жизнь? Единственная его ошибка — он стрелял не в того, в кого следовало! Девку эту надо было прикончить! Неужели вы думаете, что четыре года кровопролития можно стереть, точно губкой, одним туманным словом «мир»? Мы и сами прекрасно знаем, что нельзя этак — за здорово живешь — пристреливать своих личных врагов, но уж если сдавит нам горло ярость и все внутри перевернет вверх дном, если уж такое найдет на нас… Прежде чем судить, вы хорошенько подумайте, откуда все это в нас берется!

Неистовая сумятица. Председатель тщетно пытается

водворить порядок.

Мы стоим, тесно сгрудившись. Вилли страшен. Козоле сжал кулаки, и в эту минуту на нас никакими средствами не воздействуешь, — мы представляем собой слишком большую опасность. Единственный полицейский в зале не отваживается близко подойти к нам. Я подскакиваю к скамье присяжных.

— Дело идет о нашем товарище, о фронтовике! — кричу я. — Не осуждайте его! Он сам не хотел того безразличия к жизни и смерти, которое война взрастила в нас, никто из нас не хотел его, но на войне мы растеряли все мерила, а здесь никто не пришел нам на помощь! Патриотизм, долг, родина, — все это мы сами постоянно повторяли себе, чтобы устоять перед ужасами фронта, чтобы оправдать их! Но это были отвлеченные понятия, слишком много крови лилось там, она смыла их начисто!

Вилли оказывается вдруг рядом со мной.

— Всего только год тому назад вот этот парень, — ой указывает на Альберта, — с двумя товарищами лежал в пулеметном гнезде, единственном на всем участке, которое еще держалось, и вдруг — атака. Но эти трое не потеряли присутствия духа. Они выжидали, целились и не стреляли раньше времени, они устанавливали прицел точно, на уровне живота, и когда противник уже думал, что участок очищен, и бросился вперед, только тогда эти трое открыли огонь. И так было все время, пока не подоспело подкрепление. Атака была отбита. Мы подсчитали тех, кого отщелкал пулемет. Одних точных попаданий в живот оказалось двадцать семь, все были убиты наповал. Я не говорю о таких ранениях, как в ноги, в мошонку, в желудок, в легкие, в голову. Этот вот парень, — он опять показывает на Альберта, — со своими двумя товарищами настрелял людей на целый лазарет, хотя большинство из раненных в живот не пришлось уж никуда отправлять. За это он был награжден «железным крестом» первой степени и получил благодарность от полковника. Понимаете вы теперь, почему не вашим гражданским судам и не по вашим законам следует судить его? Не вам, не вам его судить! Он солдат, он наш брат, и мы выносим ему оправдательный приговор!

Прокурору наконец удается вставить слово.

— Это ужасное одичание… — задыхается он и кричит полицейскому, чтобы тот взял Вилли под стражу.

Новый скандал. Вилли держит весь зал в трепете. Я опять разражаюсь:

— Одичание? А кто виноват в нем? Вы! На скамью подсудимых вас надо посадить, вы должны предстать перед нашим правосудием. Вашей войной вы превратили нас в дикарей!

Бросьте же за решетку всех нас вместе! Это будет самое правильное. Скажите, что вы сделали для нас, когда мы вернулись с фронта? Ничего! Ровно ничего! Вы оспаривали друг у друга победы, закладывали памятники неизвестным воинам, говорили о героизме и уклонялись от ответственности! Нам вы должны были помочь! А вы что сделали? Вы бросили нас на произвол судьбы в самое трудное для нас время, когда мы, вернувшись, силились войти в жизнь! Со всех амвонов должны были вы проповедовать, напутствовать нас должны были вы, когда нас увольняли из армии, вы должны были неустанно повторять: «Мы все совершили ужасную ошибку! Так давайте же вместе заново искать путей к жизни! Мужайтесь! Вам еще труднее, чем другим, потому что, уходя, вы ничего не оставили, к чему вы могли бы вернуться! Запаситесь терпением!» Вы должны были заново раскрыть перед нами жизнь! Вы должны были заново учить нас жить! Но вам не было до нас никакого дела! Вы послали нас к черту! Вы должны были научить нас снова верить в добро, порядок, созидание и любовь! А вместо этого вы опять начали лицемерить, заниматься травлей и пускать в ход ваши знаменитые статьи закона! Одного из наших рядов вы уже погубили, теперь на очереди второй!

Мы не помним себя. Вся ярость, все озлобление, все разочарование наше вскипают сразу и переливаются через край. В зале стоит невообразимый шум. Проходит много времени, прежде чем восстанавливается относительный порядок. Всех нас за недопустимое поведение в зале суда приговаривают к однодневному аресту и тотчас же уводят. Мы легко могли бы устранить с дороги полицейского, но нам это не нужно. Мы хотим в тюрьму вместе с Альбертом. Мы вплотную проходим мимо него, мы хотим ему показать, что мы все — с ним…

Позднее мы узнаем, что он приговорен к трем годам тюрьмы и что приговор он принял молча.

3

Георгу Рахе удалось под видом иностранца переехать через границу. Одна мысль неотступно преследует его: еще раз стать лицом к лицу со своим прошлым. Он проезжает города и села, слоняется на больших и малых станциях, и вечером он у цели.

Нигде не задерживаясь, направляется он за город, откуда начинается подъем в горы. Он минует улицу за улицей; навстречу попадаются рабочие, возвращающиеся с фабрик. Дети играют в кругах света, отбрасываемых фонарями. Несколько автомобилей проносится мимо. Потом наступает тишина.

Солнце давно село, но еще достаточно светло. Да и глаза Рахе привыкли к темноте. Он сходит с дорога и идет через поле.

Вскоре он спотыкается обо что-то. Ржавая проволока вцепилась в брюки и вырвала кусок материи. Он наклоняется, чтобы отцепить колючку. Это проволочные заграждения, которые тянутся вдоль расстрелянного окопа. Рахе выпрямляется. Перед ним — голые поля сражений.

В неверном свете сумерек они похожи на взбаламученное и застывшее море, на окаменелую бурю. Рахе чувствует гнилостные запахи крови, пороха и земли, тошнотворный запах смерти, который все еще властно царит в этих местах.

Он невольно втягивает голову, плечи приподняты, руки болтаются, ослабели в суставах кисти; это походка уже не городского жителя, это опять крадущиеся, осторожные шаги зверя, настороженная бдительность солдата…

Он останавливается и оглядывает местность. Час назад она казалась ему незнакомой, а теперь он уже узнает ее, узнает каждую высоту, каждую складку гор, каждое ущелье. Он никогда не уходил отсюда: дни и месяцы вспыхивают в огне воспоминаний, как бумага, они сгорают и улетучиваются, как дым, — здесь снова лейтенант Георг Рахе сторожко ходит в ночном дозоре, и ничто больше не отделяет вчера от сегодня. Вокруг безмолвие ночи, только ветер зашуршит иногда в траве; но в ушах у Георга стоит рев сражения, беснуются взрывы, световые ракеты повисают гигантскими дуговыми лампами над всем этим опустошением, кипит черное раскаленное небо, и от горизонта до горизонта, гудя, вздымается фонтанами и клокочет в серных кратерах земля.

Рахе скрежещет зубами. Он не фантазер, но он не в силах защитить себя: воспоминания захлестнули его, они как вихрь, — здесь, на этой земле, еще нет мира, нет даже той видимости мира, которая наступила повсюду, здесь все еще идет борьба, война; здесь продолжает бушевать, хотя и призрачный, смерч, и крутящиеся столбы его теряются в облаках.

Земля впилась в Георга, она словно хватает его руками, желтая плотная глина облепила башмаки; шаг тяжелеет, как будто мертвецы, глухо ропща в своих могилах, тянут к себе оставшегося в живых.

Он пускается бежать по темным, изрытым воронками полям. Ветер усиливается, по небу несутся облака, и время от времени луна тусклым светом озаряет местность. Рахе останавливается, тоска сжимает сердце, он бросается на землю, недвижно приникает к ней. Он знает — ничего нет; но всякий раз, когда луна выплывает, он испуганно прыгает в воронку. Он сознательно подчиняется закону этой земли, по которой нельзя ходить, выпрямившись во весь рост.

Луна уже не луна, а огромная световая ракета. В ее желтоватом свете чернеют обгорелые пни знакомой рощицы. За развалинами фермы тянется овраг, которого никогда не переступал неприятель. Рахе, сгорбившись, сидит в окопе. Вот остатки ремня, два-три котелка, ложка, проржавевшие ручные гранаты, подсумки, а рядом — мокрое серо-зеленое сукно, вконец истлевшее, и останки какого-то солдата, наполовину уже превратившиеся в глину.

Он ничком ложится на землю, и безмолвие вдруг начинает говорить. Там, под землей, что-то глухо клокочет, дышит прерывисто, гудит и снова клокочет, стучит и звенит. Он впивается пальцами в землю и прижимается к ней головой, ему слышатся голоса и оклики, ему хотелось бы спросить, поговорить, закричать, он прислушивается и ждет ответа, ответа на загадку своей жизни…

Но только ветер завывает все сильнее и сильнее, низко и все быстрее бегут облака, и по полям тень гонится за тенью. Рахе встает и бредет дальше, бредет долго, пока перед ним не вырастают черные кусты, ряд за рядом, построенные в длинные колонны, как рота, батальон, полк, армия.

И вдруг ему все становится ясно. Перед этими крестами рушится здание громких фраз и возвышенных понятий.

Только здесь еще живет война, ее уже нет в поблекших воспоминаниях тех, кто вырвался из ее тисков! Здесь лежат погибшие месяцы и годы непрожитой жизни, они — как призрачный туман над могилами; здесь кричит эта нежитая жизнь, она не находит себе покоя, в гулком молчании взывает она к небесам. Страшным обвинением дышит эта ночь, самый воздух, в котором еще бурлит сила и воля целого поколения молодежи, поколения, умершего раньше, чем оно начало жить.

Дрожь охватывает Георга. Ярко вспыхивает в нем сознание его героического самообмана: вот она, алчная пасть, поглотившая верность, мужество и жизнь целого поколения.

Он задыхается.

— Братья! — кричит он в ночь и ветер. — Братья! Нас предали! Вставайте, братья! Еще раз! Вперед! В поход против предательства!

Он стоит перед могильными крестами, луна выплывает из-за туч, он видит, как блестят кресты, они отделяются от земли, они встают с распростертыми руками, вот уже слышен гул шагов… Он марширует на месте, выбрасывает руку кверху:

— Вперед, братья!

И опускает руку в карман, и снова поднимает… Усталый, одинокий выстрел, подхваченный и унесенный порывом ветра.

Покачнувшись, опускается Георг на колени, опирается на руки и, собрав последние силы, поворачивается лицом к крестам… Он видит, как они трогаются с места, они стучат и движутся, они идут медленно, и путь их далек, очень, очень далек; но он ведет вперед, они придут к своей цели и дадут последний бой, бой за жизнь; они маршируют молча — темная армия, которой предстоит пройти самый долгий путь, путь к человеческому сердцу, пройдет много лет, пока они свершат его, но что для них время? Они тронулись в путь, они двинулись в поход, они идут, идут.

Голова его медленно опускается, вокруг него темнеет, он падает лицом вперед, он марширует в общем шествии. Как блудный сын, после долгих скитаний вернувшийся домой, лежит он на земле, раскинув руки; глаза уже недвижны, колени подогнулись. Тело содрогается еще раз, великий сон покрывает все и вся, и только ветер проносится над пустынным темным простором; он веет и веет над облаками, в небе, над бесконечными равнинами, изрытыми окопами, воронками и могилами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1

Пахнет мартом и фиалками. Из-под сырой листвы подснежники поднимают свои белые головки. Лиловая дымка стелется над вспаханными полями.

Мы бредем по лесной просеке. Вилли и Козоле впереди, я с Бером — за ними. Впервые за долгое время мы опять вместе. Мы редко теперь встречаемся.

Карл на целый день предоставил нам свой новый автомобиль. Но сам он с нами не поехал — слишком занят. Вот уже несколько месяцев, как он зарабатывает кучу денег; ведь марка падает, а это ему на руку. Шофер привез нас за город.

— Чем ты теперь, собственно, занимаешься, Бер? — спрашиваю я.

— Езжу по ярмаркам со своими качелями, — отвечает он.

Удивленно смотрю на него:

— С каких это пор?

— Да уж довольно давно. Моя прежняя партнерша — помнишь? — очень скоро оставила меня. Теперь она танцует в баре. Фокстроты и танго. На это сейчас больше спросу. Ну, а я, заскорузлый солдат, не гожусь для такого дела. Недостаточно, видишь ли, шикарен.

— А своими качелями ты хоть сносно зарабатываешь?

— Какое там! — отмахивается он. — Ни жить, ни помереть, как говорится! И эти вечные переезды! Вот завтра снова на

колеса. Еду в Крефельд. Собачья жизнь, Эрнст! Докатились… А Гарда куда занесло, не знаешь?

Я пожимаю плечами:

— Уехал. Так же, как и Адольф. И весточки о себе никогда не подадут.

— А как Артур?

— Этот-то без малого миллионер, — отвечаю я.

— Понимает дело, — мрачно говорит Бер.

Козоле останавливается и расправляет широкие плечи:

— А погулять, братцы, совсем неплохо! Если бы еще не околачиваться без работы…

— А ты не надеешься скоро получить работу? — спрашивает Вилли.

Фердинанд скептически покачивает головой:

— Не так-то просто. Меня в черный список занесли. Недостаточно смирен, видишь ли. Хорошо хоть, что здоров. А пока что перехватываю монету у Конора. Он как сыр в масле катается.

Выходим на полянку и делаем привал. Вилли достает коробку сигарет, которыми снабдил его Карл. Лицо у Бера проясняется. Мы садимся и закуриваем.

В ветвях деревьев что-то тихо потрескивает. Щебечут синицы. Солнце уже светит и греет вовсю. Вилли широко зевает и, подстелив пальто, укладывается. Козоле сооружает себе из мха нечто вроде изголовья и тоже ложится. Бер, прислонившись к толстому буку, задумчиво разглядывает зеленую жужелицу.

Я смотрю на эти родные лица, и на миг так странно раздваивается сознание… Вот мы снова, как бывало, сидим вместе… Немного нас осталось… Но разве и эти немногие связаны еще по-настоящему?

Козоле вдруг настораживается. Издали доносятся голоса. Совсем молодые. Вероятно, члены организации «Перелетные птицы». С лютнями, украшенными разноцветными лентами, совершают они в этот серебристо-туманный день свое первое странствование. Когда-то, до войны, и мы совершали такие походы — Кайл Брайер, Георг Рахе и я.

Прислонившись к дереву, предаюсь воспоминаниям о далеких временах: вечера у костров, народные песенки, гитары и исполненные торжественности ночи у палаток. Это была наша юность. В последние годы перед войной организация «Перелетные птицы» была окружена романтикой мечтаний о новом прекрасном будущем, но романтика эта, отгорев в окопах, в 1917 году рассыпалась в прах, загубленная небывалым состязанием боевой

техники.

Голоса приближаются. Опираясь на руки, поднимаю голову: хочу взглянуть на «перелетных птиц». Странно — каких-нибудь несколько лет назад мы сами с песнями бродили по лесам и полям, а сейчас кажется, словно эта молодежь — уже новое поколение, наша смена, и она должна поднять знамя, которое мы невольно выпустили из наших рук…

Слышны возгласы. Целый хор голосов. Потом выделяется один голос, но слов разобрать еще нельзя. Трещат ветки, и глухо гудит земля под топотом множества ног. Снова возглас. Снова топот, треск, тишина. Затем, ясно и четко, — команда:

— Кавалерия заходит справа! Отделениями, левое плечо вперед, шагом марш!

Козоле вскакивает. Я за ним. Мы переглядываемся. Что за наваждение? Что это значит?

Вот показались люди, они выбегают из-за кустов, мчатся к опушке, бросаются на землю.

— Прицел: четыреста! — командует все тот же трескучий голос. — Огонь!

Стук и треск. Длинный ряд мальчиков, лет по пятнадцати — семнадцати. Рассыпавшись цепью, они лежат на опушке. На них спортивные куртки, подпоясанные кожаными ремнями, на манер портупей. Все одеты одинаково: серые куртки, обмотки, фуражки со значками. Однообразие одежды нарочито подчеркнуто. Вооружение составляет палка с железным наконечником, как для хождения по горам. Этими палками мальчики стучат по деревьям, изображая ружейную пальбу.

Из-под фуражек военного образца глядят, однако, по-детски краснощекие лица. Глаза внимательно и возбужденно следят за приближением двигающейся оправа кавалерии. Они не видят ни нежного чуда фиалок, выбивающихся из-под бурой листвы, ни лиловатой дымки всходов, стелющейся над полями, ни пушистого меха зайчика, скачущего по бороздам. Нет, впрочем, зайца они видят: вот они целятся в него своими палками, и сильнее нарастает стук по стволам. За ребятами стоит коренастый мужчина с округленным брюшком; на толстяке такая же куртка у такие же обмотки, как у ребят. Он энергично отдает команды:

— Стрелять спокойней. Прицел: двести!

В руках у него полевой бинокль: он ведет наблюдение за врагом.

— Господи! — говорю я, потрясенный.

Козоле наконец приходит в себя от изумления.

— Да что это за идиотство! — разражается он.

Но возмущение Козоле вызывает бурную реакцию. Командир,

к которому присоединяются еще двое юношей, мечет громы и молнии. Мягкий весенний воздух так и гудит крепкими словечками:

— Заткнитесь, дезертиры! Враги отечества! Слюнтяи! Предатели! Сволочь!

Мальчики усердно вторят. Один из них, потрясая худым кулачком, кричит пискливым голосом:

— Придется их, верно, взять в переделку!

— Трусы! — кричит другой.

— Пацифисты! — присоединяется третий.

— С этими большевиками нужно покончить, иначе Германии не видать свободы, — скороговоркой произносит четвертый явно заученную фразу.

— Правильно! — командир одобрительно похлопывает его по плечу и выступает вперед. — Гоните их прочь, ребята!

Тут просыпается Вилли. До сих пор он спал. Он сохранил эту старую солдатскую привычку: стоит ему лечь, и он вмиг засыпает.

Он встает. Командир сразу останавливается. Вилли большими от удивления глазами осматривается и вдруг разражается громким хохотом.

— Что здесь происходит? Бал-маскарад, что ли? — спрашивает он.

Затем он смекает, в чем дело.

— Так, так, правильно, — ворчит он, обращаясь к командиру, — нам только вас не хватало! Давно не видались. Да, да, отечество, разумеется, вы взяли на откуп, не так ли? А все остальные — предатели, верно? Но только вот что странно: в таком случае, значит, три четверти германской армии были предателями. А ну, убирайтесь-ка подальше отсюда, куклы ряженые! Не могли вы, черт вас возьми, дать мальчуганам еще два-три года пожить без этой науки?

Командир отдает своей армии приказ к отступлению. Но лес уже нам отравлен. Мы идем назад, по направлению к деревне. Позади нас хор молодых голосов ритмично и отрывисто повторяет:

— Нашему фронту — ура! Нашему фронту — ура! Нашему фронту — ура!

— Нашему фронту — ура! — Вилли хватается за голову. — Сказать бы это какому-нибудь старому фронтовику!

— Да, — огорченно говорит Козоле. — Так опять все и начинается.

По дороге в деревню мы заходим в маленькую пивную. Несколько столиков уже выставлено в сад. Хотя Бер через час уже

должен быть в парке, где стоят его качели, мы все-таки наскоро присаживаемся к столику, чтобы хоть немного еще побыть вместе. Кто знает, когда приведется снова встретиться?..

Бледный закат нежно окрашивает небо. Невольно возвращаюсь мыслью к только что пережитой сцене в лесу.

— Боже мой, Вилли, — обращаюсь я к нему, — ведь все мы живы и едва только выкарабкались из войны, а уж находятся люди, которые опять принимаются за подобные вещи! Как же это так?

— Такие люди всегда найдутся, — задумчиво, с непривычной для него серьезностью отвечает Вилли. — Но и таких, как мы, тоже немало. Большинство думает как мы с вами. Большинство, будьте уверены. С тех пор, как это случилось (вы знаете, что: с Кайлом и Альбертом), я очень много думал и пришел к заключению, что каждый человек может кое-что сделать, даже если у него вместо головы — тыква. На следующей неделе кончаются каникулы, и я должен вернуться в деревню, в школу. Я прямо-таки рад этому. Я хочу разъяснить моим мальчуганам, что такое их отечество в действительности. Их родина, понимаешь ли, а не та или иная политическая партия. А родина их — это деревья, пашни, земля, а не крикливые лозунги. Я долго раздумывал на этот счет. Нам пора, друзья, поставить перед собой какую-то задачу. Мы взрослые люди. Себе задачу я выбрал. Я только что сказал о ней. Она невелика, допускаю. Но как раз по моим силам. Я ведь не Гете!

Я киваю и долго смотрю на Вилли. Потом мы выходим.

Шофер ждет нас. Тихо скользит машина сквозь медленно опускающиеся сумерки.

Мы подъезжаем к городу; вот уже вспыхивают его первые огни, и вдруг к поскрипыванию шин примешивается протяжный, хриплый, гортанный звук, — по вечернему небу треугольником тянется на восток караван диких гусей…

Мы смотрим друг на друга. Козоле хочет что-то сказать, но решает промолчать. Все мы вспоминаем одно и то же.

Вот и город, и улицы, и шум. Бер прощается. Потом Вилли. Потом Козоле.

2

Я провел целый день в лесу. Утомленный, добрался я до небольшого постоялого двора и заказал себе на ночь комнату. Постель уже постлана, но спать еще не хочется. Я сажусь к окну и вслушиваюсь в шорохи весенней ночи.

Тени струятся между деревьями, лес стонет, словно там лежат раненые. Я спокойно и уверенно смотрю в сумрак, — я больше не страшусь прошлого. Я смотрю в его потухшие глаза не

отворачиваясь. Я даже иду ему навстречу, я отсылаю свои мысли обратно — в блиндажи и воронки. Но, возвращаясь, они несут с собою не страх и отчаяние, а силу и волю.

Я ждал, что грянет буря, и спасет меня, и увлечет за собой, а избавление явилось тихо и незаметно. Но оно пришло. В то самое время, когда я отчаивался и считал все погибшим, оно неслышно зрело во мне самом. Я думал, что прощание — всегда конец. Ныне же я знаю: расти тоже значит прощаться. И расти нередко значит — покидать. А конца не существует.

Часть моей жизни была отдана делу разрушения, отдана ненависти, вражде, убийству. Но я остался жив. В одном этом уже задача и путь. Я хочу совершенствоваться и быть ко всему готовым. Я хочу, чтобы руки мои трудились и мысль не засыпала. Мне многого не надо. Я хочу всегда идти вперед, даже если иной раз и явилось бы желание остановиться. Надо многое восстановить и исправить, надо, не жалея сил, раскопать то, что было засыпано в годы пушек и пулеметов. Не всем быть пионерами, нужны и более слабые руки, нужны и малые силы. Среди них я буду искать свое место. Тогда мертвые замолчат, и прошлое не преследовать меня, а помогать мне будет.

Как просто все! Но сколько времени понадобилось, чтобы прийти к этому. И я, быть может, так бы и блуждал на подступах и пал бы жертвой проволочных петель и подрывных капсюлей, если бы ракетой не взвилась перед нами смерть Кайла, указав нам путь. Мы пришли в отчаяние, когда увидали, что могучий поток нашей спаянности и воли к простой, сильной, у порога смерти отвоеванной жизни не смел отживших форм, половинчатых истин и пустого тщеславия, не нашел нового русла для себя, а погряз в трясине забвения, разлился по болотам громких фраз, по канавам условностей, забот и разных занятий. Ныне я знаю, что все в жизни, очевидно, только подготовка, труд в одиночку, который ведется по великому множеству отдельных клеточек, отдельных каналов, и подобно тому, как клетки и сосуды дерева впитывают в себя стремящиеся кверху соки, передавая их выше и выше, так, может быть, в мощном слиянии единичных усилий родятся когда-нибудь и звонкий шелест осиянной солнцем листвы, и верхушки деревьев, и свобода. И я хочу начать.

Это будет не тем свершением, о котором мы мечтали в юности и которого ждали, вернувшись после долгих лет фронта. Это будет такой же путь, как и другие, местами каменистый, местами выровненный путь, с выбоинами, деревьями и пашнями, — путь труда. Я буду один. Может быть, на какую-нибудь часть пути я найду спутника, но вряд ли на весь.

И, верно, еще часто придется мне снимать свой ранец, когда плечи устанут, и часто еще буду я колебаться на перекрестках и рубежах, и не раз придется что-то покидать, и не раз — спотыкаться и падать. Но я поднимусь, я не стану лежать, я пойду вперед и назад не поверну. Может быть, я никогда не буду счастлив, может быть, война эту возможность разбила и я всюду буду немного посторонним и нигде не почувствую себя дома, но никогда, я думаю, я не почувствую себя безнадежно несчастным, ибо всегда будет нечто, что поддержит меня, — хотя бы мои же руки, или зеленое дерево, или дыхание земли.

Соками наливаются деревья, с едва уловимым треском лопаются почки, и сумрак полон звуков, — это шепот созревания. Ночь в моей комнате и луна. Жизнь вошла в комнату. Вся мебель потрескивает, стол трещит, шкаф поскрипывает. Когда-то они росли в лесу, их рубили, пилили, строгали и склеивали, превращали в вещи для людей, в стулья и кровати; но каждой весной, в ночь, когда все наливается жизненными соками, в них что-то бродит, они пробуждаются, ширятся, они перестают существовать как утварь, как стулья, как вещи, — они снова в потоке жизни, в них дышит вечно живая природа. Под моими ногами скрипят и движутся половицы, под руками трещит дерево подоконника, а за окном, на краю дороги, даже старая, расщепленная липа набухает большими бурыми почками; еще день-другой, и она, эта липа, покроется такими же шелковистыми зелеными листьями, как и широко раскинутые ветви молодого платана, укрывающего ее своей тенью.